

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

В Т О Р А Я

Ф Е В Р А Л Ь

М О С К В А

4 . 9 . 3 . 1

Москва. Главлит А 61566.

СТАТ — формат Б/5 176×250

Тип. им. сов. И. К. Окворцова-Степанова. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Мариэтта ШАГИНЯН. — Гидроцентраль, роман, продолжение	5
2. Л. СОЛОВЬЕВ. — Василий Сергеич, рассказ	17
3. Максим КОРОТКИЙ. — Авария водопровода, стихотворение	24
4. Аркадий ШТЕЙНБЕРГ. — Взморье, стихотворение	25
5. А. ВОРОНСКИЙ. — Героические новеллы: I. Из старых писем. II. Бомбы	27
6. Алексей ТОЛСТОЙ. — Черное золото, роман, продолжение	42
7. Борис КОРНИЛОВ. — Качка на Каспийском море, стихотворение	54
8. Н. УЛЬЯНОВ. — Мои встречи. Л. Н. Толстой	55
9. Александр ЯКОВЛЕВ. — Повороты, главы из романа, продолжение	62
10. В. ЛУГОВСКОЙ. — На смерть химика С., стихотворение	83
11. А. АРОСЕВ. — На боевых путях, воспоминания, продолжение	84

ЛЮДИ И ФАКТЫ:

12. Борис ГУБЕР. — Неспящие, очерк	104
13. Алексей ПЛАТОНОВ. — Порыв, очерк	114
14. Э. ВУЛЬФ. — В еврейских колониях Крыма, очерк, с иллюстр.	120
15. К. ЧУКОВСКИЙ. — Бобровка на Саре, очерк	128

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

16. Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Заметки о журнальной беллетристике	138
17. Евг. КНИПОВИЧ. — История одной дружбы	148
18. Я. ФРИД. — Сюрреализм	158
19. А. СМИРНОВ-КУТАЧЕСКИЙ. — «Чапаев» Фурманова и современность, к 5-летию со дня смерти	171

ЗА РУБЕЖОМ:

20. С. ДАЛИН. — У тихих фиордов, из скандинавских очерков	176
21. В. ТАН-БОГОРАЗ. — Учеба и ученость в Америке	191

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

Арк. ГЛАГОЛЕВ — Иван Уксусов «Двадцатый век».	201
Т. НИКОЛАЕВА. — А. Долгих «Кривая».	201
Борис ГРОССМАН. — Василий Ряховский «С гор потоки».	202
Н. СЕДОВ. — Владимир Юрезанский «Алмазная свита».	203
Т. НИКОЛАЕВА. — Е. Новикова-Вашенцева «Маринкина жизнь».	204
Борис ГРОССМАН. — Андрей Гиппиус «Записки главноуправляющего 293 пехотного Ижорского полка».	204
Борис АНИБАЛ. — Петро-Панч «Без ко зыря»	205
Я. ФРИД. — а) Макс Гельц «От белого креста к красному знамени»; б) Петер Мартин Лампель «Черный рейхсвер».	206
К. ЛОКС. — Элен Винкльсон «Схватки».	206
К. ЛОКС. — Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. «Переписка».	207
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ.	208

Гидроцентрль

Роман

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

(Продолжение¹)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

МАРКС И ВЕЙТЛИНГ

Начканц Захар Петрович был в эти дни занят — во! Правой рукой он проводил у себя под кадыком. В отсутствие начальника участка такое стало закручиваться, что ни спать, ни есть спокойно Захару Петровичу не приходилось, — он занят был, как проговаривался иной раз в конторе своим людям, «консолидацией сил». В стеклянной будке начальника, не подозревая о консолидации, сидел Александр Александрович и мелко надписывал бумажки; подагрические пальцы Александра Александровича тряслись, нанося подпись, он бормотал в пышные усы, что начальник участка всегда так, что это — система: в труднейший момент уехать и обрушить ответственность на него, Александра Александровича.

На самом же деле труднейший момент целиком захватил не его, а начканца. Шли увольнения. Работа сворачивалась на участке, как паруса и мачты на яхте во время шторма. В этом сворачивании Захар Петрович видел для своей деятельности далекие перспективы. Почесывая концом ручки веко, лохматый и подтянувшийся, он устремлял зоркие глаза в невидимые пространства, где воздвигалась, кирпич за кирпичи-

ком, умственная постройка, названная Захар Петровичем для краткости «консолидацией»: отъехал с участка латыш, мастер Лайтис, увозя с собой острием корабля вытянутый нос: «а не совал бы, куда не просят». Щелкая каблуком, в кожанке, пешком пошел на станцию Аветис со склада, получив расчет; этот, не в пример прочим, жаловаться пойдет. Заргарян и другие молодчики с узлами и женами отгромыхали на арбе, — будет ужò время подумать, каковы «узкие места» на участке... В глубине своей беспартийной души Захар Петрович твердо был убежден, что уход бузотеров понравится кому следует и выше стоим. Истина-то, не глядя на всякие лозунги и несущественные убеждения, «едина»: приказано строить — и надо строить. А уж там, как ни верти, при беспокойных строить — как по канату ходить. Высматривая из конторы окно насупротив, в соседнем бараке, где помещался местком, Захар Петрович не продолжал мысли, но все знали, о чем интересуется дальновидный мозг его. Шли слухи, что предметкома Агабек не поладил с секретарем ячейки. Вот она где, истина-то, — посмеивался про себя начканц, особым, пристальным взглядом следя за крыльцом напротив: крыльцо было грязно, крыльцо было сбито набок, — хоть сейчас возьми

¹ См. «Новый мир» №№ 1—7.

рукой да и надломи его. Дверь сорвана с петель и кой-как приткнута в угол. Из нее валит пар, когда в нее самое не валили люди, а валили люди во все часы, приемные и неприемные: шли сезонники в овчинах, обозчики с хомутами на шее, комсомол в шерстяной майке, — видно было в стекле, как качается зеленое лицо Агабека, бледное до фантастики, и тень от горба пляшет гофмановским придатком сбоку, — «накачаешься» — злорадствует Володя-конторщик. Он сидит павой за своим столом, и никто не мешает Володе, как мачехе в сказке, чувствовать себя здесь, в конторе, глядячись в зеркало, «всех прекрасней и милей», — рыжего-то ведь нет, спустили и рыжего по течению. Правда, совсем уволить не удалось. Агабек, ссылаясь на просьбу техников, оставил его помощником на изысканьях, рейки таскать. Но для Володи такой конфуз казался худшим, чем увольнение, — с чистой работы да на простую, мужицкую, с какой даже толстый дурень Мкртыч справляется!

— В первый раз я, Захар Петрович, воздухом дышу! — с истинным жаром вырвалось у Володи-конторщика.

Но начканц в поисках консолидации не задерживался на победах.

Он уже действовал — стоя и на ходу, говоря «гм» и рукой отстраняя в коридоре мальчишку-почтальона, поспрошав у него предварительно то и се и между слов забравши письмо для передачи, — ни на миг и ни на вершок не простирали свои действия Захар Петрович бесцельно. Сейчас торопливой походкой, с письмом в руках, он перешел улицу и спускается вниз, кавалерийски выгнув ноги, а в промежуток между ходьбой откашливается подготовительно, без сплеву, — так делает перед речью оратор.

Чистенький секретарь сидел у себя в бараке. Он готовил доклад. Чтоб не мешали, секретарь запер дверь на крючок и, опустив голову, собственноручно зажал уши, но повидимому тревога или иное что грызли секретаря, потому что, зажав уши, он бегал глазами по всей комнате и тотчас же встретился взглядом с Захар Петровичем, деликатно глядевшим в окно с письмом в руках: дескать, минуточку, — письмо примите.

— Людей у нас в обрез стало, мне по дороге: чем гонять кого — дай, думаю, занесу, — запыхавшись, сказал Захар Петрович, когда секретарь скинул крючок. — К докладу готовитесь? Ай, хорошо тут у вас. Это я одобряю.

Он медлил, будто обласканный чистотой этой комнаты, теплом, шедшим от русской печки, — секретарь тепло любил, и ему в эти дни снегопада и похолодания щедро топили печь. Половичок у входа, и тот будто бы пригнулся начканцу. Умильно перегнув голову к плечу, Захар Петрович прочел армянскую надпись: «Вытри ноги» и, боком взглянув на секретаря, убедился, что тот, по верной Захар-Петровичевой терминологии, «скучает». Неспokoйный взгляд и супень длинного армянского носа, жест, с каким секретарь отложил письмо, излишек движений по комнате, — ясное дело, скучает парнюга, засел как сыч, а то ему интересно, что на участке говорят и какую линию выдержать, это я лучше него понимаю!

— Ну, уж попал, так извините — присяду. Мне сейчас вырваться из конторы не легче, чем папе римскому из Ватикана.

Захар Петрович сел и пристально оглядел секретаря. Тот все молчал. Захар Петрович не улыбнулся, — он стал серьезнее, добродушно-серьезен, нежно-серьезен, задумчивое отцовство было сейчас в его круглом лице и ладони, положенной на худую руку секретаря, — Захар Петрович опростоволосился. Наипростейшим своим тоном, понизив голос, почти жалостно, словно баба, припал он голосом к молчаливому уху, которое впрочем внимательного человека поразило бы упрямым чем-то в загибе и даже в краске.

— Уж хоть бы вы, товарищ, урезонили нашего предместкома. Ячейка-то в курсе ли? Я от службы хочу отказываться, вот оно до чего. Острый момент, строительству нужна помощь... нет, уж погодите отвечать, дайте я вам выскажусь откровенно: тару он нам сорвал. Транспорт он нам чуть не разладил. В наших местах к весне сорок аробщиков договорить — шутка? Я с ими сапоги обтрепал, ходил, кланялся, улещивал — вместо Алексан-Сангыча, а товарищ Агабек — нате, тятя! Кула-

ки, говорит. Контора, говорит, кулацкие элементы на службу берет. Дак ты дай мне, чудака-человек, бедняка с арбой да с парой волов, я ж его хоть сию минуту найму. Или вот с увольнением. Я, что ли, хозяин? Советская власть приказывает сократить, так или нет? Ты, если с умом, войди в положение, помоги строительству, а местком: этого нельзя, того нельзя, третьего не моги, выйдите, поглядите, что делается, какую агитацию развел! Кружало сломали — в местком. Компрессор плохо работает, механик пьян — в местком. Цемент якобы перерасходуют — в местком. Демагогия получается. Или ты местком, или ты стенгазета, или ты — жалобная книга... На нашем обыкновенном языке я это так называю: вредительство, вот я как называю. Неорганизованных элементов вокруг себя собирает.

Ухо секретаря дернулось, — Захар Петрович, неосторожно дыша в него, повысил голос до вскрика. «Извиняюсь» — сказал начканц, снизивши против воли эффект своих слов. «Безвредный», «безвредный», а вот нако-ся, раскуси его, — думал он про себя, неожиданно раздражаясь на молчанье и на жест, с каким секретарь потянулся за нарядною кепкой, давая понять о выходе: одна сагана вся их публика, ты ему душу вывернул, а он деревом-березой развесился... тоже секретарь!

— Ну, так я пошел... всего! — довольно-таки принудительно и, можно сказать, задним числом проговорил Захар Петрович, выходя из барака вслед за безвредным.

2

По улице, навстречу ему, шла Клавочка об руку с двумя женщинами — женой Маркаряна и счетоводовой. Платье ее вралось вперед вместе с легкой, мелкой походкой, как занавесочка меж оконных рам, соседки утяжеляли и придерживали Клавочку, — они были грузны и шаги крупнее. Вырвавшись, чтоб подбежать к мужу, Клавочка сделала круглые глаза. Она тоже действовала. Ее не тянуло с участка в город, ей на участке сделалось интересно, — вместе с мужем она «консолидировала». Прошли времена, когда соседки ей в пику замалчивали, когда что выдают в

кооперативе, или же из-под носа скупали яйца, — легко хохоча, она дожидалась теперь стука в стенку: «Клавдиванна, пойдете за рисом?» — стука в окошко: «Клавдиванна, яички продают, вам десяток не надо ли?» Выпархивая из дверей с платочком на голой шее, розовая и теплая, — хотя бы другие от холода носы терли, — она продевала руки соседкам под локти и шла норовисто, играючи, словно воспитанница с гувернантками.

Жене Маркаряна собственной бритвой она брила подмышками, старухе, Володиной матери, кофейную мельницу подарила, — поищи-ка теперь в лавке кофейную мельницу! — счетоводовой гадала на картах, замирая голосом, всплескивая ладошками, и ничего не жалела Клавочка, — ни времени, ни добра, «разве не душка?» — думала про себя Клавочка. В неслыханном оживлении и щедрости, с какой разбрасывала она улыбки и теплоту своих мягких, подушечками, ладоней, был однако ж расчет: на чужого мужчину Клавочка теперь не глядела, и лицо ее делалось даже скучным, точь-в-точь как у воспитанного человека при виде людей, считающих деньги. Приличное равнодушие, зевок в полотворот: «я лучше у себя подожду» — социальная угроза отпала, в поведении Клавочки наметился перелом.

— Я в кооператив, а ты чего? — шепнула Клавочка мужу таинственно.

— Иди, иди, — рассеянно ответил начканц, махнув рукой.

Отходя, она пересмеивалась, равняла шаги с соседками, и если б начканц имел время взглянуть через плечо, он увидел бы, что женщины спускались по косогору, для чего-то избрав в кооператив самую дальнюю дорогу — низом. Погода, нельзя сказать, чтоб располагала к прогулке. Вот уже дней пять, как на участке шел снег пополам с градом. Наверху, на Чигдымском шоссе, там подмерзло, и ветер гнал гвозди в лицо — оледенелые, длинные снежинки. А на самом участке грязь была — не вылезти. Прыгая где по камушкам, а где по дощечке, Клавдиванна явно тянула спутниц по дальней дороге, судорожно и весело пощипывая их в знак общей тайны. Женщины, уступая, шли. Там, рядом со складом, был самый забытый

барак и самый грязный притом. В отличие от семейных он высился холостяком, — ни лужи, ни кровавых пятен от резаной курицы, ни мусорного ведра; на окнах — ни занавески. Крыльцо к ночи не запиралось, а так и било по ветру, мешая другим спать. Но зато обладал барак странными собственными предметами, заменявшими жилые предметы прочих людей: по коридору стояли длиннющие палки, крашеные, с цифрами; лежали на столе цепи, веревки, катушки. В сарайчике, когда он не заперт, недвижно на трех ногах дожидались какие-то непонятные звери, треножники и ящики с тонкою штукой — теодолитом. Даже простой рабочий швырялся возле сарая всякими иностранными выражениями в роде: «нивеллир», «эккер», «мензула», «бусоль». Но сколько ты там ни швыряйся, уважать тебя за это не станут. Ни одно место на участке не пользовалось меньшим почетом, нежели этот барак, где жило «хулиганье», как тихонько, холодком обдавая, определяла Клавочка, — публика бесемейная, с неистовым аппетитом и малой способностью считаться с салфеточками или стульями, или мытым полом в другом бараке. Уходя раньше всех, еще до зари, она позже всех, когда в столовке ничего уже не оставалось, возвращалась с работы — и знай лезет по комнатам, выпрашивая где кипяточку, где хлеба, где просто «нет ли чего пошаматать», — вульгарностью этой просьбы в ком хотите убивая добрососедское намерение угостить. «В деревнях от них стоном стонут» — рассказывала жена счетовода, у которой в деревне имелись родственники.

Короче сказать, в бараке жили техники, изыскательная партия, — начальник партии, старый техник Гришин, его помощник Айрапетьянц и десятник. Изыскатели отнюдь не считали себя последними людьми на участке, тем более, что по совести — они были первыми.

Еще когда и барак не было, да и сам Мизингэс неизвестно — быть ему или не быть, Гришин с Айрапетьянцем и десятком других, осев на деревне, взяли под ноготь всю эту местность, обшарив ее треножником вдоль и поперек, — днем они шарили, их длинные рейки ша-

гами мамонтов, равномерно, туда и сюда, утыкали пространство, исшагав его треугольниками, а ночью при лампе распухшие пальцы держали чертежное перо, и на белом бумажном поле квадратов вставляли странным подобием все тех же шагов мамонта, движений реек стройные и косые леса трансверселей: техники заносили местность на план. Земля со всей ее сложной прелестью, оврагами и пригорками, лесами и скалами уминалась тут в точках и линиях, разглаженная, как примятое платье. Сейчас Гришин с Айрапетьянцем заканчивали последнюю съемку на верхнем склоне каньона, — им оставались проверочные работы по большому напорному тоннелю да трассировка подъездного пути в тупичке. В бараке с ними жил Фокин, сюда приходили ночевать Ареульский с вертушкой и неизменным Санчо-Пансой, Мкртычем, когда позволяла Мизинка; и сюда же из комнаты для приезжих начканц временно переселил Арно Арэвьяна, — можно сказать, на свою голову переселил: рыжий, сдружившись с техниками, вместо расчета засел в изыскательной партии за десятника.

Не дойдя шагов десять до барака, Клавочка заволновалась еще пуще. Остерегая соседок, шопотом повторяя им, как и что надо, Клавочка не могла унять дрожь в локтях и, стягивая платочек, даже шепнула: «Ой, холодно». Ей и всерьез стало холодно от волнения и странно до жути, лохоросела она, мелким шажком, кошкой подкрадываясь к крыльцу. «Душечки, милочки, не забудьте».

Но женщины не забывали. У них был заговор. Жена Маркаряна втянула губы внутрь, пышные плечи в собачьем мехе распрямила и, первой ступая по шаткой лестнице, поднялась в барак. За нею, хихикая в руку, дробно прошла счетоводова жена, а Клавочка замялась: «живот болит», но тут же, сияя глазами и вздернув ноздри, как у деревянной лошадки, бледная от волнения, холодея, со стиснутыми ладонями, шибче всех поднялась по ступенькам, обогнала обеих и постучала к рыжему. И все-таки в этой комнате, как ни ругай, было славно. Рыжий лежал на длинной лавке, возле него на подоконнике стояла ка-

стриоля, стены увешаны ружьями, рюк-заками, седлами на рваных ремешках, а на столе в ожидании путешествия—чей-то готовый мешок и дорожная фляга в парусине. Рыжий приподнялся, держа пальцем место, где он читал. Глаза у него покраснели слегка под разбитыми стеклами и были сейчас вопросительно, почти раздраженно устремлены на по-меху. «Гришина дома нет» — хотел он сказать. Но в дверях жались женщины. Ежилаась толстая Маркарян,—она, как было у них условлено, должна была первой сказать фразу и заученным голосом начала:

— Вы знаете, товарищ Арэвьян, вечером в клубе спектакль.

— А пустяки! не в спектакле дело,—подвела вдруг экспромтом Клавочка, проходя в комнату,—нам постричься не у кого, Арно Александрович! Будьте миленький, ну, пожалуйста, мне Аршак говорил, вы очень хорошо умеете. Захотели б, вы этим бы на нашем участке деньги зарабатывали!

— В городе некогда, а у цырульника стричься все равно, что зря. Он, во-первых, не стрижет даже, к нему дамы и не ходят,—мы не задаром, товарищ Арэвьян, не обижайтесь, будьте такой любезный!

— Да в чем же дело?

— Вот... — Клавочка вытянула из сумки большие портновские ножницы.

— Он добрый,—заявила Клавочка,—чего ему обижаться? Он на бирже записывался. Ведь правда? — она вдруг взяла его обеими руками за воротник амазонки и притянула немножко к ба-лованным видом очень хорошей знакомой, и зеленые, вывернутые, блестящие глаза ее уставились в разбитые стекла рыжего с неистовым, почти страстным любопытством, правда, она для приятельниц вложила в вопрос таинственное, страшное нечто, понизив голос до глуховатого шопота: — Вы же ведь были парикмахером? (заметьте себе, все заметьте,—говорил ее шопот двум другим женщинам). Но рыжий не вздрогнул, не побледнел и не упал в обморок, как они втроем ожидали, а очень спокойно снял руки Клавочки с воротника, словно сцепляя налетевшую жужелицу или колючку, и подбородком кивнул в сторону двери, — там уже с минуту сто-

ял Степанос, не без удивленья наблюдая сцену:

— Товарищ Степанос, вы за книгой? А я и кончить не успел. Войдите, войдите, товарищ Степанос.

Вышло дело или не вышло? В кооператив спускались все три уже не в обнимку, а гуськом, и стало по-настоящему холодно, маленький нос Клавочки посинел. Вышло или не вышло?

— А вы заметили, как он перевел разговор, точно и не его спрашивают,—сказала жена счетовода.

— И голос не дрогнул, в роде опытного преступника! Я таких типов по книгам знаю,—прибавила жена Маркаряна.

Русский язык Клавочки был милей и натуральней. Она берегла его про себя. Она подумала,—в опадающем платьице вокруг колен, когда шла Клавдиванна за ними самой последней, потеряв уже удовольствие от прогулки, было что-то похожее на зевоту,—платье зевало, как и сама она, пережив возбужденья: «Сволочь ты, вот кто».

3

В четыре часа было объявлено бюро, но члены бюро, кроме осьмого, Фокина, с двух часов испытали потребность встряхнуться, запретить присутственное место или же просто выйти из комнаты, где сидят, — каждому бессознательно чувствовалось, что надобно приготовить себя к бюро. Один Фокин преспокойно орал на рабочих в тоннеле, вырывая трамбовку — работы шли из рук вон. Доведенный до хрипоты, Фокин сел на бочку и вытерся рукавом,—может быть, день, сумрачный день, тучи, большое давление, может быть, малярия — жужжит что-то в ушах, как от жару,—но факт тот, что и Фокин был частью этого разлаженного и никуда негодного целого: «Лодыри, стукачи, лапотники» — ругался он про себя. Инерция большой работы сегодня разбита, не вытанцовывалась работа. Может, иной поэт какой-нибудь, сидя у себя при спущенной шторе за столом, с отчаяния грызет ручку и думает, что не пишется, нет вдохновенья, может, такой поэт и не знает,—а стоило бы ему заглянуть в смущенную душу Фокина, — что не для стиха только, а для каждой большой работы, для пилы, для молота.

для трамбовки, чорт поberi, требуется вдохновенье, та слаженность, согласованность, «само пошло», маслом помазанная дорожка усилия человеческого, то, чего нет сейчас в любимом тоннельчике, и Фокин сидит, обтирая бесплодный пот, готовый лезть на стену. Но сегодня ничем не прошибешь рабочих — выдался такой день. Давление? Или малярня, — а ну, на ночь хины выпить!

Но пока Фокин борется мыслями со странной, тупой разлаженностью, обступившей, подобно тучам, работы в тоннеле, другие члены бюро, каждый по своему, переживают нечто, похожее на фокинскую малярню. Переживает ее начмилцион Авак, идя вдоль по шоссе и торопясь итти, чтобы поспеть на участок до машины: он был внизу, на станции и пошел пешком, — только бы не столкнуться с Левонем Давыдовичем. Честное круглое лицо Авака и подкинутый под самый околыш взгляд — так иной фронт подкидает фуражку, как у него — глаза — невыразительны, хотя и сильные чувства обуревают Авака: вот если б взорвалась сейчас бочка на пороховом складе, куда поставлен любимчик Левон Давыдовича, хромой Никита. Или вот если б вывалила машина начальника под откос — зубы скрипнули бы, если б позволил себе Авак припомнить сценку возле кухни и собственное трусливое молчанье, — не сумел, дурак, ответить. Как дремоту, сбрасывая такие мысли, начмилцион силится думать о другом, он говорит себе насильственно: «Ай, нехорошо» насчет положения вещей на участке, но взгляд его внизу, где тоненько, через туман и слизь очень плохого, почти уже темного дня, заблестели огонечки — признаки суеты, катастрофы, чего-нибудь необычного и неожиданного.

Огонечек горит в дизельной. Там комсомолец, член бюро, тот, что оброс не по возрасту бородой и чья прокурорская речь гремела по поводу Сукьянца, тоже волнуется нынче, — он готовит речь. Комсомольцы, зашедшие к нему, распалют прокурора. Каждый принес новость. Классовая борьба на участке, верней наступление на рабочий класс, — вы можете, как хотите, отрицать эту

борьбу, — но, нагнув молодую голову, крепкий корешок шеи, сочный, словно морковка какая-нибудь, бородач, поблескивая умным и знающим взглядом, заносит по-армянски в блокнот: пункт первый — увольнения тех, кто выступал с критикой. Пункт второй — явно бессмысленные увольнения — Аветис со склада. Там работа не сокращается. Склад получает по накладным. Оставшиеся перегружены. Будут нанимать на место уволенного других. Пункт третий: рабочим не сделали доклада о новом проекте, работа вслепую. Пункт четвертый: драмкружок. Засилье мещанской публики. Шкура барабанная (жена счетовода не пожелала играть с рабочим, — «от него пахнет» и не решила по ходу пьесы обзвать ее «шкура барабанная», а вместо этого «дурочкой»...). Здесь пишущий плечами пожал — дальше некуда. Кто они на участке? Наемная сила? Кто их хозяин? Капиталист какой-нибудь? Где они на географической карте? Кинув окурок в плевательницу (курить запрещалось, — ходивший в дизельной приезжий инженер-электрик невзначай оглянулся на комсомольца), прокурор дописал пункт пятый: распределение в коопе. Когда ни придешь — дамы с корзинками, отпуск в первую голову «чистой публике», рабочий не получает молока, масла, ждет лишнее время..

Как раз в эту самую минуту, примерно к двум часам, почти к закрытию в лавочке кооператива рабочие ждали «лишнее время». Не то, чтобы в очереди. Очередь была, они загады запомнили кто где. Но отпуск продуктов затормозился. Заведующий кооперативом с улыбкой на лунном лице, — улыбка была впрочем беспокойная и скорей по привычке, — отодвинув приказчика, делал подсчет. Он спешил кончить пораньше, потому что и он тоже перед бюро — он был пятый член бюро — испытывал неприятное, нехорошее чувство, — то ли выйти, то ли дело докончить, но что-то сделать, округлить как-то день, — он эффектно щелкал костяшками, закругляя день. За его спиной на стоячих весах чей-то мешок с недосыпанным рисом вздрагивал, и рисинки падали, как капли с усов, — рабочий ждал, положив локти на высокую доску прилавка, и за ним

налегли десятки других. Лампочка светила скудно. Полки перед рабочими мерцали последовательным строем продуктов, маршировавших группами и со знаменами,—армия эмалированных чайников с белой дощечкой «два сорок»; вихрь черных шнуров от ботинок, сплетенный, как змеи, под знаменем «по паре в одни руки»; пирамида папиросных коробок; жестянка с сухим галетом, «400 грамм на пайщика» — кому время, смотри, изучай, разбирайся взглядом, потому что нет вещи непоучительной, не способной лечь мостиком к выводу, не показательной для широты — долготы. Но тут, прерывая, может быть, иной любознательный ход мыслей, на полки с продуктами легла пышная тень, — между рабочих пробирались жена Маркаряна, Клавочка и счетоводова, успевшие запастись плетенками и посудинной.

— Мне, товарищ, только бы тертых помидор,—щи варятся!

Умоляющая гримаска хозяйки и ее беспокойный взгляд по полкам. Продавец, спросив заведующего глазами, поднял с весов мешок с рисом, потом привычным жестом поставил на весы, где еще блестели одинокие рисинки, посудину и ловко, из-под зажатых пальцев, на другую чашку весов — сперва камушек, потом другой, третий — весы пришли в равновесие. Лизнув палец, которым она, свесившись всем телом, ковырнула откуда-то масло, жена Маркаряна деловито смотрела, как густую кровавой гущей стекает в ее посудину пюре из помидоров: щи не ушли бы!

А день и совсем стемнел. В начале третьего зажглись огоньки и в бараках, зажглись и большие, качающиеся на канатах придорожные фонари, в свете их заплясали реденькие снежинки. Снег впрочем с минуты на минуту усиливался,—и вот уже он не снег, а дождь, крупней и крупней дождь, откуда-то взялись фигуры, разбегающиеся в разные стороны, словно шпарил дождь клопов сверху: одни под мешком или куском брезента, три наши дамы под развернутой газетой; запасливый некто под зонтиком, — через минуту на барачной улице ходил только гусь Косаренки, а сам Косаренко с порога глядел на него. Косаренко, четвертый член бюро, глядел на

гуся, но думал в сущности не о гусе и не о погоде,—в этих местах Косаренко был чужой человек, он держался себе на уме, потому что высказаться — одна досада. Как тебе высказаться, ежели всё, сколько есть тут, критически сравнивал про себя Косаренко с тем, что он оставил на севере, — на Донбассе, на Мариупольском заводе, в Красной армии, в Ленинградском порту, за десять-то лет наберется, с чем посравнять, — там тебе так и позволят рабочим спецодежды не выдать или против месткома уволить, или рабкора снять! За спиной Косаренко в бараке сидит гость — секретарь. Он сюда пришел давно, и разговор между ними выгнал беловолосого Косаренку на улицу — гуся глядеть. Поставив здесь, Косаренко вернулся назад, задумчиво высвистывая мотивчик. Он не любил секретаря и считал его слабым. Секретарь знал, что Косаренко не любит его и считает слабым. В эту минуту (она, как малая капля в ничтожном маленьком мире, где были они действующими лицами, отражала в себе другие такие минуты в больших мирах и сильна была общностью, одновременностью с ними) секретарь знал, что каждый из них делает больше, чем свое дело, и отвечает за большее, чем за свое дело. В эту минуту по странной и необъяснимой черте характера он пришел за советом и помощью не к тем, в ком мог бы найти сочувствие и с кем мог бы, упребив слово начканца Захар Петровича, «консолидироваться», — а напротив, к наисильнейшему критикану и смехуну, открытому своему противнику Косаренке.

За час, что они проговорили, секретарь услышал не очень приятные вещи. Он, по словам Косаренки, не имел авторитета на участке, его спиной пользуются как щитом, партийного руководства не чувствуется, рабочий актив сокращен, комсомол без помощи, наплеватьство на молодежь, Агабеку поддержки нет, Агабек за свой страх и риск...

— Да ты слушай,—сказал секретарь ровным голосом. Уши его горели. Но в загибе их внимательному открылось бы нечто упорное и неподатливое, — я с тобой не на счет своих талантов говорить

пришел. Я предупреждаю: ты провоцируешь Агабека. Парень зарвется. Я на счет Агабека пришел. Понял?

4

Для Степаноса книга, какую он дал рыжему с условием прочесть в один вечер, была только предлог. У Степаноса с рыжим была дружба. Степанос говорил ему «ты», он доверял рыжему. Рыжий говорил Степаносу «вы». Не изменяя себе, учтивый, как старички на пенсии, рыжий придвинул табуретку на середину комнаты и пошел запереть дверь за женщинами. Но в воздухе осталась контрабандой женственность, — смесь валерьянки с китайским чаем, влажный, как насморк, запах весны, даже собачий мех, и подмышечный пот жены Маргаряна вливался в букет невыносимым привкусом похоти, — это был воздух, подействовавший на рыжего. Чувствительный к запахам, он вместо того, чтоб закрыть дверь на ключ, как собирался, взял да и распахнул ее настежь, изменяя обычной сдержанности и протестуя вдруг всем своим большим белым телом, мягким и гибким, как ягуарово, на всеобщую манию конспирации, захватившей участок. С добродушной улыбкой он напустил в комнату воздух и холод.

Степанос сел, положив ладонями вверх руки. Длинные фалды его пиджака легли до полу, а пыльные, старые брюки и старенькие штiblеты, в которых мяса и костей, казалось, было так же скупно наложено, как начинки в дешевом сдобном, — беспокойно заерзали вслед стремительному движению рыжего.

Степанос, третий член бюро, поспешил сюда именно потому, что, во-первых, до бюро оставалось каких-нибудь два часа, во-вторых, его друг рыжий нынче же, как он сам сказал, уходил в первую свою экспедицию с Гришиным на роли десятника и пробудет в ней дня два, а то и три с гаком, и наконец самое главное, — миролюбивой натуре Степаноса недоставало поддержки от беспартийного ума. Степанос страдал склонностью к примиренчеству, как говорили в ячейке. Если спросить его самого, Степанос возмутился бы, — он просто не переваривает и не желает переваривать склоки, он ищет согласия и согласной

работы, он не любитель интриг, вот что. На самом же деле, в глубине женственной своей натуры Степанос знал себя и боялся себя: если говорить честно, как истому армянину, — Степаносу ничто не грозило таким великим соблазном, как именно склока. Немножечко задыхаясь, он пришел выговориться, чтоб выпустить лишний пар и суметь помолчать на бюро.

— Запри-ка дверь! — сказал он просительно.

Рыжий запер.

И опять, на минуту убитый холодом, воскрес в комнате запах женщины. Арно Арэвьян сел против друга на койке. Перемена работы пошла ему видимо впрок, — маленькие глаза рыжего изпод разбитых стекол сияли юмором и здоровьем. Расстегнутый воротник на шее показывал белую кожу, — она загорела ярко и нежно, как у девушки. Тонкие пальцы рыжего были сейчас в синяках и ссадинах, — он два дня возился в сарае, самолично разбирая и чистя инструменты и свыкаясь с ними перед работой.

— Ну-с, вы тоже будете жаловаться на секретаря? Весь участок жалуетса на секретаря.

— Не в том дело, — Степанос видел сейчас в оживлении рыжего нечто не совсем похвальное, если иметь в виду серьезность момента. Ругать секретаря всякий сумеет. Вопрос стоял в том, как справиться с обуревавшей каждого отвратительной, словно грязь налипша, атмосферой на участке. Нептребимое «я слышал», «он говорил», «говорят», «рассказывали», «а ты знаешь», «а такой-то...»

— Начканц открыто заявил, что администрация нажмет, и Агабек вылетит с участка. По начканцу, жена Покрикова, Марья Амбарцумовна, сильней ЦК партии, на его мнение наплевать, но ты понимаешь, что получается? Чем я это мнение в глазах рабочего... если завтра Агабека снимут? Бюро пишет в уком, а Марья Амбарцумова бежит к Нине Амбарцумовне, Нина Амбарцумовна к мужу, муж звонит в совпроф.

— Да ведь он ушел!

— Ну не он, другой, третий будет, одним словом — по их. Один выход — заткнуться и помалкивать, как наш без-

вредный. Оттого-то безвредный и ко двору. Ведь дураку ясно, секретарь им в руку играет, куда же дальше? Позор, вот что делается, позор. Стыд и срам!

— А я думаю,— рыжий говорил медленно и осекся.

— В такую минуту он, знаешь, что делает? Ходит по членам бюро и говорит, что Агабек зарвался. Начканца выслушивает! Начканца слова повторяет! Я тихий человек, но знаешь, у меня кипит прямо, я готов эту тряпку, этого франтика так пронести в газете... А с другой стороны, Арэвьян-джан, руки опускаю. Какая, скажи, польза от этого? Культурбота у меня на нуле, до сих пор из центра лектора не дают, кричат: строительный участок, а отношение хуже, чем собачье, — совсем как баба вывернул малокровные, сероватые ладони перед приятелем, показывая полную безнадежность положенья. Но в глазах Степаноса чуть тлел уже безумный огонек склоки. Он уже не прислушивался к себе и не заметил, что в его речи звенят чужие интонации, как врываются иной раз в музыку посторонние звуки — паровозный гудок, шум падающего стула, кашель, трамвайные звонки. Но рыжий их слышал. Он встал сейчас и помедлил немного, прежде чем снова начать свое прерванное «я думаю...» Рыжий страдал от запаха в комнате, сопротивляясь внутренне, чтобы не привикнуть к нему и не ввести его глубже в легкие. Он не заметил, как и всегда в такие минуты, что люди с ним, с его временем, личным удобством, личным вкусом очень мало считаются,— Гришин должен зайти, надо успеть поесть и вынести из сарая инструмент,— он не об этом сейчас, а о том, как ответить. Трудно ответить, чтоб не вспомнили беспартийность или другое такое же обстоятельство, потому что ответ был у рыжего обдуман всеми последними днями и всей глубиной интеллекта.

— А я думаю,— в третий раз начал рыжий, стоя перед окном, руки в карманы, большое и сильное тело повернув так, чтобы запах и Степанос остались сзади него — в запахе женщины и в безумном зрачке Степаноса, забелевавшего склокой, было нечто единое,—

— думаю, что недооценивал секретаря **я сейчас!**

Сказав наконец эту фразу, рыжий стремительно повернулся и взглянул прямо в большие зрачки Степаноса: как бы хотел он иметь дар речи, быть гением слова, быть музыкантом, чтоб взмахом руки передать точность знания, ту точность знания, что ценил рыжий в себе и в других выше самых блестящих талантов. Он любил Агабека и не любил секретаря, как Степанос и как десятки других на участке, но в эти дни, приглядываясь к секретарю, он с изумлением видел, как разворачивается этот медленный, туповатый, ушибленный книгой «безвредный» во всей смешной ерунде своей педантической, чистоплюйской, нарядной сущности, как он разматывается изо дня в день, чтоб под спудом деталей, всей мелочи слов и жестов дойти вдруг до главной оси человеческого характера — до действия. Безвредный — один на участке — действовал в эти дни. Рыжий втянул верхнюю губу в рот, он засопел, — он думал, как лучше сказать.

— Поймите же, Степанос, чтоб сказать «Агабек зарвался», сказать это после начканца, нужно очень большое мужество, нужно знать, что говоришь. Нужно очень любить Агабека и остро чувствовать, чтобы это сказать. Вы можете разочароваться в моих убеждениях, но я... я уважаю секретаря. Он партиец. Я хочу сказать — он, единственный, повел себя как партиец.

— Да ты спятил, Арэвьян,— пробормотал Степанос, удивленно воспринимая страстность, какую вкладывал рыжий в слова. Остывая сам, он даже подумал — так, боком — насчет беспартийности рыжего, и тот мгновенно угадал это.

— Вы сейчас не в состоянии понять,— сказал Арэвьян, меняя тон и садясь на место. Но вспышка согрела его самого, вспышке он был благодарен за лишний шаг мысли, по привычке учась у себя и организуя себя в этом незаметном учении, рыжий вдруг снова подумал о запахе в комнате и о ненависти к нему.

— Когда вы будете в состоянии понять, я расскажу подробно, что именно думал. Но не будьте несправедливы. Если начканц говорит «зарвался», — это одно. А когда секретарь говорит «зарвался»... Вы знаете, я люблю Агабека. Я никого так на участке не люблю,

как Агабека. Я занят им, я о нем думаю, я этого человека красивым нахожу, — в эту минуту я с вами почти неприлично искренен. Но почему никто из вас не задумался, что хотел сказать секретарь: «Агабек зарвался»? Вы как партиец начните с простой истины: секретарь в это вкладывает одно, а начканц другое. Так вот вам задача, — в чем заключается мысль секретаря? Странно, как странно, — вы опять не понимаете!

5

Поезд, в котором приехал Левон Давыдович со специалистом по бетону, опоздал. Шофер раза три ходил на станцию, и все три раза буфетчик ставил на прилавок сполоснутую рюмочку. Шофер, выпив, говорил буфетчику, что при такой жизни не только ничего от жалования не останется, но еще и свое доложишь. К приходу поезда он уже не глядел в глаза и не разговаривал, обиды жизни взволновали его, как если б он прочел о самом себе в книге. Надутый и молчаливый, он подождал, чтобы сели, дернул рычаг, как поводья, и сорвал злость на машине, а если шофер срывает злость на машине, это уже последнее дело. Машина участка хоть и была не первого качества и чаще ездила в ремонт, нежели иной зав в командировку, — любила хорошее обращение. Раза два на крутых взлетах она съехала назад, причиняя Левону Давыдовичу беспокойство и мешая отдалиться разговору, потом пошла быстрее, чем следует, хотя и дорога, и дождь, и камни, налезшие с косогора, не очень-то располагали к скорости. Темнеть стало так быстро, что шоферу пришлось зажечь фонари.

На темнеющий день и на эти два глаза, сверкнувшие на повороте Чигдымского шоссе, глядел снизу старый, неряшливый человек без пиджака из окна участковой больницы, стоявшей поодаль от участка. — Ишь, несутся, — неодобрительно подумал врач, он только-что проводил больного из амбулатории и разыскивал, сняв фартук, свой собственный пиджак, запропастившийся куда-то. Врач на участке был старый общественник, успевший за время скитаний по промыслам, фабрикам, тюрьмам и разным далеким местам административной

высылки чуть ли не позабыть армянский язык. В его хэттитском носу, постарчески тяжело висевшем на лице, было еще армянское, но уже боро денка явно имела русский стиль. Русской была и манера носить подтяжки, и старинтelligentский формат очков в золотой оправе, — он все-таки не успел найти пиджак. Разговаривая сам с собой в поисках пиджака, врач, неряшливый в личном быту, но педантически-аккуратный по службе, занимался одновременно установкой флаконов, щипцов, ножниц, остатков марли и ваты, каждой вещи на свое место в стеклянном шкафу, да так, без пиджака, с ворохом вещей в руках и подошел к дверям, когда постучали. Стук был сильный, хозяйский.

— Амбулатория заперта, прием закончен, — пискливо прокричал врач, подойдя к двери.

Но стук повторился и усилился: стучал взволнованный Левон Давыдович, весь в грязи и глине. За ним виднелась длинная и тощая фигура очень стройного, в талию, специалиста по бетону. Он не был выпачкан, но именно он-то и пострадал: левый рукав на локте был дочиста содран, и по руке сочилась кровь. Автомобиль вывалил их вниз.

— Э-ге! — протянул доктор, — вы меня извините, я без пиджака. Я это заранее знал. Входите скорей, — так, знаете ли, нестись, как вы неслись, это сумасшествие! Как вы сказали? Товарищ Целадзе, Вахтанг Николаевич? Очень, очень приятно, у меня лаебство к грузинам. А ну, пройдите туда к столу, — я, Левон Давыдович, сейчас займусь ими, вот только фартук надену. Удивительное дело у меня с пиджаком, — как исчезнет, значит — преждевременно, значит — будем еще фартуки-с надевать, фартуки-с надевать-с.

Надевая, старичок присматривался к новому человеку на участке. Тот стоял молча. Специалист по бетону был еще очень молод, но строг по наружности («коммунист» — подумал врач). Он был в высоких сапогах, его новенький фрэнч затянут на стройной и тонкой, чересчур тонкой талии узеньким ремешком. Смуглое и длинное лицо, сейчас непобритое, видать было, что очень скоро зарастает, — волос опустил его чуть ли не с самых подглазниц до шеи.

(«Туберкулезный» — опять решил врач, профессионально оглядывая длинное тело и узкий провал груди, узкие, почти детские плечи).

— Сядьте, Вахтанг Николаевич, я сейчас! — он мыл руки, теребя ногти сломанной, плохенькой, почти безволосой щеткой. Не без расчета он тер долго. Начальник участка — редкий, можно сказать, небывалый гость в больнице, — ходил сейчас вдоль по комнате, разглядывая амбулаторию. Ходи, ходи, братец! Разглядывай наши прорехи! Просишь, просишь — от тебя шиш с маслом, — редко кого ненавидел так старый врач, как именно злополучного Левона Давыдовича.

— Скупенек у нас Левон Давыдович, — подмигивая грузину, сказал он, вытирая руки, — а ну, покажите, с чем вас поздравить? Царапина, больше ничего. Зашить надо. С полчаса времени займет, если позволите.

— Полчаса я не могу ждать, — вмешался Левон Давыдович, пропустивший мимо ушей «скупого», — вы меня простите, товарищ Целадзе.

— Вы в конторе будете? Я туда и приду, — вот, может быть, доктор даст кого-нибудь проводить.

— Я сам за вами пришлю, фаэтон пришлю! — с этими словами Левон Давыдович вышел.

Промывка раны — дело грязное, но старичок именно это дело любил и молча делал, сощурив старые, мохнатые глаза. Пальцы его после мытья были холодны и нетверды по-старчески, вату он экономил и поворачивал кусочек в руках чистым местом, покуда весь его не использует. Однако же зашивка вознаградила сторицей. Узнав, что приезжий — коммунист, врач необыкновенно оживился. С коммунистами он считал долгом беседовать, излагая до тонкости свою особую, принципиальную точку зрения, — а сейчас на участке был острый момент, сейчас на участке такое, с позволения сказать, творится!

— Я старый подпольщик, товарищ Цулукидзе, виноват, Целадзе, в тысяча восемьсот девяносто седьмом году я... минуточку, вон ту баночку с иодом, рядом, да, да, спасибо, дружок. Вы человек молодой, так вот я вам скажу: я не марксист, чуеете? Не марксист, нет-с. Я в анкетах прямо пишу, принципиаль-

ный вопрос, — социалист, но не марксист. Вытяните руку, еще вытяните. Так, а теперь штопать вам руку будем, пластическая так называемая операция. Я и за хирурга, я и за зубного, я и за акушерку на участке... Нет, для русского-с, для человека русской культуры Маркс узок, товарищ Цулидзе, узок Маркс. Это я прямо говорю каждому большевику в лицо. Не та для нашего поля действия фигура нужна, темперамент не тот. Я русского мужика знаю. Я с русским рабочим на Бутырьках сидел, и я прямо скажу вам: недоразумение-с, Маркс для нашего рабочего — недоразумение. Как вы себя теперь, — хорошо? Минуточку, одну минуточку, с таким, как вы, свежим человеком поговорить для меня — отдушина.

Старичок, сорвав с пальцев налипшие куски ваты и марли и похлопав для чего-то ладонями в воздухе, сунулся в другую комнату. Там он жил. На неудобной и неуютной постели, на столе, под столом, на табуретке у старика валялись книги — желтоватые, залитые чаем и жиром, закапанные стеарином, с воткнутыми, для памяти, огрызками спичек, веточками, карандашами, — он подхватил желто-красный потрепанный томик и, выбежав к специалисту по бетону, нашлепал книжку, как шлепает акушерка новорожденного.

— Вот-с! Читали? Вам в вашем возрасте эта полемика ничего не говорит, а мы ее нутром знаем, чуеете? Капитализм для народника, для человека русской культуры, для общинников, для русской общности, чем, я вас спрашиваю, был капитализм? А первые-то наши марксисты, Ильич-то, для них, я вас спрашиваю, чем был капитализм на Руси? Вы не помните, а я помню, наш брат, подпольщик, помнит. Мы с первыми марксистами во как дрались! Больше я вам скажу. Бей буржуя — это наш лозунг.

Он налиставал книгу все еще грязными от крови и марли пальцами. Он не видел вежливой скуки, даже досады грузина, искавшего глазами часы, — в амбулатории часов не висело. Свои часики грузин разбил вдребезги, когда вылетел из автомобиля. Он не слушал, что ему болтает старик, а врач все налиставал книгу, останавливаясь, чтоб прочесть две-три фразы и снабдить ком-

ментарием, — старинные споры, удел мемуаров, учебников политграмоты, толстой истории ВКП или другой книги оживали в этой голой, со стеклами вдоль стен комнате, где стоял собачий холод, холодней, чем снаружи. Фаэтон не показывался.

— Не наша, не русского человека фигура — Маркс, — вдруг громко над самым ухом грузина прозвучал голос старичка, — врач держал его за плечо. — Хотите знать мое личное мнение? Вейтлинг, вот это фигура для нас, Вейтлинг — да. Борец, рабочий, бродяга, вольный тип, ветер, человек без предрассудков, без этой сидячей, без этой, как бы сказать, цирлих-манирлих, рассудочности, скрупулезности, фармацевтики, — тоже ведь немец, а свой человек. Я Вейтлинга чувствую, а Маркса не чувствую. Ну, вот хотите, не хотите, — не чувствую, и конец.

— Скажите, у вас есть часы?

— Часы?

Врач положил книгу на подоконник и стал снимать фартук. Часы у него были в пиджаке, а пиджак — чорт его знает, куда запропастился. Впрочем он вспомнил вдруг и почти с облегчением сказал пациенту:

— Часы у меня с четверга стоят.

В том, что до сих пор не было фаэтона и приезжего позабыли в берлоге у старого говоруна, Левон Давыдович, по чести, не был виноват. Он почти бегом дошел до дизельной, с которой и начинались первые бараки, и отсюда еще по телефону заказал лошадей, но кучер ушел неизвестно куда, а помощник кучера, прежде чем самому запрягать, сделает все от него зависящее, чтоб дожидаться кучера и увильнуть от работы. Он ходит с кнутом от конюшни до грязного барака, где живет вместе с кучером, и все поглядывает, не покажется ли?

Сам же начальник участка, дойдя до конторы, немедленно и с головой влип в работу, — даже забрызганное пальто не снял. Повернув голову над бумагами, подвинутыми Александром Александровичем, через стекло своей будки он встретил взгляд Захар Петровича: «кстати, Захар Петрович!»

— Здесь, — весело, с задумчивостью ответил начканц.

— Вот что, Захар Петрович... — начальник участка водил глазами по канцелярии и не видел рыжего. Все-таки он понизил голос: — помните, я предупреждал, — не мое дело? Так вот, этот архивариус ваш, каков бы он ни был работник, нужно его убрать немедленно с участка, за ним из Гепеу следят, и хороши вы будете, если явятся сюда арестовывать. Он оказывается партия-макер какой-то беглый, я право не разобрал, в чем дело, но он определенно под наблюдением.

— А-ах! вырвалось у начканца.

— Это я не от себя. Приказ. Приказ от начальника строительства, поняли?

— А-ах, — еще отчаянней простонал начканц. Ах, чорт его побери, как он влопался. За всю долгую службу ни разу, ни разу не влопывался так несчастный начканц. Не даром сосало у него под ложечкой. Кто, — ну скажите, ей богу, кто поверит, что взял человека по одной внешности, так, здорово живешь, с пьяного ужина, имени толком не слышал?! Кто тебе поверит, дурак ты! — А-ах, Левон Давыдович, убили вы меня своими словами. Я ж его сократил, да разве мы на участке хозяева? Местком его опять взял. Вместо десятника, у Гришина — и ведь ушел сейчас, с изыскателями наверх ушел, двое суток прощляется, — где я его искать буду?

Нет, даже начальник участка в эту минуту не понимал отчаяния Захар Петровича. Страх, — больше того, — ужас овладел человеком. Приложив руку ко лбу, молча озираясь вокруг, начканц не сел, а прямо плюхнулся перед Левон Давыдовичем на стул, — вот оно, оправдалось, вот тебе и не верь в предчувствия!

— Имейте в виду, — голос Левона Давыдовича стал сух и визглив, — в этом деле ответственность несете целиком вы. Я не знаю этого человека. Я его не брал. У меня достаточно своих неприятностей. В управлении... — уж конечно он в управлении все взвалил на него, можете не сомневаться. Но не таков был Захар Петрович, чтоб не забрать себя тут же в руки: еще сидя, рука на лбу, в хаосе мыслей, начканц начинал прощупывать ниточку, едва видимую, ариаднину нить — спасение для себя. Не отвечая, он встал и пошел из будки.

(Продолжение следует)

Василий Сергеевич

Рассказ

Л. СОЛОВЬЕВ

Василия Сергеевича Крюкова, то-
каря депо, к первому мая переве-
ли на полную пенсию и награди-
ли званием героя труда. На следующий
день он по привычке проснулся на рас-
свете, потянулся было к одежде, но
вспомнил, что сегодня уже не надо идти
в депо и так остался лежать в смутной
полудремоте, не открывая глаз. Он слы-
шал, как шаркала туфлями и звенела
мелочью жена, собиравшаяся на рынок,
вот она закрыла тонко скрипнувшую
дверь, — в комнате стало совершенно
тихо. Чуть улыбнувшись, Василий Сер-
геевич подумал: «Ну, вот, и на покой,
наконец... Тридцать восемь лет отбу-
хал... Хватит».

Предутренняя тишина была ненадеж-
ной, тревожной; полежав несколько
минут, он открыл глаза и приподнялся
на локте. Постель жены — она спала на
сундуке — беспорядочно свисала на
пол, — от серого утреннего света и про-
стыня, и подушка казались грязными.
Василию Сергеевичу подумалось, что
будь постель прибрана, вся комната сра-
зу стала бы светлее и уютнее, и не так
ясно выступала бы зеленоватая плесень
в углах. «Вот фефела, вечно не прибе-
рет» — с досадой пробормотал он, но
сейчас же вспомнил, что и раньше жена
убиралась поздно, и тогда неубранная
постель не раздражала его.

Вытянувшись, он закинул руки под
голову, поиграл мускулом и с удоволь-
ствием заметил, что мускул еще жесток,
кругл и приятно трепещет под щекой.
Так лежал он с час; с непривычки от
долгого лежания по телу расходилась
мутная, неприятная истома, во рту было

горько, как с похмелья. Пришла жена
и вскипятила чай. Василий Сергеевич
пошел в сенцы умываться, зажег лампу,
а когда умылся, сообразил, что светло и
без лампы, и торопливо, чтоб не заме-
тила огня жена, дунул в стекло и ру-
кой разогнал белую струю вонючего
дыма.

После чая жена ушла в школу, — она
работала там сторожихой. Василий Сер-
геевич подошел к окну. Оживленный
утренний час прошел уже, улица была
совсем безлюдной, перед окном в пыли
лежал параличный соседский кобель с
желтым брюхом и черной спиной и из-
редка, сонно чавкая, пытался поймать
муху. Чуть скрипела дуплистая верба
под окном; Василий Сергеевич вспомнил,
как однажды, лет восемь назад, на
городок ночью налетела ужасная буря—
даже крыши с домов посрывало. В эту
ночь он дежурил и, прислушиваясь к
густому вою ветра, думал все время о
своей вербе — выворотит ее буря или
нет? Утром, увидев оголенные ребра
крыш, он сказал табельщику:

— Ишь ведь что понаделало... Поди
и вербу мою выворотило у окна.

— Мудрено ли! — ответил табель-
щик. — Экой дикоудой налетел.

По пути домой Василию Сергеевичу
несколько раз пришлось обходить пова-
ленные толстые тополя, мертвенно голу-
бевшие в изломах. «Ну разве выстоит?»
— думал он и криво улыбался, понимая,
что со стороны такая тревога за какую-
то вербу должна казаться очень смеш-
ной. И все-таки он облегченно вздохнул,
завернув за угол: его верба стояла уве-
ренно, гордо, только три ветви мертво

сникали к земле, и ему показалось, что листья на них уже потускнели и начали вянуть. За сизым мясом лохматых туч пролетали прозрачные обрывки бледного неба, пахло радостной вяжущей горечью, было прохладно, чуть сыро, повесенному ветрено и тревожно. А верба гудела полно, мягко, смытые ночным дождем бледнозеленые ее листья просвечивали насквозь... Много ли, всего восемь лет прошло, а стала гордая верба дуплестой, приземистой, — в землю растет...

Василий Сергеевич приоткрыл форточку. Дул ветер. По улице стлались тонкие струйки пыли. Донесся волнистый бархатный гудок на завтрак. Раньше гудок этот был очень пронзительным, и доктор из больницы пожаловался начальнику депо: беспокоит больных. Гудок заили бабитом, и он приобрел чудесный бархатный тембр.

К толстому и вязкому его вою примешивался какой-то слабый посторонний звук; Василий Сергеевич сначала подумал, что поет в тон гудку плохо пригнанное оконное стекло, но, вслушавшись, понял, что пищит у него в груди от дыхания.

Неловко повернувшись, он задел стол; посуда задрезжалась. «Не убрала фефела» — рассердился он, подумал минуту и начал мыть посуду, очень крепко сжимая неожиданно скользкие чашки и блюда. Одно блюдо — такое знакомое, с отбитым краешком — все-таки выскочило, и он поймал его на лету. «Фу, чорт, — усмехнулся он, прижимая руку к сердцу, которе с хрипом задержалось, — фу, чорт! Из-за блюда как напугался». Вспомнилась ему старая сказка о том, как мужик с бабой поменялся работой, а вечером запросил пARDону. И с нежностью он подумал о своей жене, что вот она и по домашности работает, и службу несет.

Вымытую посуду он аккуратно составил в шкаф, потом вынул обратно, смел с полок крошки, постелил свежие листы газет и опять все поставил на место. Потом щеткой снял паутину с потолка, прибил к полу отходившую доску, завел часы и сел на кровать, соображая, что бы еще сделать по домашности. Старые, облезлые часы хрипло, с надрывом пробили одиннадцать. «Кончился зав-

трак», — подумал Василий Сергеевич. В депо на завтрак все собиравшись у верстака, и Ванька Трусов, молодой парень, только в прошлом году окончивший фабзавуч, потешал всех разными чудными рассказами. «Он от природы насмешник» — улыбнулся Василий Сергеевич, вспоминая, как передразнивал его Трусов, кряхтя и скрипя за станком.

Высунувшийся из-под шкапа запыленный кусок газеты привлек внимание Василия Сергеевича. «Хламу, наверное, накопилось. Убрать» — решил он и принялся старательно выгребать щеткой мусор. Вместе с сором он выгреб заржавевший болт, который точил уже давно для дверной щеколды. Склонив на бок голову и критически прищурился, он долго рассматривал мутно-оранжевый болт, хотел сейчас же прыгнуться за устройство щеколды, но не нашел гайки. Тогда он собрал на совок весь мусор, сверху положил болт и, наклонив совок над ведром, внимательно наблюдал, как вытягивается в одну сторону правильная коническая горка мусора. Пыль осыпалась с сухим шипением, вот и болт глухо звякнул о стенку ведра.

— Старье... хлам, — сказал Василий Сергеевич, копнул совком мусор и неожиданно для себя задумчиво лобавил:

— Как и я... — и сам испугался своих слов. — Как и я, — повторил он и замер в темном углу с совком в руке, точно эти простые и обыденные слова «как и я» вдруг лишили его возможности двигаться.

Вчера вечером, когда председатель месткома и секретарь ячейки говорили речи о старых бойцах на трудовом фронте и о смене, Василию Сергеевичу ни разу не пришла мысль о старости, о том, что начали руки дрожать и заволакиваются слезой глаза. Ему было очень приятно, когда все захлопали в ладоши, увидев грамоту о награждении званием героя труда, оркестр играл туш, Ванька Трусов изо всей силы бил в литавры и барабан, ярко и тепло сияли электрические лампы, в переднем ряду растроганная жена вытирала уголком платка глаза...

— Ну и правильно, — вслух подумал Василий Сергеевич, вешая совок на

обычное место. — Поработал и хватит... Неплохо поработал... Зря героя не дадут... Машина и то снашивается. Станок-то мой и то поди выбросить давно пора.

Он работал на одном станке уже двадцать три года, станок разболтался, расхлябался, но когда в прошлом году инженер вздумал его выбросить, Василий Сергеевич страшно раскричался, пошел в местком и к начальнику депо.

— Такими кусками прошвыряешься! — бранчливо кричал он. — Да это — немецкий станок. Нынче-то и делать таких не могут!

Инженер уперся. Василий Сергеевич в глубине души сознавал, что инженер прав: станок — старой конструкции, цепной, лязгает, скрипит и жрет вдвое больше энергии. Но это сознание правоты инженера почему-то еще больше усиливало странную, непонятную обиду.

— Принцип все, — заодно кричал он в ответ. — Давай попробуем! Кто у вас лучший токарь-то!

Ему дали нарезать ленточную резьбу для тисочного винта. Резьба вышла на славу. Гайка шла в притирку — не туго, но и без всякой качки. Инженер вынужден был сдаться, потому что другой токарь на новом нортоне сделал хуже, а времени потратил больше.

— Не трогайте его, — сказал начальник депо. — Он со своим станком ровесник, вот и жалко расстаться ему.

Василий Сергеевич торжествовал. Он знал, что, кроме него, никто не сможет работать на этом станке: расхлябан зажим у суппорта и под резец надо подкладывать пластинку, чтоб не дрожал и не заедал. А кроме того, погнут ходовой винт, и, когда суппорт доходит до этого места, надо в ручную подать резец немного назад, иначе работа будет неминуемо испорчена. На новых американских нортонках конечно, веселее работать: не нужно возиться со сменой шестеренок, с цепью-автомат. Но Василий Сергеевич никак не мог представить себя за нортонком, словно и существует он только до тех пор, пока существует его старый разболтанный станок.

Этот мутно-оранжевый болт, который лежал сейчас в помойном ведре, точил Василий Сергеевич на своем станке... И

только сейчас он ясно понял, что и сам совсем уж стар и окружают его все такие же старые вещи: и эти хриплые, облезлые часы, и дуплистая верба под окном: когда-то и в бурю бна выстояла, а скоро сама рухнет под тяжестью собственных листьев.

— Значит в помойное ведро... Заржавел, — сказал он колючим и сухим голосом. — Не годится больше Василий Сергеевич.

Он понял, что уже вчера вечером на собрании и сегодня утром боялся, как бы не пришла ему в голову такая простая и беспощадная мысль, а она уже таилась в нем, и он, как ребенок, беспрерывно облизывающий обрезанный палец, чтоб не видеть только крови, прятал от себя эту мысль. И посуду он мыл, и паутину снимал только для того, чтобы думать о чем-то другом, отдалить, заглушить простую и страшную мысль. Медленно и отдельно, точно разыскивая в каждой букве какой-то большой и сокровенный смысл, он повторил:

— Заржавел...

Втянув голову в плечи, он сел на стул. Стал Василий Сергеевич маленьким, сухеньким, — горсточкой накрыть его можно. Словно все время он прятался от своих шестидесяти лет, а они нашли и разом навалились на него. А комната стала большой, высокой, холодной, — сидит он, маленький Василий Сергеевич, в комнате этой, и никому нет дела до того, что ему холодно, тоскливо, что сейчас в депо шумно и весело, а он, никому ненужный, должен сидеть и зябнуть один за то, что поработал тридцать восемь лет и за последние восемь лет не имел ни одного прогула.

Тикали облезлые часы, — в них по временам что-то силпо стонало, словно кашлянуть хотят они и никак не могут. Это впечатление, что часы хотят кашлянуть, было настолько ясным, что у Василия Сергеевича защекотало в горле, и он тихонько в кулак кашлянул. Скрипела ровно и безнадежно верба под окном: качнется в одну сторону, скрипит тонко, словно извиняется, что не может сдержаться и не скрипеть, качнется опять и снова скрипит... Верба скрипела даже в безветренные дни.

Василию Сергеевичу стал совершенно невыносим и надрывный хрип в часах, и ровный тонкий скрип вербы. Он почему-то на носках, словно крадучись, вышел из комнаты, беззвучно закрыв за собой дверь. Отдавая соседке ключ, он сказал с деланой беззаботностью:

— Погулять пойду...

И опустил глаза, опасаясь, как бы соседка не догадалась, куда он в самом деле идет.

2

В депо никто не удивился его приходу. Выслушивая поздравления, он всем отвечал одними и теми же словами, с одинаковой улыбкой, и с этой же улыбкой матерно выругался, когда его ушибла вагонетка. Рябой незнакомый парень с плоским, полосатым от нефти лицом заорал:

— Чего лаешься?.. Шляются здесь!..

Василий Сергеевич хотел огрызнуться, но внезапно ему почудилось что-то хозяйское в окрике парня; он сжался и миролюбиво забормотал:

— Ну, ладно, ладно тебе... Знаешь — поговорка у нас, такая...

— Поговорка-а-а, — растерянно усмехнулся парень, ожидавший ответной ругани. Василий Сергеевич отошел к стене. «Чтоб не мешать... Да что ты боишься! — вдруг возмутился он. — Ты что — посторонний, что ли, дурак старый!»

Депо грохотало, лязгало, звенело; он ясно различал в этом смещении храпа и грохота и сырые удары парового молота, и скрип лебедок, подающих к станкам для обдирки вагонные скаты. И он слышал даже — это не казалось ему, а слышал — легкое шипение в'едающихся в металл резцов. Он долго стоял у стены, жадно впитывая все эти звуки и привычный, чуть кислотатый запах свежее взрезанного железа. Смутно чувствовал он какое-то беспокойство, неудовлетворенность и не хотел признать себе в том, что ему непреодолимо хочется осознать холодность рычагов и ласковую теплоту какой-нибудь только-что обточенной втулки. Как-будто невзначай он приложил руку к рельсе, подерживавшей потолочные балки, через несколько секунд руку опустил: он

привык чувствовать живую холодность напряженно трелещущих в работе рычагов, а в мертвой рельсе не было этого трепета. Прижимаясь к стене, он пошел в конец цеха, где стоял старый его станок. За станком он увидел своего заместителя — Ваньку Трусова. Станок гудел не так ровно и низко, как раньше, а с каким-то хрипением и треском. «Цепь не смазал» — подумал Василий Сергеевич, наблюдая, как на матовой поверхности стремительно вращающейся втулки озорно елозит солнечный луч. Чтоб не обращать на себя внимания, он спрятался за доску с объявлениями, откуда было особенно удобно наблюдать за работой Трусова. И он уже не мог скрывать от себя того, что это противное и сосущее его изнутри чувство — просто обиды и зависти к Трусову, этому мальчишке, который стоит на его месте и может — и даже должен — ощущать и холод рычагов, и теплоту втулки. Чуткий и привычный его слух уловил, что резец шипит не по-обычному, с каким-то надрывом, словно тупой нож, рвущий сухожилия в старом мясе. И он понял: ходовой-то винт в одном месте погнут и прижимает резец вперед больше, чем надо, стружка идет кусками, надламываясь... В этом месте надо резец подать немного назад.

Трусов стал точить новую втулку; он не знал, что под резец следует подкладывать пластинку, опять надрывно хрипел и ломал стружку резец. Василий Сергеевич инстинктивно провел рукой по щеке; он знал, что поверхность втулки получается такой же шероховатой, как и позавчера выбритая щека. Озлобленно выругавшись, Трусов с размаху остановил станок. Василий Сергеевич с холодным злорадством ухмыльнулся: пусть попрыгает... не лезь на чужое место, раз не знаешь... стариков выгнали, а сосунки вам наработают... наработают...

Напротив висела стенгазета «Паровозник». «Славься, великое первое мая» — выведено было красным по зеленому фону. Василий Сергеевич, опасаясь, что Трусов увидит его и позовет на помощь, отошел к стенгазете. В самой середине серого листа приклеены были две фотографии — Василия Сергеевича

и кузнеца Федота Жирнова, тоже выпущенного на пенсию. Василий Сергеевич на карточке почему-то вышел моложе. Под фотографиями были стишки Ваньки Трусова (он баловался стишками):

Привет, привет вам, старые герои,
Прошли вы честно путь свой трудовой,
Спасли Республику в тяжелое вы время
Среди боев и бури грозовой.

Когда враги Республику терзали,
Точили вы болты уверенной рукой,
И за станками вы Республику спасали.
Спасли. Пора теперь вам на покой.

Устади вы. Среди разрухи, фронта
Вы не хотели часу отдохнуть.
С рассвета до ночи вы молотом стучали,
Пускали паровозы в путь.

Благодарим, товарищи. Вас не забудут.
Пройдут века. Потомок скажет: — Вот
Кто спас Республику рабочими руками —
Василий Крюков и Жирнов Федот...

Ив. Трусов.

Василий Сергеевич внимательно перечитал стихи два раза. Первый раз они показались ему что-то трудными для понимания (он никогда не читал стихов и не привык к ним). Но перечитывая во второй раз, он понял стихи и был увлечен неожиданно плавным и красивым их звуком.

— «Точили вы болты уверенной рукой...» — задумчиво повторил он. — «Среди разрухи, фронта...».

И он ясно вспомнил те годы, о которых писал в стихах Трусов: и тиф, и голод, и фронты, и расстрелы. Сын его дрался тогда с Деникиным и изредка присылал домой письма. В последнем письме он утешал отца: «... и скоро, папаша, когда мы побьем золотогонных гадов, у вас в депо будет и сталь хорошая для резцов, так что потерпите и поработайте для народа плохой из рессор, хотя вы пишете, что очень трудно, все время ломаются...» После этого письма сына убили. Василий Сергеевич вспомнил, как в этом депо не было ни дверей, ни окон, гулял зимой злой и пронзительный ветер, заносило снегом станки, прилипали руки к железу и по утрам приходилось отогревать застывшее масло в подшипниках. Тогда однажды сосед по станку, токарь Осин, долго не мог разогреть подшипники, вдруг

с размаху хватил примусом об пол и сдавленно закричал:

— Ребята! Машина отказалась! Ребята! Конец!

Его увезли в больницу. Потом узнали, что он уже неделю болел сыпняком. В последний день работы у него было сорок и четыре, и он потерял рассудок. В больнице он и умер и до смерти все кричал:

— Машина отказалась! Ребята! Отказалась!

В депо с кладбища привозили предназначенные раньше на слом паровозы, чинили, подновляли их, собирали из пяти паровозов один — разболтанный и расхлябанный. Особенно запомнился Василию Сергеевичу день, когда ему на работу принесли известие о смерти сына. Был ужасный мороз, сторож жег прямо в депо на листе железа костер, около которого отогревали заочевенные руки рабочие. По городу гудела густая поземка и залетала через зияющие провалы окон в депо. Василий Сергеевич точил клапаны для вестингауза, — работа тонкая и ответственная. Меди не было, и клапаны приходилось точить из железа, стали для резцов тоже не было, и перековывали старые рессоры. Резцы из рессор никуда не годились, ежеминутно их приходилось заправлять. Тогда еще кто-то придумал закалять резцы в соли, и все носили с собой в коробочках соль, хотя мастер и уверял, что это только кажется, будто резцы работают лучше. А потом не стало и соли, и закаляли просто в воде. Вместо стали ставили на паровозы чугуны и железо, от этого приходилось ремонтировать паровозы непрерывно: чугуны крошились, а железо стиралось. Так вот в тот день Василий Сергеевич точил клапаны, подошел секретарь ячейки и тихо сказал:

— Василий Сергеевич... Письмишко есть... Сыночек-то твой...

— Ну-у когда? — глухо спросил Василий Сергеевич, почувствовав тело совершенно легким, как пузырь.

— В бою! Геройски! За власть советов! — очень уж звеняще выкрикнул секретарь и быстро ушел. И сразу наступила тревожная и тугая тишина, только визжали негодные резцы о негодный материал да низко и злобно гу-

дела позёмка и заносила в разбитые окна колющую, твердую крупу. Василий Сергеевич подошел к костру и долго стоял, уставившись в бледножелтое, тусклое при дневном свете пламя. Потом он зачем-то потрогал себя за морщинистую щеку, в которую, казалось, навеки велась железная пыль, подошел опять к станку и стал точить клапаны...

Все это пронеслось перед ним мгновенно, такой же мгновенной была боль, сдавившая сердце при воспоминании о сыне. Он вздохнул и внимательно осмотрелся. Новые нортоньки постукивали весело и ладно, лебедки цепко хватали за горло вагонные скаты и поднимали их, беспомощных, как раскоряченные котят, под самый потолок, за чистыми застекленными окнами гудели и шипели паровозы, не такие, как тогда, а самые лучшие, новые паровозы. И Василию Сергеевичу удивительно стало, как же до сих пор не замечал он этих огромных перемен. «Это как у своего дите росту не замечаешь»... — подумал он, и сердце его на секунду сжалось и екнуло.

Тем временем Трусов, весь потный, зло сцепив челюсти, пустил станок на полный ход. Стружка летела со звоном, кусками, станок весь дрожал, и Василию Сергеевичу казалось, что эта дрожь передается до каменному полу и мелко встряхивает его тело, как в заторможенном вагоне. Резец с тусклым звоном лопнул. Под ноги Василию Сергеевичу покатила, глухо постукивая на неровностях пола, отброшенная Трусовым четвертая испорченная втулка. Он поднял ее еще теплую и, любовно сжимая всей ладонью, подумал:

— Эх, сталь-то... Золото — не сталь!

Он осторожно, словно по ранам, водил пальцем по зазубринам и выковыринам, стараясь разобраться в нахлынувшем на него совсем новом чувстве. Это была не обида, которую испытывал он, увидев Трусова за своим станком; ему необычайно больно и жалко было видеть испорченный кусок такой превосходной стали и перелетевший пополам резец из дорогого самокала. Он вспомнил, что испытал немного сходное чувство в прошлом году, когда кто-то из гостей прожег папиросой его новый

рассматривая дырочку с желтым спаленным ободком, бормотал:

— Полмесяца работал, а в секунд кто-то сжег...

Но смотреть на втулку было почему-то гораздо обиднее, чем на испорченный костюм. Он дохнул на серебристо блестящую сталь, вытер ее рукавом и сказал сам себе:

— Елова голова, да ведь я для этой стали не полмесяца, а всю жизнь работал!

Поджав губы, он подошел к станку и тронул Трусова за плечо. Тот быстро обернулся и приветливо охнул. Но Василий Сергеевич не дал ему говорить и с видом неумолимого судьи протянул испорченную втулку:

— Елова голова, ты что сталью-то расшвырялся?..

— Станок твой, — начал смущенно оправдываться Трусов. Василий Сергеевич прервал его.

— Что станок... Руки корявые, а не станок... Ты вот стишки про республику пишешь, а сталь швыряешь?.. Думаешь, в республике стали много?.. Мы ее, может, горбом наживали, сталь эту. Может, я сына за нее отдал?.. Ты об этом думал? Ты вот тринадцать лет назад без штанов бегал, а я тут в пустом дупе железом по чугуно работал. А? А ты швыряешь?..

Ему понравилось смущенное молчание обычно бойкого и находчивого Трусова, и он минут пять отчитывал его, неохотно сам себе признаваясь, что эти едкие и обидные слова относятся не только к Трусову, но и к нему самому, что и сам он, Василий Сергеевич, не наувив Трусова, виноват в том, что испорчен кусок такой великолепной стали.

— Смажь цепь, — решительно сказал он. — Вы все на новеньком привыкли работать... Нет, ты на стареньком пользу дай. Смотри сюда. Видишь... Погнут... Ходовой-то винт... Ну, понял, почему портил? А пластинка под резцом где?.. Вот как надо, смотри.

Зажав в центре поковку, он установил резец, подложив под него пластинку, чтоб не дрожал и не заедал. Попотом, немного волнуясь, медленно двинул туго трепещущий рычаг. Легко, как в масло, велся резец в металл. С мягким влажным шипением пошла гладкая

стружка и спустилась, перевиваясь, до самого пола. Станок гудел ровно и бархатно, напряженно, с легким звоном, дрожал в руке рычаг:

— Сталь мягкая, должно брать ее легко, — поучал Василий Сергеевич. — А вот здесь, смотри, заметка. Надо назад... Смотри...

И медленно, плавно, сам наслаждаясь своим искусством, подал резец назад.

Выточив втулку, он тщательно промерял ее кронциркулем, погладил, хотя и так был убежден в чистоте работы, и сказал гордясь:

— Видал. Без задоринки, как яичко. Вот так и работай.

Наблюдая за работой Трусова, он поглаживал жесткой рукой станок, как вспотевшую добрую лошадь. Он чувствовал прилив покровительственной нежности и к станку, и к Трусову, и

ко всему грохочущему депо, словно бы он, Василий Сергеевич, такой большой хозяин, и его все любят, и он всех любит, и радостно всем работать, вдыхая кислородный запах взрезанного металла. Чему-то сокровенно улыбаясь, он пошел к выходу; шел он не таясь, по самой середине, одобрительно похмыкивая. Его нагнал парень с вагонеткой и заорал с озорством еще издали:

— Тудыт твою мать, старик! Опять мешаешь, шляешься.

— Не ори, — спокойно и веско ответил Василий Сергеевич. — Глотку-то поубавь. Молод еще, чтоб на хозяев орать.

И уверенно пошел дальше, а парень, не сумевший понять его слов, удивленно приоткрыв рот, долго смотрел ему вслед.

Авария водопровода

МАКСИМ КОРОТКИЙ

Горбатая профессия коромысл
И кумушки у колодца,
Разумеется,
Всякий теряют смысл,
Если — кран отвернул,
И вода
Сама в комнату льется;
Если это вошло в обиход,
И так, —
Что не замечаем
Ни того,
Что имеется водопровод,
Ни того,
Что от него получаем,
Что он удивляет —
Сородич игре —
Сосанью воды
Из стакана соломкой, —
Являющий нам
Ежедневный пример
Водоснабженья
Без остановки...
Зато
Нынче утром,
Часов, этак, в шесть,
В разрез с привычными
Планами,
Его металлическая честь
Была ощущаема заново.
Как следствие,
Семьдесят семь квартир,
Еще неумытых
И сонных,
Глядели на голубеющий мир
Берлогами Усть-Сысоля.
В шумихе потерян был
Всякий просвет,
Умы волновала
Судьба магистрали.
С трудом вырабатывается рецепт:
— Немедленно за мастерами!
Пока суетился
В аврале домком,
Соглашаясь с наличием факта,
Уже нарочный блеснул козырьком,
Как парусом уходящая яхта.
Уже понеслось,
Обогнав посланца,

Быстрее любых мгновений,
Телефонного бубенца
Серебряное биение.
А день осекался,
И в область идей
Жилье отошло без остатка:
— Придется дожидаться
Ближайших дождей,
И —
Вопче —
Атмосферных осадков...
А возле упадочный слышался гуд
По тезисам:
До и после...
— Мастер!
— Явился!
Улыбок салют
Отдан ему, как гостю.
Одет в инструменты, —
В прохладную сталь
Лекарь снабженческих кризисов.
Берется за дело
Комхозский Паскаль,
Не бравший отроду физики.
Сперва у него не подходят ключи.
Упорствуют ржавые гайки,
Но волю мозолей
Туда заключив,
Он добивается спайки.
Зато, как психолог воды,
Он мог
Отрекомендоваться заранее:
Труба, как утопленник —
Выдох и вдох —
Выравнивает дыхание.
Как с отогретого льда,
Чуть-чуть,
Предвкушая будущий ливень,
Закапала крохотная вода,
Загудела в трубе
И хлынула.
И ему, как артисту,
На потолке
Букеты рассыпались радуг,
И день за починкой
Пошел налегке —
На стройку и замыслы падох!

Взморье

АРКАДИЙ ШТЕЙНБЕРГ

— Наглядный мир! Ты каждую щепотью
Соперничал с одушевленной плотью.
Но помни, что незыблемей всего
Вот это двойственное божество,
Зовущееся морем. За пригорком
Оно грустит в своем покое горьком—
— Кто б мог его от жизни развязать?..
Оно лежит внушительно и шатко,
Большое... старое... Ни дать, ни
взять —
Забятая футбольная площадка!

— Вот скопище первоначальных крох,
Правдоподобных, как сухой горох.
Здесь прозябает, кожные покровы,
Как брачные одежды, разметав,
Материи отчетливый состав,
Земной пупок, набухший и багровый.
— Вот, поглядите — явные следы
Слоистого строения слюды,
А вот естественные водоемы
Лежат как обнаженные приемы.
Я вижу взморье. Кинутый баркас
Как лошадиный труп; его каркас
Усеян ребрами. Немного дальше,
Исполненная драгоценной фальши,
Раздетая, как демон, догола,
Уставилась увечная скала.
Там женщина с базальтовым затылком,
Вся в сумерках, стоит над рубежом,
И голени, подобные бутылкам,
В которых отпускается боржом,
Гудят от холода, и злые веки
От холода расширены навеки.

Она стоит, привольный истукан,
Вкушая снедь на соляной твердыне.
Пред нею лопается, как стакан,

Седое море, полное гордыни.
Пред ней висит, как признак бытия,
Мятежный край полуночной зарницы,
И влажное дыханье затая,
Летают рыбы, как снопы пшеницы.

То уходя на золотое дно,
То приближаясь к водяному своду,
Летает неисчетное зерно,
Закутанное в мраморную воду.
Летает сельдь, белуга и судак —
Последыши Хвалынских побережий,
И маленькая лодка «Рудзутак»
Спешит за ними, подбирая мрежи.

Я вижу хижину... Темным-темно!
Уже созвездия, как домино,
Приучены к игорному порядку.
Я вижу хижину — сухую прядку
Ее волос, глубокое окно,
Очерченное фонарем. Я вижу
Расплюснутую световую жижу
От фонаря, подвешенную снасть,
Кривую дверь, готовую проклясть
Вошедшего, условное окружье
Забора, желтого от седины,
Да ворох весел, бдящих у стены,
Как таитяньское оружие.

Но где же Бороздители морей?
Где сыновья и внуки рыбарей?
Где силачи в брезентовых одеждах?
Плывут они в слабеющих волнах,
Иль, может быть, на чистых простынях
Лежат в растяжку с лептами на веждах?

Нет! Нет! Я вижу в темноте двоих,
Смолящих запрокинутое днище.
Они поют, среди трудов своих,

Как пел тогда генисаретский нищий.
 Приятные мужские голоса
 Зовут луну — и словно розга, вскоре,
 Небесноголубая полоса
 Пересекла загадочное море.
 Рыбак, по возрасту еще школяр,
 Глядит на нежный перпендикуляр;
 Он перелистывает как решебник
 Волну... волну... Ответа нет, как нет!
 Лишь на волнах играет беглый свет—
 То забавляется луна-волшебник.

И юноша, мечтательный простак,
 Готов бежать за уходящим валом.
 Но вот уже к чернозеленым скалам
 Причаливает лодка «Рудзутак».
 И, выжимая воду сапогами,
 Идут кормильцы на глухой песок.
 Они во мраке кажутся богами,
 Создавшими и Запад и Восток

А там вверху, у стертого порога,
 Здоровый пес коричневых мастей

Разлегся, как индейская пирога,
 Глаза закрыл и молча ждет гостей.
 На очаге, средь кухонного скарба,
 Синее чад — хозяйка жарит карпа.
 Он повернулся на бок... ах, злодей!
 И лысый Ленин, с календарной датой,
 Прищуривает глаз, как завсегда,
 Как старый друг трудящихся людей.

Закрыв глаза, я вижу каждый атом,
 Я вижу бешеное Вещество.
 Мне море кажется денатуратом,
 А эти люди пламенем его.
 Девятый вал, на берег набегая,
 Идет назад, за ним волна другая.
 Всему конец — прогулке... темноте...
 Земля не та и небеса не те.
 Я ж снова мальчик с карими глазами,
 Играю лодками и парусами,
 Играю кубиками и судьбой,
 Летучей рифмой и самим собой!

Героические новеллы

А. ВОРОНСКИЙ

І. ИЗ СТАРЫХ ПИСЕМ

Удора, 11 февраля 1908 г.

Дорогой друг! Письмо мое передаст тебе товарищ Моисей. Человек он очень нам преданный, но застенчивый. Не забудь предложить ему чаю, хлеба, масла. От всего этого он вероятно откажется и будет тебя уверять, что «сыт по горло». Ты однако ему не верь, а разложи лучше свои съестные припасы: если он станет облизывать свои сухие и синие губы, причмокивать, сопеть, а глаза у него разгорятся адовым пламенем, или как у черной пантеры, наливай ему смело чаю, придвигай бутерброды, только не гляди на него, — притворись, что ты занят чем-нибудь, например, чтением моего письма. Очень застенчив, но и прожорлив, вернее застенчив от прожорливости. А впрочем, заслуживает полнейшего доверия.

Теперь о себе.

Скажу кратко: пришлось многое увидеть. В тюрьме под следствием просидел я восемь месяцев. Ничего веселого. Нужных книг, в особенности и в частности по любимой астрономии, достать не удалось, читал старые журналы, графа Салиаса и Лажечникова. Некоторое разнообразие вносила война с начальством. На второй день заключения от меня потребовали, чтобы я вставал при проверке «во фронт» и гаркал дежурному помощнику: — Здравия желаю, ваше благородие. — От таких приветствий же вставать с нелегким сердцем подчинился, но и тут получилось недоразумение:

«во фронт» я встал утром в одних кальсонах. «Благородие» с рыжими усищами потащило меня в карцер, где мне очень не понравилось: было там темно, спал на голом полу, а питался, подобно анахорету, водой и черствым хлебом. Происходили и другие стычки, более мелкие, но о них рассказывать не стоит. Позор палачам!

В феврале отправили в ссылку на три года в Вологодскую губернию. До Вологды я ехал даже весело, потому что встретился с очень славными товарищами. В Вологде произошли осложнения. Жандармы до того обнаглели, что вызывают к себе в управление почти всех политических ссыльных по очереди, предлагают стать осведомителями, т.-е., попросту говоря, провокаторами. Вызвали и меня. Принял меня ротмистр, скуластый, со сдавленными висками, с тяжелым обточенным подбородком, будто булыжник на мостовой. Сперва он пожалел меня и моих родителей, выражал сожаления, потом объяснил, что я могу загладить свою вину перед начальством, получить освобождение, если сделаю «дущи доверчивой признания» и буду «помогать».

— Подумайте серьезно над моим предложением, — заключил готовый к услугам жандарм.

— Тут и думать нечего, — ответил я, нимало не смутившись. — Я согласен. Ротмистр обрадовался. — Вы, — говорит, — с первого взгляда понравились мне. — У вас, — говорит, — есть в лице эдакое... открытое... простое.

Тут я его несколько охладил.

— Не знаю, — прервал я его излишняя, — подойдут ли только мои условия? Меньше тысячи рублей за такую работу не возьму.

Голубой красавец даже опешил.

— То-есть как же это тысячу? У нас таких окладов даже министры не получают! Вы надо мной, милостивый государь, издеваетесь.

— Нисколько, — отвечивал я ему хладнокровно, — моя работа ничуть не хуже министерской. Очень танкая работа.

— Вон! — заорал жандарм. — Я вас в тюрьме сгною!

— Как хотите. Слово мое твердо. Подумайте над моим предложением.

Действительно, меня стали гноить в тюрьме. Товарищей по пересыльной камере давно отправили кого куда, а меня все держат и держат. Несколько раз я напоминал о себе, писал заявления — ни ответа, ни привета. Сажу неделю, другую, сажу третью. Новые партии прибывают, люди получают назначения, уходят, а меня маринуют. Тогда я решил о себе напомнить, сговорился с новоприбывшими, — среди них некоторые тоже застряли, — и устроили мы в одно утро такой дебош, что вчуже самим стало страшно. Был огромный грохот, били в стены, в двери досками от нар, чайниками, кружками, швабрами, табуретами, был свист, вопли, львиное рыкание, стенание, песнопения и концерты, от которых чадили и тухли горевшие еще с ночи лампы. Тюремное начальство вызвало пожарную команду. Вламывались в камеру с кишкой, поливали, точно мы горели. Мы долго не сдавались, и я забрался наверх печки, откуда тоже поливал царских опричников непотребными, скажу прямо, матерными словами. Меня тоже облили, стащили за ногу, хотя я и отбрыкивался и потрясал ногами. Позор палачам! В отместку и чтоб не поводно было тюремным сатрапам, я предложил устроить голый бунт, выражаясь иными словами, раздеться и пребывать в чем маменька родила. Предложение получило всеобщее одобрение, и мы на другой день при отправке отважно вышли в коридор в полном неглиже, блистая кожей и своими естественными доспехами. Надзиратели и солдаты впали в умопомра-

чительное состояние, спешно вызвали начальника тюрьмы. Заглавный цербер долго от изумления ничего не мог сказать, любясь нашим вполне райским видом, получив же дар слова, приказал одеться. На это от имени всех голых бунтарей я ответил, что не препояшем чресл своих, дондеже не отправят нас по назначению.

Мы стойко держались. Вызвали в контору, мы выходили голыми, нас возвращали обратно. Приходил проверять помощник, мы разгуливали по камерам, не утрачивая адамова от наружности. Мы ходили по коридору, сея соблазны. Мы жили жизнью дикарей, когда они не научились еще делать себе из листьев одежду. Тюрьма смеялась, хохотала, фривольничала, порядок то-и-дело нарушался, надзиратели и солдаты прикрывали ладошками себе рты, дабы скрыть смех. Ералаш возрастал. На второй день голого бунта вечером наш эдем посетил тюремный инспектор. Мы окружили его кольцом и при тусклом освещении были похожи на мрачных команчей, пленивших бледнолицего путешественника. Впереди всех стоял казакец Михаладзе, обросший волосами подобно горилле и с такими отличительными признаками, что нервный блюститель тюремных благопристойностей сначала протер глаза, после вспотел и дальше не решался на него глядеть.

— Я понимаю, — увещевал он нас, успокоясь, — вы можете быть недовольными, но при чем же тут это... это... так сказать... голое безрасудство?

— А при том, — ответил я инспектору, — звонко похлопывая себя по бедрам, чтобы согреться, в то время как мой сосед во всей прелести выставлял ему свой зад, — а при том, что нам легче помереть от воспаления легких, от тифа, от чахотки, чем терпеть дальше разные над нами издевательства. Требуем отправить нас по местам ссылки.

В скором времени нас разослали. Меня назначали в Яренск, к зырянам.

В Вятке, собираясь ехать на Котлас, я повстречался со ссыльной Зиной. Она показалась мне роскошной женщиной. До Сольвычегодска мы ехали смирно. Я поглядывал на ее темные локоны, на щеки, от которых шел эдакий мягкий и нежный жарок, — помогал носить вещи,

угощая чаем и бубликами, она показывала белые и сочные зубы. От Сольвычегодска, где, сказать кстати, до сих пор висит на соборной колокольне опальный вечевой колокол, будто псковский, дорога пошла трактом, мы поехали на подводах. Дни выпали теплые, полувесенние. От нечего делать мы часто перебрасывались снежками. Случилось, я слепил увесистый ком и угодил Зиночке прямо в лицо. Она на меня надулась. Меня даже оторопь взяла. Идем мы с ней сзади подвод, я прошу прощения, она закусила нижнюю губу, на меня не глядит, а мне еще больше хочется с ней помириться, изворачиваюсь и так и эдак, между прочим взял да и ляпнул: — Я, мол, Зиночка, готов хотя бы руку вам поцеловать, чтобы вы не сердились. — Она холодно мне отвечает: — Ваше дело, возьмите и поцелуйте. — И взял ее руку и поцеловал. А она на меня не глядит и даже еще более сердитой сделалась. Я взял и поцеловал ей руку еще один раз, а может быть, и дважды. А она опять же на меня не глядит и даже еще более сердитой сделалась, голову совсем от меня воротит в сторону. Прошли мы еще несколько шагов в полном молчании, она и молвила: — Вы, — говорит, — должно быть, пентюх и никогда не целовали руки у женщины. Разве так целуют? Кто это научил вас прикладываться, точно к мощам?... ха... ха... ха...! — Тут я обиделся и ответил, что могу и по-другому. Она молчит и на меня не глядит. Вечером я попробовал по-другому, попробовал и на другой день, а тут еще ночи бездонные, млечный путь стелется серебряными туманами, стоят таежные неувядаемые леса, а сверху лесные мохнатые звезды, а позади угрюмые тюремные сны, вялые, безнадежные рассветы, точно пойманые вместе с тобой в неволю. И вот — все это пока отодвинулось. Надолго ли? Обругай меня, мой друг, за лирику.

Привело все это к тому, что в Яренске я предложил Зиночке поселиться вместе, на что и получил согласие, правда с некоторыми препирательствами, при чем она назвала меня почему-то глупым. Дело однако не обошлось без происшествий, но для порядка я расскажу тебе кратко о Яренске. Благословенный сей

град еле-еле насчитывает восемьсот жителей, окружен лесами, болотами и туманами. Имеет три улицы, жирно унавоженную площадь, одряхлевшую церковь, деревянные мостки и конечно полицейское правление с кутузкой. За последнее время в Яренск согнали около шестисот ссыльных. Живут они и в самом городишке, но больше по деревням. Я тоже поселился с Зиной в деревне Ландышево у старика кузнеца Тимохина. Тимохину исполнилось семьдесят три года, что отнюдь не мешало ему быть пьяным три-четыре раза в неделю. Когда он напивается, то заламывает ухарски шапку на затылок, хитро подмигивая, говорит: — Нужно пойти к девчонкам, — и действительно, идет пить чай к одной девчонке, своей племяннице. Этой девчонке ни много, ни мало лет шестьдесят пять. Ребята постоянно дразнят Тимохина этой девчонкой, и в трезвом виде он очень на них ругается. Иногда впрочем Тимохин к девчонкам не идет, а забирается на крышу и с крыши, потрясая кулаками, седыми лохмами и штанами с мотней, обличает прохожих и соседей в грехах, в проступках, в неправде, в жестокости, в себляубии, в обмане, произносит вдохновенные проповеди и умнейшие поучения. Удивительно, что до сих пор он ни разу не сорвался и не разбился насмерть!..

Жилось нам у него за всем тем сносно, он даже нами гордился, поил темных хлебным пивом домашнего изготовления. Происшествие же было такое. Когда мы сходились, Зиночка призналась, что с одной из партий должен прибыть ее жених, эсер, студент Андреев. Скоро он, и вправду, приехал и имел свидание и разговор с Зиной. Зина пришла от него в слезах. Несколько дней спустя Андреев прислал записку, в ней он называл меня совратителем неопытных девиц, требовал удовлетворения, т.-е. вызывал на дуэль. На такую буржуазно-помещичью пошлость я ответил разумеется отказом. Тогда он в нетрезвом виде при встрече в лесу затеял дрянную ссору, кричал, что желает драться со мной на пистолетах (интересно, где бы их достали), назвал меня трусом и кинулся с кулаками. Произошла свалка, он попортил мне нос, я в свою очередь разодрал ему пиджак,

изуродовал верхнюю губу. Дело разбиралось колонией, Андреева осудили, но от всего этого и срамно и стыдно.

Позже жизнь наладилась. Подобрался свой кружок социал-демократов, большевиков. Был у нас Миша Лашевич из Одессы, вспыльчивый, но отходчивый веселчак и добрый приятель со смородиновыми глазами и с добродушным носом нашлепкой, был Вадим Подбельский из Тамбова, сын известного народовольца, спорщик и рассказчик, был Ровнер Аким из Николаева, матерой рабочий и умница, Костя Толмачев, костромич из боевиков, Ваня Фиолетов из Баку, вдумчивый и рассудительный товарищ, был застенчивый, похожий на красную девушку гимназист Кедрин, была милая учительница Маруся Савченко, Соня из Мелитополя, которую прозвали «Симбомбоном», было еще немало приятелей и друзей, подруг и девушек. Помяни их всех добрым словом!.. По вечерам мы уходили в леса, жгли над рекой оранжевые костры из елок, можжевельника и сосен, пели песни, от них хотелось сделать что-нибудь богатyrское или обнимать при всех Зиночку (позор, позор), или сидеть в раздумье и глядеть молча на огонь, или шутить и смеяться до упаду. (Ругай за лирику!) Запевалой выступал Миша Лашевич, потому что у него был звонкий и высокий тенор; был он также первым плясать и устраивать дружеские вечеринки. Тоже и выпивали, случалось, спорили о течениях и направлениях, прыгали через костер, купались в речке, волочились за девушками, читали зарубежные органы, и до самого утра гам и веселье смешивались с пахучим дымом. Он вился над нами сизый, с искрами, легко и свободно.

Осмотревшись и опочив на лоне семейного счастья, я выписал несколько книг и стал вникать в астрономию. Друг мой, до самозабвения люблю эту науку. Ничто так не возбуждает фантазии, не расширяет умственных границ, не приближает к космосу! Какую чудесную и, может быть, даже трагическую поэзию открывают эти черные бездны, где от века гаснут и возникают миры! Убежден, что при социализме все будет увлекаться астрономией и космогонией!...

В недолгом времени меня однако постигли новые невзгоды. За речонкой Кижмолой и селцом Борки, в лесу, у нас часто происходили массовки, читались доклады, спорили до полного обладения и беспамятства. Собирались тут большевики, меньшевики, анархисты, синдикалисты, эсеры, максималисты, бундовцы, дашнаки и т. д. Полиция сперва прикидывалась, будто ничего не знает о наших сборищах, пока не приехал новый исправник. С его приездом наши собрания стали обкладывать стражниками и нас ловить. В ответ мы расставляли патрулей, сигнальщиков, но полиция, должно быть, располагала среди нас провокаторами: не успеем, бывало, собраться, а стражники тут как тут. Спасаясь однажды от ихнего налета, я не рассчитал и подался в сторону лесной топи. Полицейская свора прижала меня вплотную к болоту. Я храбро углубился в самую топь, скакал с одной кочки на другую, но оступился, завяз по пояс в грязи. Стражники тут-то и накрыли меня. Они гарцовали на конях, а я отсиживался в гнусном месте, одолаваемый комарами.

— Сдавайся! — орали они с берега.

— Не сдамся! — кричал я им, бахтаясь и погружаясь все глубже в грязь.

— Не сдамся, опричники, — продолжал я, прибавляя некоторые красные слова, от которых лошади вздрагивали и испуганно прыдали ушами.

— А пожалуй, он, чего доброго, и потонет, — заявил философически один из стражников.

— И потону, — решительно подтверждал я пророчество курносого воителя, чувствуя однако, что достал твердого дна. — А вы будете в ответе за мою мрачную гибель.

Тогда двое стражников по приказу надзирателя разделись и вытащили меня из грязи, и, вытаскивая, один из них, якобы невзначай и незаметно, смазал меня в бок раза два кулачищем. Позор палачам! Вели меня по улицам города всего в тине, словно Берендея. Зрелище было назидательное, но не утешительное. Зиночка, увидев меня из окна, даже заплакала, но я ей крикнул, чтобы она не беспокоилась, так как бывает хуже. Посадили меня в кутузку, а затем

по срочному распоряжению губернатора перевели на полтора месяца в тюрьму. Должен тебе доложить, что сидеть летом в поганой уездной тюрьме за восемьсот верст от Вологды куда как не весело. Однако и здесь не обошлось без осложнений. В тюрьме подвернулся хороший дядька, и он когда за четвертак, когда за полтинник водил меня в баню, по дороге же мы заходили к Зиночке, иногда на час, иногда и на два. Исправник об этом пронюхал, дядьку выгнали со службы, меня же отправили в Вологду, где я и отсидел последние три недели.

Выпустили меня дня за два до отхода очередного парохода. На вольной волохите меня осенило вдохновение, и я вместо того, чтобы отправиться в Яренск, уселся в поезд. Поезд благополучно дотащил меня до Москвы. Зиночке я написал письмо в том смысле, что мы скоро увидимся в столице и я спасу ее из мест отдаленных. Спасти ее не удалось. В Москве сразу не повезло. Некоторых друзей я не нашел, другие меня сторонились. На одной из ночевок произошел случай, т.-е., по просту говоря, не успел я раздеться и лечь, как к хозяину, рабочему-ткачу, ввалились гости в шпорах, в усищах, в голубых мундирах. Из них больше всего запомнился наган с черным дулом, направленный на меня огромным жандармищем. У ткача произвели обыск, а я попался ни за что ни про что, так себе, здорово живешь. Я вполне логично доказывал, будто произошла явная и печальная ошибка, вспомнул даже какую-то тетеньку, к которой я приехал из глухой провинции, назвал ее фамилию и где она живет. На вопрос, почему я захожусь у ткача, разумно и обстоятельно объяснил, что снял у него угол, но не успел отметить в участке. Все это я повторил и следовательно, будучи заключен в тюрьму (опять тюрьма, как тебе все это нравится?!). Следователь спустя несколько дней после моих объяснений снова меня вызвал и, вызвав, в приподнятом настроении сказал:

— Много людей прошло через мои руки, но такого наглого и беспардонного лганья я давно не слышал. Никакая ваша тетенька в Москве не жила, и даже очень непонятно, на что

вы рассчитывали, сочиня заведомые басни.

Я и сам почувствовал, что заврался, и в припадке искреннего раскаяния открыл чиновнику жгучую тайну, кто я есть таков. Выслушав исповедь горячего сердца и уличив меня в некоторых второстепенных отклонениях от правды, следовательно вновь свергнул меня в тюремное узилище, заявив на прощание: — Хорош гусь! — на что я ответил ему примирительно и разъяснительно: — Бывают гуси и похуже. — В прославленных Бутырьках я отсидел затем пять недель, после чего этапным порядком меня погнали в Вологду, а из Вологды в Яренск. Когда я под'езжал к Яренску, сердце мое трепетало и жаждало заключить в неистовые объятия Зиночку, но, увы, мои надежды потерпели решительное крушение. Не выпуская из тюрьмы, исправник объявил, что по постановлению губернского правления мне надлежит прекратить свои странствия лишь в Удоре, месте печальном и несравненно более северном, чем сам Яренск. Зиночку я видел и обнимал лишь через решетку. Душа моя рвалась к ней, и я даже вдарил несколько раз с силой коленкой в деревянную перегородку, но она, проклятая, не подалась. Между остальным Зина сообщила, что я буду отцом семейства. От растерянности я ей сказал:

— Не может быть!

— Почему же не может быть, — ответила она, обидевшись. — Очень даже может быть.

Я больше ей не перечил, вспомнив кое-что, от чего действительное многое бывает. Меня отправили в Удору. Зина осталась сперва в Яренске: перевод ее ко мне требовал времени, да и не терял я еще надежды увидеться с ней в ином, более просвещенном и благодатном месте, чем тундра. Жизнь пришлась в избе, которая отапливалась по-черному. Из ссыльных я был пока один. Моим начальником являлся стражник, осипший от пьянства. Зыряне сначала меня боялись, а детишки при встречах удирали. Кормовые деньги выссылались неисправно, и часто я еле-еле сводил концы с концами. Больше половины населения больны сифилисом, к чему люди относились с жутким равнодушием. Нравы про-

сты и непритязательны. Садись ты например для естественной надобности в уединенном месте, вдруг шаги, — хозяйка. Женщина лет тридцати, нисколько не смущаясь, разделяет с тобой компанию и, облегчаясь, заводит мирную житейскую беседу. Так и сидим мы рядышком, ведем неторопливый разговор, созерцая небеса и лесное приволье. Ко всему однако привыкаешь.

Зина отправила мне книги, в том числе и по астрономии, но они затерялись где-то в дороге. Я серел от скуки, но еще больше от тоски. Меня угнетало, друг мой, эта нищая зырянская жизнь, жалкое крехоборчество в глухомани, в болезнях, в грязи, пришибленность, эти немые, покорные глаза, как у домашних животных, привыкших лишь к подъяремному труду, тупое смирение и беспросветность. Здесь я увидел, может быть, впервые, что миллионы людей, затерянных в наших необозримых глухих просторах, живут, движимые только одной потребностью добыть кусок хлеба, что все остальное в них прибито, придавлено. Какая убогая, страшная жизнь!

— Край родной долготерпенья, край ты русского народа!..

... Я не выдержал и, едва установился санный путь, совершил побег, выбрав время, когда мой стражник запил запоем. До Яренска довез меня один добрый зырянин, которому нужно было в городе кое-что продать и купить. Помяни его добрым словом! В Яренске я не совсем острожно остановился у Зиночки. К моему приезду она заметно пополнила, и я с некоторым странным чувством смотрел на ее живот, не зная — радоваться мне или печалиться; в то же время я испытывал и жалость и нежность. Неужели это и есть отцовский инстинкт?

Незадолго до побега Зиночка получила кой-какие деньги от родных, — я уговорил ее бежать. Мы бежали, но неудачно. О бегстве рано узнал исправник, снарядил за нами погоню. Нас настигли, когда мы под'езжали уже к Котласу, на виду железной дороги. Можешь представить себе наше состояние! Ночь была лунная, и луна кралась за нами, освещая предательски со всех сторон. Она-то и выдала. Когда нас поймали, Зиночка от досады и горя даже

заплакала, а я бормотал ей в утешение, что бывает хуже. Урядник и стражник нам как бы даже сочувствовали, но, сочувствуя, сволокли все же к исправнику в Яренск. Я предстал пред его светлые и ясные очи. Он в бессилье даже не мог ругаться, а только развел руками.

— Прямо не знаю, что с вами делать? Неужто не можете угомониться?

— Не могу, — сознался я вполне истосердечно. — Не могу, потому что мне ваша Удора сильно не нравится.

— Предписание губернатора, — ответил блюститель и отправил меня снова к месту назначения.

Ехал я «домой» с колокольцами и бубенцами, окруженный почетным эскортом в пять человек.

Итак опять я на Удоре. Положительный результат: Зиночка со мной, и мы с ней повенчались. Результат отрицательный: из Яренска сообщают друзья, будто исправник грозил упрятать меня еще подальше, не то в Тобольскую губернию, не то в Якутскую область с прибавлением срока ссылки. Позор палачам!

Недели две спустя после моего вынужденного прибытия сюда был доставлен Миша Лашевич. Из окна моей хатенки мы с Зиной иногда видим, как он, сдвинув темные брови и сморщив нос, с ожесточением вправляет ноги в лыжи, подбитые оленьей кожей, кидая кругом гневные взгляды. К стати об этих гневных взглядах. Он нередко награждает ими и своих товарищей. И ругаться он умеет. Но тут на Удоре мы вполне убедились с Зиночкой, что для своих это у него «так себе»: наш Мишенька таит в своей груди много человеческого и сердечного и, когда «кроет», больше кажется сердчат на самого себя за свою «слабость». Бывает также необычайно слушать в нашем угле, когда он поет или насвистывает «Сомнения» Глинки: — Уймись, волнения страсти... Да, да... уймись, уймись, чорт вас возьми!

... Вот, дорогой мой друг, внешнее жизнеописание случившегося со мной за последние полтора года, как мы с тобой расстались. Пришлось многое увидеть и испытать. Моисей, который отдаст тебе это письмо, свой срок в Яренске отбыл. Перед его от'ездом мне удалось пере-

править ему для тебя эту, надеюсь тобой полученную, zelo широкую эпистолию. Помоги ему устроиться. Человек он непритязательный. Теперь моя и Миши Лашевича просьба. Нам нужно тридцать, тридцать пять рублей. С получением одежных денег этого нам хватит на побег. Я придумал один способ, удастся наверняка. Правда, Зиночке скоро родить, но, может быть, сумеем бежать до родов, а если не успеем, подождем, пока немного окрепнет наследник, этак недель до шести. Хочу наследника: поднимется мститель суровый и будет он нас посильней! Зиночка шлет тебе горячий привет и говорит, что ты ей,

судя по моим рассказам, очень мил. Не унывай, старина! Ты еще пользуешься успехом даже на расстоянии. Миша только-что «обложил» тебя: — Вот, говорит, подлецы: живут себе в столицах, есть еще такие, а впрочем передай ему скромный и горячий привет!

Давай твою руку!

Твой Виктор.

Р. S. Пока-что вышли «Антидюринг» Энгельса. Нужен до зарезу. За книги по астрономии был бы также очень тебе признателен. Люблю астрономию больше всех наук.

II. БОМБЫ

Лес нерушимо хранил их тайну: они делали бомбы — Наташа и Анарх. Наташе исполнилось семнадцать лет, Анарх был на три года старше ее. У Наташи волосы рассыпались темными охапками, и ни гребенки, ни шпильки не могли с ними справиться. У Анарха волосы никак не рассыпались, а торчали коротким ежиком. К тому же он голову часто стриг, и тогда только отдельные, редкие кусты, второпях и по небрежности оставленные парикмахером, напоминали, что и Анарх не лишен растительности. Цвет этой растительности был неважный: не то русый, не то грязновато-сомоменный. Наташа смотрела на мир преданными, любознательными глазами, и даже когда Анарх обличал вселенную в подвохах и несправедливости, Наташа ткетно старалась потушить блеск своего взгляда и придать ему хотя бы самую малую скорбность. Во взгляде Анарха таились угрюмость и неприятие мира. Свойства эти скрывались молодостью, худо скрываемой добротой, но в самом же деле Анарх смотрел исподлобья, хмурил брови и шипал их, как бы даже с ожесточением. Брови эти, белесые, возникнув на почтительном расстоянии от переносицы, скромно пропадали, не возбуждая внимания. Брови Наташи, точно распиленные углем, уверенно бежали к ушам, да, да, к ушам, заставляя не одного молодца думать: — ну и девка! Лицо На-

таши цвело тончайшим и благородным румянцем. Лицо Анарха никак не цвело. Оно отдавало бледностью и желтоватыми пятнами. Нос Наташи утверждал себя в прямых, тонких и мягких линиях, нос Анарха расплывался и кончался нашлепкой, правда добродушной. Наташа говорила звучно, часто смеялась, пела песни. Анарх говорил мало, говорил хрипло, а подтягивая в хору, путал себя и других и радости никому не приносил. Грудь Анарх имел скорее впалую, в то время как Наташа продолжала пересаживать пуговицы на лифчиках, делая это в скрытности. Анарх дышал больше животом, он и к пятидесяти годам вполне благополучной жизни не обещал весомости. Наташа дышала той самой грудью, для которой пересаживались пуговицы и спешно кроились новые лифчики, живот ее незначительно, но твердо округлялся. Анарх любил теорию, любил философию и психологию, тратил на книги последние заветные полтинники. Наташу философия не соблазняла, заветные полтинники она тратила на молоко, яйца, крупу и прочую докучную и презренную мелочь, дабы Анарх от рассеянности и углубленного восприятия космоса не оборвался до нитки и не помер бы с голоду. Жилось им все же нелегко, и нередко Наташа, глядя на Шопенгауэра, на Маркса и на Канта, вздыхала и про себя жалела, что их бесполезно поджаривать на сковороде,

тушить и сдабривать приправой, в чем она однако никогда и ни за что не призналась бы непреклонному Анарху. Такие преступные и необыкновенные мысли посещали Наташу в моменты малодушия, когда исправником долго не выдавались кормовые и одежные деньги. Забыл с самого начала упомянуть, что и Анарх, и Наташа жили в ссылке. Повстречались они в пересыльной тюрьме, в тюрьме и возникла их дружба. Не случись этой встречи в доме заключения, никогда, разумеется, скромные и тяжкие на подъем граждане города Яренска не видели бы этих опасных и решительных заговорщиков, шествующих с таинственным видом по болотистым и кочковатым улицам, числом не больше трех.

Почему друга Наташи называли Анархом? Скажем для успокоения, — по недоразумению. Сам себя Анарх считал большевиком, но прислушивался к революционным синдикалистам впрочем довольно умеренно и осторожно. За это некоторое его пристрастие ему и навязали кличку Анарха, против нее он сперва с горечью возражал и даже грозил кой-кому суковатой дубиной, выломаной им в таёжных лесах края, но затем настолько смирился, что покорно даже отзывался.

Наташа считала себя социал-демократкой, не разбираясь в толках и направлениях; верила однако в террор, преклонялась перед Марией Спиридоновой и каждый раз про марксизм забывала, если какой-нибудь высокопревосходительство наглядно и на опыте доказывал бренность человеческого существования даже и на высоких постах и ту бесспорную истину, что людей подстерегают превратности и неожиданности. Не пренебрегала Наташа даже исправниками и урядниками, полагая, что чем их меньше, тем лучше. Наташа жила в городе, снимая угол за два рубля в месяц. Анарх выбрал себе комнату в деревне из пяти дворов, в полутора верстах от города. Деревенька хоронилась в лесу, уходившем в необъятность. Анарх предпочитал уединение и неторопливую тишину. Все же к обеду он все чаще и чаще отрывался от книг и начинал посматривать в окно, затянутое марлей от комаров. Предчувствие

оправдывалось: на мостках через речонку Кижмолу показывалась темнокудрая Наташа. В руке она держала обычно учебники и узелок. Пока она неуверенно ступала по шатким и узким доскам, держась за тонкие жердины перил, Анарх поспешно обдергивал косоворотку, приглаживал волосы, если они были, и даже заглядывал в зеркальце, считая этот свой поступок подлейшим мещанством и изменой основам. Он очень боялся, чтобы Наташа не увидела его перед зеркалом, старательно запрятывал его меж книгами, упрекая себя в ничтожествах и несколько воровски косясь на дверь.

В комнату входила Наташа. Анарх глупел. Будь Анарх поэтом, он сравнил бы приход Наташи с появлением непорочной утренней зари, но Анарх поэзию отрицал бесповоротно, находя занятие ею предосудительным и ослабляющим. Мы тоже с своей стороны на этом сравнении не настаиваем, потому что знатоки и критики утверждают, что оно старомодно и штамповано и будто к таким уподоблениям могут прибегать лишь люди неопытные и даже едва ли подающие какие-нибудь надежды. Пусть будет так: с критиками и знатоками мы уже давно не ратоборствуем и войн, ни малых, ни великих, не ведем. Ограничимся указанием, что Анарху при виде Наташи хотелось бессмысленно и дурацки улыбаться, но улыбку свою он беспощадно подавлял в себе, доводя лицо до выражения почти свирепого.

Анарх глупел. Наташа всегда несколько задерживалась на пороге, осматривала комнату мимолетным взглядом, останавливая его на Анархе. Анарх никогда не мог долго выносить этот взгляд: глаза его в это время блуждали, он кашлял громче обычного, либо прибирал тетради на столе.

Развязывая узелок, Наташа говорила:

— Я принесла вам сегодня котлеты с гречневой кашей. Вкусные.

Анарх, не удостоив узелок благодарности, небрежно отвечал: — Это неважно.

— Нужно пойти к Анне Михайловне разогреть их.

Анна Михайловна, однорукая старушка с темным лицом и платком, наведенным на глаза, очень приветливая и обходительная, была хозяйкой Анарха.

— Это неважно, — снова и на этот раз более громко заявлял Анарх. — Можете и холодными поест.

Больше всего Анарх не хотел выдать себя. Вчера он лег без ужина, утром пил жидкий чай с куском черствой шаньги. Анарх делал судорожное движение горлом и отворачивал нос, до которого доносился запах мяса, масла, поджаренной каши, лука и чеснока. Наташа обиженно и строптиво возражала: — Нет, вы уж лучше подождите. Котлеты и кашу надо разогреть.

— Я совсем не голоден, — твердокаменно заверял Анарх, впадая в еще большую мрачность не то оттого, что считал себя разоблаченным в тайных намерениях сестры сейчас же за стол, не то оттого, что приходилось ждать, не то от причин совместных.

Наташа уходила к хозяйке. Анарх шагал по комнате, неистово стуча каблуками, скрипя половицами, глубоко и часто затягиваясь табачным дешевым дымом.

Они обедали. Наташа садилась против Анарха, выбирала и подкладывала любимые куски, сама ела мало, и когда ела, держала мизинец правой руки на плече, глотки делала маленькими. Около ее тарелки каша не рассыпалась, не аялись ни корки, ни крошки. Анарх ел рассеянно, плохо прожевывая пищу, ничего не оставляя на тарелке (тоже по рассеянности?). Сперва он не обращал внимания, что скатерть на его столе украшалась жирными пятнами, обидками и огрызками и больше походила на поле сражения из «Руслана и Людмилы», но мало-по-малу Анарх поддавался воспитательному воздействию Наташи. Мизинец на отлете он конечно безоговорочно осуждал, как прямое и сомнительное наследство далеко не пролетарского прошлого Наташи, дочери инженера и даже словно бы дворянина. К сведению прибавим, что Анарх имел родословную более народную, был сыном дьячка, сиротой и бурсаком, уволенным из семинарии за бунт и дебош с членовредительством

воспитателей. Заполняя Анарх анкету в наше время, славы он, разумеется, не стяжал бы, но в то время преимущества его над Наташей были несомненны... Итак, мизинец он осуждал, но научился без трудов и усилий соблюдать во время обедов благопристойность, пожалуй, даже вполне сносную. После обеда Наташа и Анарх садились заниматься. Анарх учил, Наташа училась. Почему занятия происходили после обеда? Дело тут не обошлось без хитрости со стороны Наташи. Предобеденные уроки доставили ей немалые огорчения. Анарх отличался суровой требовательностью. Однажды он даже заявил Наташе, что она бестолкова и наивна и что в гимназии ее учили глупостям и пошлостям, так что Наташа дома у себя расплакалась в подушку и дня два не ходила к Анарху. В предобеденное время Анарх иногда держал себя прямо тираном: задавал самые трудные и каверзные вопросы, сбивал, ехидно улыбаясь, при неверных ответах не давал подумать, а разъяснял с таким видом, точно только и хотел скорей от Наташи отвязаться. Несколько раз занятия пришлось перенести на послеобеденные часы, и Наташа заметила, что Анарх куда спокойней и снисходительней. Тогда она объявила — заниматься она может только после обеда. Анарх смирился. Но и после котлет и каши, даже после изумительных киселей из малины и грибов в сметане Анарх оставался крутенок. Словом наступал час, когда Наташа глупела, а Анарх снисходительно и без затруднений обнаруживал свои над ней превосходства, знания и мудрость. Проходили они ж «Эрфуртскую программу» и «Капитал» в изложении Каутского, Ленина и Плеханова, Сорэля и Лабриолу. Наташа отвлеченности недолюбливала, но понимала, что нельзя же жить в ссылке, имея кой-какую искушенность в законе божьем, в Иловайском, в книксенах и в неважных упражнениях перед зеркалом с подругами. Веря в Анарха, Наташа делалась робкой, отвечала глядя на своего учителя просительно, почти жалобно. Анарх то сидел, положив руки локтями на стол и поддерживая ладонями голову, то вставал и ходил по комнате, то шурился, глядел в потолок,

слушая ответы Наташи. Когда она отвечала неправильно, он бурчал: — Какой кошмар! — Наташа вздрагивала и опускала голову. Разъяснял Анарх сбивчиво и торопливо и, зная этот свой недостаток, повторялся. Если Наташа угождала Анарху, он слегка качал головой сверху вниз, Наташа светлела, смотрела на Анарха с благодарностью. Бывало и так: Анарх увлекался и тогда говорил плавно, голос его терял глуховатость, лицо даже алело чуть-чуть, угловатые движения приобретали своеобразную тонкость и грацию, а помахивания рукой в такт речи делались положительно изящными. Наташа незаметно для себя подавалась к Анарху, глаза ее темнели и расширялись, она не сводила их с Анарха и, как дитя, мечтательно просила, когда он умолкал:

— Ну, расскажите еще что-нибудь!..

Анарх глядел на нее долго и непонятно, потом, словно очнувшись, деловито говорил:

— Приготовили вы урок о кризисах?

Да, Анарх вел себя всегда деловито.

После занятий и вечернего чая, часов в пять, Наташа и Анарх отправлялись в лес делать бомбы. Заранее успокою читателя: взрывать они пока никого не собирались, бомб у них готовых тоже не было, они лишь учились их делать. Неизвестно, кому в этом деле принадлежал почин, Наташе или Анарху, но можно с вероятностью предположить, что принадлежал он Анарху, как руководу и вождю Наташи, хотя, с другой стороны, и Наташа могла тут быть не беспричинна: не даром она увлекалась террором.

Они шли в лес делать бомбы. Анарх соблюдал все правила подпольного действия, несложные все-таки впрочем. Шагал он осторожно, оглядывался, нет ли поблизости стражника или урядника, случайно бредущего крестьянина либо ссыльного. Говорил Анарх мало, отрывисто, даже зловеще, иногда шопотом, вид имел таинственный, но таинственный умеренно, чтобы не навлечь излишних подозрений. Ему даже хотелось выглядеть беспечным, но важность дела, опасность предприятий, но склонность к подлинному постижению вселенной служили тому постоянной помехой. Наташа, если писать откровенно,

была склонна к некоторым легкомысленным поступкам. Хорошо например отойти в сторону, посмотреть, нет ли подберезовиков или белых грибов, ее притягивала к себе поздняя земляника, манили кусты смородины, волновала поспевающая потом малина; любила она и полянику, смотря по времени, в лесу всегда находилось что-нибудь привлекательное и сдобное. Но взирая на преданное ответственному делу, почти аскетическое лицо Анарха, она умеряла в себе житейские склонности. Кроме Спиридоновой, она желала походить на Анарха. Больше всего ее покоряли его глаза. Они действительно запоминались. Они прятали и не могли спрятать человеческую печаль, их окаймляли красноватые, отнюдь не безобразные круги, точно Анарх недавно плакал и недавно высохли слезы. Подделываясь под настроение Анарха, Наташа с опасением спрашивала:

— Ночью был дождь, вы не думаете, что «там» отсыреют сера и уголь?

«Там» произносилось Наташей с особым ударением и значением, лишь ей и Анарху ведомым. Анарх сдержанно успокаивал Наташу:

— Я предпринял меры, отсыреть не может.

Они сходили с тропы, углубляясь в лесную чащобу. Кусты можжевельника, молодая поросль, сухостой цеплялись за одежду. Анарх отважно продирался к заветному месту. Ветви хлестали им в лица, корявые сучки грозились содрать кожу, в валежник проваливались ноги. Наташа еле поспевала за Анархом. Ей мешали рассыпавшиеся волосы, платье, каблуки ботинок. Она завидовала сапогам Анарха, но мужественно сносила невзгоды. Анарх не помогал ей даже, когда приходилось преодолевать канавы; он убеждал себя, будто Наташе нужно «закаляться», не решаясь признаться, что стесняется подать ей руку: он очень боялся походить на кавалера. Лес стоял глухой, скрывая небо, нетронутый северный лес, верный хранитель дум и тайн Наташи и Анарха. Можно пожалеть, что к тем приснопамятным временам, как появились в лесу Наташа и Анарх, безвозвратно исчезли лешие, русалки и другая оклеветанная, по утверждению

одного современного поэта, нежить. Она, не сомневаюсь, помогла бы им, Наташе и Анарху, в их черной и разрушительной магии, так как опыты Анарха хотя и основывались на науке, но не лишены были и алхимии и некоторого чародейства. Уверен также, что русалки, лешие, лесные гномы и чертяки, наперекор аскету Анарху, сплели бы Наташе венки из лучших цветов, росших на полянах, устроили бы в честь ее буйственный хоровод, чтобы согнать с ее лица отчаянную решимость и обреченность. Во всяком случае, они обнаружили бы бóльшую снисходительность, чем Анарх. До какой слепоты не доводит одержимость! К чему однако делать невероятные и несомненные с современным знанием предположения, к чему даже невинные упоминания, если им место только в хрестоматиях, где собраны образцы прошлой дикости? Оставим, откажемся от них, попросив у читателя снисхождения не по заслугам своим, коих нет, а единственно в силу его, читателя, добросердечности и готовности все претерпеть до конца.

Наташа и Анарх добирались до заветного места. Место это находилось под двумя смолистыми спокойными соснами-соседями. Под одной сосной хитро прятались, заваленные сверху сухими листьями, ветками, иглами, учебники по химии, узкие и длинные полоски бумаги с химическими рецептами и формулами, под другой сосной покоились консервные коробки, пузырьки с мутной и подозрительной жидкостью, белье, черные порошки, тертый уголь, селитра, сера, фосфор, колбочки, стеклянные и медные трубки. Содержалось все это в деревянных ящиках, вкопанных в землю. Наташа и Анарх извлекали содержимое из ящиков. Невежество и незнание химии не позволяло мне с уверенностью описать и оценить те упорные опыты, которые производились Анархом. Из позднейших признаний Наташи следует, что шагах в двадцати от заветного места разводился чуть приметный костер; именно на этом костре делались знаменитые и опасные опыты. Во время этих опытов Анарх превращал Наташу в простую прислужницу. Наташа подавала ему колбочки, реторты, порошки, жидкости, поддер-

живала огонь, справлялась в учебниках, в записках, и далеко не всегда посвящал ее Анарх в свои изощренные и разнообразные изыскания. Искал же он простейшие и еще неизвестные соединения элементов, чтобы бомбы можно было делать походя всякому, кому только не лень. Иногда между Наташей и Анархом возникали распри: Наташа предпочитала героический террор, Анарх, более марксистски воспитанный, думал о прямых действиях (дань синдикализму), о всеобщих стачках, о баррикадных боях, о восстаниях. Сотни тысяч и миллионы рабочих будут самовооружаться метательными снарядами, изготовленными женами, детьми не в лабораториях и на фабриках, а на самой обыкновенной плите в кухне. В распрях Анарх неизменно брал над Наташей верх.

— Вы — индивидуалистка, — поучал он Наташу, нагревая синюю вонючую жидкость, глядя на трубку пристально и несколько опасаясь, не взорвется ли она от неизвестных причин. — Вы — романтик, а революции нужны предвидения, массовые выступления. Отодвиньтесь.

— Я не против массовых выступлений, — оправдывалась Наташа, несколько не отодвигаясь от опасной трубки, — но я люблю Гершуни, Каляева, Перовскую, Желябова...

— Личное пристрастие, — отрезал Анарх. — Прошу вас, отодвиньтесь!

Наташа со страхом следила за синей жидкостью. Боялась она не за себя, а за Анарха. — Какой он отважный! Он похож на Кибальчича. Неужели взорвется эта гадость? Что будет тогда с Анархом? Наташа жмурила глаза. Сказать Анарху, чтобы он остерегался, она не решалась, зная, что с его стороны готов сокрушительный отпор, но при всяком случае старалась взять у Анарха трубку или колбочку и держать их самой над огнем, даже прибегала для этого к хитрости. Притворяясь ленгяйкой, она отказывалась ходить к соснам, подавать порошки и снадобья. Анарху приходилось это делать самому, и тогда он волей-неволей передавал трубки Наташе, и она держала их над огнем. Бесспорно, Анарх осуждал капризы Наташи, считая ее поведение отголос-

ком буржуазной среды, воспитания и навыков. Он делал ей внушения. Наташа вздыхала, но колбочек не выпускала из рук. Так работали они в тишине и небольших пререканиях. А кругом стоял лес, зрелый, июльский лес, в неистощимом зеленом убранстве и мягких сумраках.

Достигал ли Анарх положительных итогов, — судить не берусь. Работал он старательно, и к окончанию опытов руки его были изъедены кислотами, покрыты пятнами разных цветов и оттенков. Приходилось к тому же отгонять комаров, и пятна забирались на лицо, шею, искажая Анарха до неузнаваемости. Наташа непрочь была иногда рассмеяться, созерцая украшения на лице Анарха, родившие его с представителями всех рас и народностей, но она ограничивалась лишь тем, что кусала губы, отворачивалась в сторону, либо глядела вверх, следя за легкой белкой. Сама Наташа более удачно, чем Анарх, избегала химических украшений, но и она нередко носила на своих пальцах следы опытов и трудов своего друга.

К вечеру, предвительно вымывшись с мылом в реке Кижмоле, Наташа и Анарх возвращались из леса. Анарх провожал Наташу до города, покидая ее у слободки и подавая руку лодочкой. Делал он это по двум соображениям: он конспирировал и хотел «закалить» Наташу; имелась еще одна причина: Анарх не любил попадаться вместе с Наташей на глаза сосельным, — они могли честь его за ловеласа, могли даже бросить какую-нибудь двусмысленную шуточку. Этого Анарх терпеть не мог.

На четвертый месяц встреч, занятий, совместных опытов, в жизнь Наташи и Анарха вмешался случай, отец многих неожиданных происшествий, случай маловажный, но, как это часто бывает, он-то именно и привел к стремительным осложнениям.

У однорукой хозяйки Анарха Анны Михайловны рос бычок, черный, со светлой звездочкой на лбу. Бычка чаще всего хозяйка держала на привязи прямо перед домом на травянистой лужайке. Однажды Анарх в предобеденное время, поджидая Наташу и выглядывая в открытое окно, увидел ее около

дома вместе с Анной Михайловной. Хозяйка держала бычка на веревке, стараясь перетащить его на лужайку и там привязать его за кол. Бычок то упирался, то, задирая хвост, нагнув голову и подкидывая кверху задние ноги, бросался в стороны, Анна Михайловна еле справлялась с бычком. Иногда он с силой тащил ее за собой, и тогда хозяйка поругивала бычка:

— Подожди, подожди, оглашенный! Придет зима, ужо прирежу тебя, непутевый!

Бычок грозившей ему опасности не понимал и продолжал своевольничать, воочию показывая наличие телячьего восторга, который немногим уступает восторгу административному. Наташа с обычным узелком и пачкой учебников смотрела на бычка и на Анну Михайловну, влекомую упрямым животным. На Наташе было темнозеленое, слегка выцветшее платье, соломенная шляпа корзиночкой, загнута книзу широкими полями, с бархатной лентой.

— А почему, Анна Михайловна, — спросила с явным сожалением Наташа, — бычка нужно резать? Он у вас такой слазный, полненький.

Анна Михайловна в это мгновение взяла верх над бычком, и он покорно последовал за ней к колу. Наташа пошла следом.

— А что же делать-то с ним? — ответила с удивлением Анна Михайловна, — зачем буду я его кормить, если он не может давать молока? Прирезать только и остается.

— А отчего у него не будет молока?

Анна Михайловна даже остановилась, сделала левым плечом, где болтался пустой кусок кофты, движение, точно хотела взмахнуть на Наташу несуществующей рукой, засмеялась, сморщив и без того в частых сетках коричневое от загара лицо.

— Что это ты, девка, городишь? Одна умора! Отчего у быка не бывает молока?.. А оттого, отчего не бывает его и у мужика. Ты поди лучше спроси у своего ученого дружка, он тебе подскажет, обучит, греховодница ты эдакая. Поди, поди к нему, спроси!..

Наташа чуть не выронила узелок и учебники, быстро взглянула в окно. Ей

почудилось, что в окне мелькнула сатиновая косоворотка Анарха, мелькнула и исчезла. Наташа беспомощно осмотрелась по сторонам, не двигаясь с места и опустив руки. На ее счастье бычок снова натянул веревку и потащил за собой Анну Михайловну. Наташа вновь с отчаянием кинула взгляд на окно. Анарха не было видно. Пылая от стыда, опустив голову, еле передвигая ноги, Наташа пошла к крыльцу.

Анарх переживал волнения, отнюдь не меньшие. От разговора Наташи с Анной Михайловной он оторопел. Заметив взгляд Наташи, направленный в окно, он судорожно откинулся назад в угол. Лицо его покрылось синими пятнами, а красные обводки вокруг глаз сделались темными, как кровь. Он заломил руки над головой и зверски хрустнул пальцами. Был момент, он хотел сбежать и даже схватил фуражку с изломанным козырьком. Одумавшись, Анарх отшвырнул фуражку на кровать с тощим матрасом и застыл в ожидании.

Войдя в комнату, Наташа на этот раз у порога не задержалась и на Анарха даже и не взглянула. Она долго возилась со шляпой, развязывая у подбородка бархатку, лицо ее продолжало пылать, она отворачивалась от Анарха. Неестественно и глухо она сказала: — Сегодня молочная каша и пирожки с капустой и яйцами. Вкусные! — Анарх завозился на стуле.

«Неужели она в самом деле спросит меня про бычка? Что мне ответить ей?»

Этого не случилось. Сведения о бычке, полученные от Анны Михайловны, оказались Наташе исчерпывающими, о бычке не было и речи. Обед прошел однако в молчании и испытаниях. Анна Михайловна по своим домашним делам несколько раз появлялась под окном у крыльца, и Наташа и Анарх тогда одновременно думали: а вдруг она повторит свой совет или скажет в шутку что-нибудь про бычка? Наташа роняла ложку и вилку, ежила плечи и не поднимала глаз с тарелки. Анарх глотал огромные куски, нещадно разбрасывая по скатерти крошки. Анна Михайловна ничего им не сказала.

Занятия прошли вяло. Наташа отвечала хуже обычного, хотя успела успо-

коиться и решить, что Анарх ее разговора с хозяйкой не слышал. Анарх был невнимателен и даже не поправлял Наташу. После занятий он заявил, глядя на пол.

— Сегодня мы «туда» не пойдем. У меня болит голова.

Наташа участливо взгляделась в лицо Анарха.

— У вас действительно вид больного. Может быть, сходить в аптеку?

От порошков Анарх наотрез отказался. Наташа ушла в город одна.

На другой день Анарх опять отказался производить опыты с бомбами, вторично сослался на нездоровье, а на день третий между Наташей и Анархом произошло объяснение. Анарх вел себя точно человек, долго не решавшийся броситься в воду и вдруг неожиданно для себя бултыхнувшийся в нее с высокого берега и прямо с головой. Лицо Наташи все время менялось. Оно то бледнело, то покрывалось темным румянцем, то делалось застывшим, то выражало отчаяние. Наташа комкала платок и кусала его углы.

Анарх: — Я буду производить дальше опыты один.

Наташа: — Я не нужна вам больше, Анарх?

Анарх: — Дело опасное, я не могу подвергать вас риску.

Наташа: — Почему же вы раньше находили это возможным? Дело и тогда было не менее опасным.

Анарх после недолгого размышления:

— Нужен большой опыт. Вам следует еще заняться самообразованием, пополнить свои знания. Они у вас явно недостаточны.

Наташа, отвернувшись, падая духом и думая, что Анарх все же слышал ее разговор с хозяйкой под окном:

— Вы знаете больше меня, Анарх, но вы тоже очень молоды. Я хочу помогать вам.

Анарх, держа в памяти разговор с Анной Михайловной:

— Это невозможно, прекратим наш спор. Мое решение твердое.

Наташа ушла и даже отказалась, чтобы Анарх проводил ее до слободы. Анарх упрекал себя в жестокосердии и грубости. Нужно было обойтись с Наташей мягче. — Не мог же я однако

напомнить ей о бычке, а с другой стороны, как с ней делать бомбы, если она не знает самых обыденных вещей! В общем чорт знает что такое!..

На следующий день Наташа явилась к Анарху без шляпы, в ситцевом платке, повязанном по-деревенски. Она похудела, выглядела подавленно. На правой ее щеке засохло пятно. Очевидно, она плакала, растерла слёзы не совсем чистыми руками. Анарх этого пятна впрочем не заметил, он усиленно занимался «Первобытной культурой» Тэйлора, что-то записывал в тетрадь, шелестел желтыми страницами и щипал брови. Наташа неслышано поставила на стол тарелки с обедом, постояла, задумавшись над жарким, вплотную придвинулась к Анарху:

— Анарх, — сказала просительно Наташа, — примите меня помогать вам. Знаете, я даже остриглась, смотрите.

Она сорвала платок с головы, бросив его на кровать. Платок, не долетев до кровати, упал на пол. Анарх дико взглянул на Наташу. Она стояла пред ним без косы, шея ее была выстрижена и волосы на лбу лежали короткими кольцеобразными завитками.

Здесь необходимо сделать пояснительное отступление. Коса Наташи не раз давала Анарху повод к иронии, к обличению и к сарказму. Он находил, что коса — жалкий предрассудок, мещанство, атавизм, рудиментарный орган, остаток Домостроя. Во время размолвок, распрей и споров Наташиной косе приходилось совсем плохо. Вот тогда-то Анарх воистину не щадил ее, тем более, что уступавшая ему во многом Наташа, едва дело доходило до косы, обнаруживала непонятное упрямство и строптивость. Она отстаивала свою косу горячо, убежденно, пожалуй, даже красноречиво. Тут весь авторитет, все знания, мудрость и опытность Анарха ничего не значили. И верно. Коса заслуживала стойкой защиты. Никто в городе, никто из ссыльных не мог похвалиться такой косой, какой обладала Наташа. То была удивительная толстая душистая коса. Можно с уверенностью сказать, что за всю свою бурсацкую жизнь Анарх не видел подобной косы, косы ниже колен, девственной и дремучей. Гуляя в лесу, Наташа иногда рас-

пускала ее, и Анарх поражался буйству и щедрости волос. Свет меркнул в его глазах, и он видел одну лишь Наташину косу. Ему некуда было от нее податься. Коса ему снилась. Анарху хотелось перебирать ее руками, погрузить в нее лицо, вдыхать ее женственный животворный аромат, сплести и расплести ее. Коса сеяла разлад между революционным сознанием и чувствами, являлась наваждением и искушением. Вот это была какая коса!

Наташа стояла пред Анархом без косы. Анарх сразу заметил, что Наташа обеднела. Ее фигура сделалась точно меньше, плечи казались более острыми, лицо длиннее, а шея потеряла свой блеск. Наташа ждала, что скажет Анарх. Анарх имел все основания торжествовать или по крайней мере быть довольным. Домострой, мещанство посрамлены. Наташа покорила силу его доводов. Но Анарх... но Анарх был далек от торжества. Он захлопнул Тэйлора, забросил его на край стола, сделал какие-то лишние и ненужные движения руками, словно блуждал в потемках или кого-то искал ночью, виновно и с надрывом промолвил:

— Зачем вы отрезали косу?

Наташа с неописуемым изумлением посмотрела на Анарха. Она должна была сказать, что всего лишь несколько дней тому назад Анарх грубо издевался над ее косой, назвав ее глупой и даже нечистоплотной. Наташа могла бы напомнить и многое другое, но, взглядевшись в Анарха, в его расстроенное и виновное лицо, в красные обводки вокруг глаз, заметив, что он нелепо топтался на одном месте, она решила, что напоминать Анарху прошлое сейчас не нужно. Наташа увидела, что Анарх расстроен, и снова, и в который раз за сутки, она пожалела косу. Но еще больше ей было жалко Анарха. Успокаивая его, она тряхнула головой, сказала:

— Обойдется, без косы легче, не правда ли?

Лицо у Анарха было такое, словно его коснулся мрак, царивший до происхождения вселенной. Тогда Наташа прибегла к последнему средству:

— Анарх, — заявила она, — смотрите, я надела сегодня свои шелковые чулки, они одни у меня.

Наташа села на кровать. Анарх увидел телесного цвета чулки, отличные чулки со стрелками. Такие чулки она надела впервые.

— Это неважно, — хотелось сказать ему по обычаю, но зубы остались стиснутыми.

Наташа низко наклонила стриженую голову. — Что я сделал? — с ужасом подумал Анарх. Наташа прошептала:

— Я знаю, вы сердиты на меня из-за разговора о бычке с Анной Михайловной. Я очень глупая, что ж делать...

— Это неважно, — опять было ответил по привычке Анарх, но и на этот раз слова остались несказанными. Он стоял перед Наташей с видом преступника, не ждущего для себя снисхождения. Наташа поднялась с кровати.

— Перестаньте, Анарх, а то я разревусь!

Этого Анарх вытерпеть больше не мог. Он наговорил Наташе многое множество превосходных несообразностей, в том числе и про косу.

Недели через две Наташа переселилась в комнату Анарха. Я присутствовал на их гражданской свадьбе. Анарх потерял нелюдимость и даже шутил. На-

ташей мы, все приглашенные, любовались, завидуя Анарху. Пропето было немало славных песен, немало было вспомнито боевых и геройских дел. На этом бы и покончить рассказ о Наташе и Анархе, но рассказы о тех годах и о тех людях не кончались благополучием. Производить опыты Наташа и Анарх перестали из-за спорности, но через несколько месяцев после их свадьбы Анарха опять взяли под стражу. В Воронеже жандармы нашли против Анарха новые улики. Полтора года просидел он до суда в тюрьме. Его присудили к лишению всех прав и к ссылке на вечное поселение. К тому времени Наташа отбыла свой срок и из Яренска поехала следом за Анархом в другую ссылку, в Якутскую область. Перед отъездом она показала мне письма Анарха. Анарх просил ее за ним не ехать. Наташа и слышать не хотела о просьбах и советах Анарха. Я провожал ее, когда она уезжала. В мужском полушубке, в пыжиковой шапке с длинными наушниками, в валенках, она походила на подростка. Знаю, что до Анарха она добралась. Прошло время, год, может быть, два, я потерял из виду и Наташу, и Анарха, потерял навсегда.

Черное золото

Роман

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Продолжение ¹⁾)

Во все время ужина разговаривал почти только один Денисов. При- сутствие англомана Набокова и в особенности большого барина Стаховича накладывало светский оттенок на за- стольную болтовню. Умный и самолюбивый Денисов после двух-трех неудачных попыток (мясистый нос его вспыхивал заревом) нашел легкий тон и рассказы- вал о парижских новостях.

Эта легкость, когда даже о самых больших событиях говорят с подчерк- нуту глуповатым юмором, была мане- рой петербургского «большого света»... Денисов искренно презирал все, что окружало императорский трон, — вы- родков и дураков, все еще уверенных, что Россия — их большое имение, ко- торым они призваны управлять. Упря- мые выродки и дураки привели Россию к тому, что она оказалась неподгото- вленной к великой войне, и третьего марта история поставила запоздалую точку на самодержавии. Денисов был демократом. Во время февральской ре- волюции, учтя биржевую панику, он стал владельцем пакета акций Русско- Азиатского банка. Соразмерно этому вы- росло его честолюбие, раскрывались возможности вплоть до президента рос- сийской демократической республики. Большевиков он воспринял как завер- шение революционного хаоса и здесь сум- ел извлечь пользу, широко скупая через агентов недвижимую собственность, железнодорожные акции, портфели си- бирских газет, особо ценные участки зе- мли и прочее. К началу успокоения и порядка он становился в ряды милли- ардеров.

Весь восемнадцатый год он выжидал и покупал. В девятнадцатом большеви- ки начали внушать опасения. Бабушка им ворожила, помогал ли сам дьявол? Дело с их ликвидацией затягивалось, скрипело. Англичане заняли север и за- мялись, — в угоду рабочей партии на- чали оттягивать войска. Французы мо- гли бы взамен разложившихся частей послать в Одессу цветные дивизии, но, как выяснялось, против решительной ок- купации французами юга России непри- миримо восстал Ллойд-Джордж... Кол- чак начал хорошо, но от него уже несло такой доисторической монархией, грабе- жом и безобразием, что французы по- думывали о его ликвидации. Он же, вместо блестящего плана Клемансо о со- единении с Деникиным на Нижней Вол- ге, упрямо слушался одних англичан и шел на Москву через голодный Север, где несомненно при первой же неудаче союзники предоставят его собственным силам.

Деникинские казацки и добровольче- ские армии стали казаться надежнее колчаковских. Но и тут у союзников не было единодушия. Англичане, несмотря на заверения Ллойд-Джорджа, как-буд- то поддерживали монархические группи- ровки, французы пытались укреплять демократию. Деникин негодовал на французов и, так же как и Колчак, скло- нялся к роковой политике Англии. И при этом все почему-то в Париже, Лон- доне, в Екатеринодаре и Ростове-на-До- ну боялись вслух произнести единствен- ное очевидное и неизбежное слово, — интервенция...

Квартира Львова была оплотом ли- берализма. Здесь лишь в крайнем слу-

¹⁾ См. «Новый мир» кн. 1 с. г.

чае согласились бы видеть в России конституционного монарха (для декорации, для успокоения мужицких страстей). Но со взглядами Львова больше считались во французском министерстве иностранных дел, чем у Деникина.

При всем уме Николай Хрисанфович чувствовал себя как бы на зыбком болоте. Даже здесь, за приятно освещенным, в цветах и серебре круглым столом, он не был уверен в ограждающей силе своих миллионов. Кончится ужин, он перекинет через руку пальто и с котелком в руке сбежит к автомобилю, а в это время в маленькой гостиной между оставшимися вдвоем Стаховичем и Львовым произойдет такой примерно разговор, сквозь добродушную зевоту перед сном:

Стахович, потеряв ладонью медное лицо:

— Скажи, пожалуйста, Георгий Евгеньевич, этот твой Денисов, прости меня, пожалуйста, не прохвост?

Львов устало сидит в шелковом, потертом на локотниках кресле, щеки опустились, в движении один только палец, крутящий стальную цепочку часов...

— Да нет, он прекраснейший в общем человек...

— Превосходнейший, умнейший человек, это видно... Но ты не находишь, — немного хамоват... Скажи, пожалуйста, каково его происхождение?

— Он рассказывает, будто он — приемный сын казака Денисова...

— Ага, — говорит Стахович, шевельнув Зевсовыми бровями, и снизу из-под мягкого воротника вытаскивает бороду, растрепавшуюся по всему жилету. — Ну, что ж... Давай ему бог... (И уже — о другом.) А как у тебя с военными делами?

Львов опускает голову, молчит, стальная цепочка крутится в другую сторону.

— Говорил с Пишоном по телефону, говорил с военным министерством, общались уладить...

— А, это все еще история в марсельском порту...

— Портовые рабочие отказываются грузить наши аэропланы, грозят неприятностями...

— Что ж, со своей точки зрения они правы, — Михаил Александрович под-

нимается, целует Георгия Евгеньевича в висок. — Покойной ночи... Не думай об этом на сон грядущий... И — в дверях: — Уверю тебя, Денисов — из евреев...

Год тому назад Николай Хрисанфович и не подумал бы утруждать себя болтовней с этими музейными барами. Но болото было неопределенно и зыбко. И сейчас он остроумно рассказывал о театральной новинке — комедии Саша Гитри, где отец, сын, жена и любовница играли ничем непрекрашенную, на самом деле этой весной случившуюся неурядицу в семье Гитри: Саша Гитри стал изменять жене (мадемуазель Прентан), его отец (Люсьен Гитри) жертвовал своими старческими силами, наставил Саше рога с его любовницей (мадемуазель Бланш) и после меланхолического объяснения с сыном вернул его к жене. Все — просто, как картошка. Первый акт происходит в спальне, второй и третий — в постели. Пресса разделилась, одни кричали, что это — натурализм, упадок, вечер французского искусства, другие, что это — заря великой правды, с которой война сорвала последние блестящие лжи.

— А вот, — сказал Стахович, — в «Олимпии» так совсем уже голые, — двести девочек на сцене...

Беловато-стеклянный взгляд Львова приостановил трепетную тему.

— Несколько удивляет, — сказал он, — что сделалось с французскими женщинами? Я повел племянницу в этот, как его, самый приличный вечерний ресторан, и сейчас же пришлось уйти... (Стахович загородил рот стаканом вина.) Нельзя предположить, что естественное целомудрие исчезло. Скорее — массовый психоз. Сегодня, господа, мне сообщил секретарь министра исповеданий, что решен вопрос о причислении Жанны д'Арк к лику святых... Конечно это нужно воспринимать как контрмеры против распущенности...

Львов, как всегда, был тяжелым собеседником. Ни Денисов, ни Набоков не подхватили темы о моральных проблемах. Стахович, наливая себе красного вина:

— Носят одни газовые черные юбочки по колено, а весь верх открыт, сзади — даже ниже талии, это поражает

непривычный глаз, согласен, но соски замаскированы... Что прикажешь делать? Убито полтора миллиона отборных самцов... Женщины идут навстречу окопам во всей красе...

Денисов сказал:

— Куда дальше, в Ростове-на-Дону все режут юбки. На Садовой в четыре часа—как на пляже... Деникин, говорят, возмутился, но депутация левых кадетов просила оставить женщин в покое: за короткой юбкой преимущество, — безопасность от тифозных вшей и минимум матерьяла...

О Деникине не нужно было упоминать за ужином, Набоков поморщился, Стахович, подняв покрасневшие глаза к люстре, опрокинул в горло стакан вина... Тапа Чермоев медленно повернул круглое лицо к Львову:

— Как сыпной тиф в добровольческой армии, Георгий Евгеньевич, идет на убыль?

— Да... (После паузы.) Да, тиф — это великое испытание. — Львов вытащил из-за жилета салфетку. Все встали (Иван раскрыл стеклянные двери) и перешли в салн, где дымились чашечки с кофе. Опустив голову, заложив руки под пиджак за спину, Львов прошелся по ковру и опять Чермоеву: — Тиф наша основная забота. Но, может быть, и наше главное оружие. Мы широко снабжены медикаментами... У большевиков нет ничего, у красноармейцев нет сменных рубах... Смертность у них — семьдесят процентов, у нас вдвое меньше. Лучше пуль и штыков за нас борется тифозная вошь...

Чермоев с восточной улыбкой поклонился, показывая, что окончательно убежден. Стахович принес бутылку:

— Господа, откушайте и скажите, что это такое? — Он налил в рюмки в форме лампадок. Набоков, пригубив:

— Старый херес...

— Нет, нет, в том-то и дело...

Денисов покрутил вино в рюмке, долго нюхал:

— Арманьяк...

— Ха! — воскликнул Стахович, поднимая над головой бутылку. — Коньяк восемьсот двадцатого года... Напиток богов... Мне предлагают купить весь погреб, две с половиной тысячи бутылок, по двадцать франков за бутылку... Бла-

годение... У меня есть пятьдесят тысяч франков, я их проживу в год и пойду с рукой.... А купив этот коньяк, продам в Англию по два фунта за бутылку. По фунту на плохой конец... Я спекулирую, — таково время...

Львов изумленно смотрел ему в лицо, затем взял бутылку, оглядел, пожал плечами:

— Мне кажется, ты выпьешь его сам, Михаил Александрович. — Отошел, потрогал засохшую розу в вазе, строго кашлянул. — Константин Дмитриевич, нам бы очень хотелось послушать ваше неофициальное сообщение о лондонских делах...

Набоков (стоявший с чашечкой кофе у камина) наклонил голову:

— Слушаюсь...

Все удобно уселись в креслах, заслылся сигарный дым...

— Господа...

Набоков сбросил ногтем мизинца пепел. По его понятиям, приличные в высшем смысле люди — ком иль фо — существовали только в Лондоне (в ограниченном количестве, разумеется). Немецкая аристократия, кичащаяся готским альманахом (этой адресной книгой для брачных контрактов с коронованными особами), французские блестящие фамилии, смешавшие свою кровь крестоносцев с кровью еврейских банкиров (за исключением разве графов Клермон-Тоннёр, все мужские особи которых рождался импотентами), русское дикое, безграмотное, пропахшее водкой и собаками дворянство, не умеющее хранить ни земель, ни чести, ни блеска имен, — все это были варвары. В том числе и милейший Михаил Александрович, — он годился разве в какие-нибудь провинциальные чудаки-дядюшки к любому из утонченных англичан, этих единственных патрициев мира. Англичанин, меланхоличный, замкнутый, равнодушно-гордый, в сумерках, в замке, у очага, на том же месте, на том же кресле, обитом той же тисненой кожей, где сидел первый Плантагенет (глядящий из-под свода с темного полотна), — такой человек по праву, недоступному пониманию толпы, есть лорд, хозяин мира, что вы там ни кричите со своих плебейских трибун... Разумеется, эти мысли не были написаны на бледном, с

черными волосиками на губе и подбородке, по-английски спокойном лице Набокова, оно выражало лишь величайшее внимание к собеседникам...

— Господа... На-днях я говорил с Черчиллем... Кажущийся страх перед рабочей партией — лишь простой маневр. Слагаемые внутренней политики таковы, что выгоднее уступить крикунам в палате общин, чем вооружать против себя прессу Ирландии, Индии и так далее. Мы уступили в эвакуации Архангельска и Мурмана, на самом деле эвакуация будет производиться крайне замедленно... Второе — отвод английских частей с деникинского фронта...

(Львов опять заложил руки под пиджак и заходил, как в одиночке. Набоков улыбнулся).

— ... На их место Черчилль посылает две тысячи пятьсот инструкторов добровольцев... Эти уступки позволили Черчиллю сообщить мне: из секретного фонда английского военного министерства ассигновано двести сорок миллионов рублей на материальное снабжение Колчака и Деникина...

(На истуканьем лице Тапы Чермоева открылись все зубы, Денисов схватился за мясистый нос, переменял место).

— ... Это тем более во всех отношениях приятно, что военное министерство не может потребовать и не потребует от России компенсации...

Стахович — в чашку с кофеем:

— Боюсь я данайцев...

— ... Я боюсь, господа, быть непонятым... (Набоков пожал плечом). Мы знаем, что двадцать третьего декабря семнадцатого года, объединенные чувством отвращения перед предательством большевиков, Клемансо и Ллойд-Джордж договорились о разделе сфер влияния... Линия влияния идет через Босфор, Керченский пролив, на Царьцын и дальше к северу, где загибает к границам Финляндии... Грехи русского народа были слишком вопиющи, Россия должна чем-то поплатиться. Германия при военной удаче сделала бы из нас просто вассальную провинцию, белое Конго. Мы расхлебываем наше варварство, нашу восточную лень... Да, сферы влияния. Да, мы теряем из суверенного хвоста несколько пазлыных перьев... И это все, чем платимся за Брестский

мир... Мое глубочайшее убеждение: потеряв, мы приобретаем гораздо больше. Своими силами нам все равно не восстановить разрушенного. В мирное время нам приходилось занимать направо и налево. Одна Франция вложила столько денег, что фактически владела пятидесятью пятью процентами русского железа, семидесятью пятью процентами русского угля и тридцатью процентами нефти...

(Легкий поклон в сторону Тапы Чермоева. Допив чашечку, ставит ее на камин).

— ... Сферы влияний? Прежде всего это — две высшие цивилизации, которые приходят исцелять тяжело больного... Я приветствую Колчака, — он трезво учитывает неизбежность вмешательства Англии в нашу экономическую политику... Менее понятна позиция великодержавных генералов на юге России. Звон оружия заглушает в них голос здравого смысла. Единая, неделимая — это красивое знамя, но это игра дикарей в войну, господа. Нельзя спориться со взрослыми из-за миражей. Они же ухитряются спориться с Клемансо, почему-то верящим в мираж единой, неделимой...

(Пауза. Львов что-то хотел сказать, но только кашлянул. Стахович сопел, раздувая сигару).

— ... Россия — это организм, переросший самого себя. Дом несчастных Романовых кое-как слепял разваливающийся куски... Отсюда эта профессиональная великодержавность у наших генералов. Но — распался великий Рим, и — да здравствует европейская цивилизация... Так думают в Англии. Война окончена... Мы на развалинах Рима... Англия принимается наводить у себя порядок...

(Поймав блеснувший, как олово, взгляд Львова, Константин Дмитриевич чуть-чуть нахмурился).

— ... Я подчеркиваю, Англия — у себя... Это право высшей культуры... Право патрицианского духа над всеми этими — квас, тройка, самовар... (Уголок глаза — в сторону Стаховича.) Где бы ни ступил англичанин — он у себя. Индусы, арабы, негры проходят тяжелую школу колоний, но прикасаются к цивилизации. Когда римляне несли в

глушь германских лесов орлы своих легионов, это было первым уроком ребенку говорить папа и мама... Я понимаю французского буржуа, — у него весь чулок набит русской рентой и промышленными акциями царской России, он с яростью будет кричать о восстановлении великой и неделимой... Но такой ясный ум, как Жорж Клемансо!.. В конце концов это не важно, — совершится то, что совершится...

(Слушатели молчали не то подавленные, не то от недоумения. Набоков приподнял брови, медленно закурил от восковой спички, покусал прилипший к губе кусочек папиросной бумаги).

— ... Теперь сообщу наиболее важное... Черчилль находит, что военный спектакль в России утомителен... Белые отступают, белые наступают, красные отступают, красные наступают... Словом, битва русских с кабардинцами... Черчилль находит, что большевики засиделись в Москве. Если у них нет такта уйти самим, придется прибегнуть к давлению извне... План коалиции четырнадцати государств для военной прогулки на Петербург, Минск, Киев, Одессу и концентрического наступления на Москву нужно считать решенным в положительном смысле... Вопрос в деталях, — кое у кого сбавить аппетита, кое-кому придать храбрости... Я кончил, господа...

8

В холле (устланном красным бобриком) гости взяли лежавшие на креслах пальто, шляпы и трости. Сказали несколько последних шуток. Денисов сбегал к автомобилю, кинулся в кожаную негу сиденья, под мягкое покачиванье стал грызть ногти. Ужасало возбуждение, неминуемая бессонница... Раздумывал — сейчас или завтра? На столбе для афиш пронесся освещенный циферблат, — одиннадцать!.. Денисов рванулся к переднему стеклу, застучал ногтями:

— Шофер, остановитесь у первого телефонного автомата...

Львов и Стахович вернулись в маленький салон. Львов ходил. Стахович, потерев медное лицо:

— Как тебе понравился коньяк? Мне повезло, а?

Львов, гневно глядя на друга:

— Как тебе понравился Набоков? Если так рассуждают русские, то как же должны... Прости, я никогда не был славянофилом, но... Эта англомания, это западничество, доведенное до... И все же... Я посылаю Деникину танки — расстреливать наших мужиков... Набоков удовлетворен... (Голос его ушел вглубь и рвался оттуда все раздирательнее.) Если мы не будем посылать танки, Россию станут расстреливать четырнадцать государств, выдуманных Черчиллем... До большевиков можно добратся только через трупы русских... Я буду гореть на вечном огне, но я не знаю, как по-другому спасти Россию... Читай апокалипсис, Михаил Александрович... Если бы я мог все бросить и — монастырь...

Стахович сказал:

— В русском западничестве более глубокие и отдаленные корни, чем у славянофилов... Первое проявление нужно отнести ко времени Тушинского вора, — перелет к нему московских бояр. В сущности, они просили у польского короля Станислава того же, что просит Набоков у Черчилля...

— Вздор, вздор говоришь...

— Подожди. Когда у нас начали читать Гегеля, западничество разделилось на две ветви — дворянскую и разночинную... Первая вылилась в устройстве английских парков. Перестали отправлять нужды под лестницей на судне и завели ватерклозеты... Другая начала бороться с богом, потом читать Маркса... Я все сижу и думаю: ты не находишь, Георгий Евгеньевич, что Маркс понятнее русскому мужику, чем славянофилы?.. Не знаю, не знаю...

— Да, идем спать, — решительно сказал Львов...

Набоков пошел пешком через Марсово поле. Под ногой Эйфелевой башни, отраженной вместе со звездами в маленьком озерке, он остановился закурить папиросу. Здесь его нагнал, слегка задыхаясь, Тапа Чермоев:

— Я не нашел такси, — сказал он, — повернул за вами... Может быть, поедем развлечься?

Набоков вздохнул. Он чувствовал утомление, а нужно видимо. делать усилие, чтобы отвязаться от этого татарина. Согласился. Пошли по влажному песку туда, где через Сену, под аркадами моста пронесся огненной лентой поезд метро. Не надеясь, что Тапа поймет тонкость мысли, он все же сказал, глядя на большие звезды в стороне Сен-Клу, на лиловатое зарево над центром города:

— Париж напоминает мне корзину с влажными розами, внесенную в кабак.

Тапа, подумав:

— Сейчас нет хороших кабаков. Парижане еще не оправались.

— Да, постоянно жить в Париже я не хотел бы... Я люблю наше печальное лондонское солнце, наши туманы, однообразные улицы... Это город, это город человека... А здесь...

Набоков покосился на одну из парочек в тени куста на скамейке. Женская рука белела на груди мужчины, где поблескивала военная пуговица. За спиной у них трещал в траве кузнечик.

— У меня всегда желание предложить десять франков на ночную гостиницу, — немножко комфорта. — Набоков обернулся на хруст такси, поднял трость, но шофер покачал указательным пальцем. Тапа сказал:

— Константин Дмитриевич, вы меня обрадовали сегодня... Что ж такое, — так думаешь, — на свете нет правды... Да, Черчилль хороший человек, умный человек... То, что вы сообщали, не опубликовано в газетах?

— Нет и не будет...

— Понимаю, понимаю...

— Вас интересует биржа, нефтяные курсы?

— Да. Нефть...

— Передо мной, когда я входил к Черчиллю, у него сидел Детердинг...

— Так, так... Нефтяной король... Очень обрадовало и заинтересовало ваше сообщение... Такси! (Тапа, весь оживившись, побежал к перекрестку дорог, где медленно проезжал наемный автомобиль.) Константин Дмитриевич, свободен... Так что же, поедем на Мон-мартр...

9

В тридцати минутах от Парижа, в Севре, в нагорном лесу, старая каменная

изгородь, поросшая ежевикой, окружала уединенный дом с высокой крышей в стиле Мансарда. Французы чрезвычайно терпимы, но любопытны. Это скорее всего профессиональное свойство, так как система кредита нуждается в самом подробном изучении обстоятельств жизни клиента. Сведения поставщиков зелени, мяса, молочных, хлебных и колониальных продуктов об обитателях дома в лесу были в общем следующие:

Владелец дачи, месье Нишо, имевший несчастье вложить две трети состояния в русские займы, получил однажды от комиссионной конторы предложение сдать владение на шесть месяцев иностранцу Хаджет Лаше. Подавленный горем, Нишо поставил условие оплаты аренды за шесть месяцев вперед и непременно в английских фунтах. (Франк после Версальского мира, противно ожиданиям, быстро скользил вниз.) Контора ответила согласием и предъявила месье Нишо контракт, уже подписанный Хаджет Лаше, — таким образом владелец не мог увидеть в глаза своего арендатора. Прислуга, рекомендованная месье Нишо, севская уроженка, мадмуазель Нинет Барбош, также не давала сколько-нибудь определенных сведений. Из многих посетителей, различных и часто не поддающихся определению национальностей, ни одного не звали Хаджет Лаше. Он оставался лицом, возбуждающим любопытство.

На даче жили три молодых женщины и низенькая угрюмая старуха, Фатмаханум. Она следила за хозяйством, расплачивалась с поставщиками, счета, не просматривая, складывала в шкатулку самшитового дерева, по-французски знала только названия продуктов, никогда не выходила за ограду и спала на чердаке в полутемной клетушке — бывшей голубятне. Нинет Барбош считала, что старуха — колдунья; в кармане черного шелкового балахона ее всегда находилась колода карт.

Три молодых женщины — мадам Мари, мадам Вера и мадам Лили — занимали наверху три спальни. В четвертой комнате останавливался Александр Левант, близкий друг этого дома. Случайные посетители, гостившие иногда по несколько дней, спали внизу, в салоне,

на турецких диванах, покрытых смирскими коврами. Нинет Барбош не могла определить, на каком языке разговаривают молодые мадам, некоторые слова она записала французскими буквами на клочке бумаги, но в Севре на рынке не удалось расшифровать загадочного языка. Нинет предупреждали быть осторожной.

Некоторые из жителей Севра задавали вопрос: не есть ли дача в лесу просто заведение с девочками. Но против этого решительно восставали все поставщики. Мужчины бывали на даче не часто и не регулярно: будь там заведение, — оно давно бы уже лопнуло, во всяком случае замечались бы жизненные перебои. Единственно, что можно отметить, — это оттенок несемейственности на даче в лесу. Но в конце концов всякий живет, как ему нравится, и нет основания совать нос туда, где честно расплачиваются по счетам.

Уважение внушало также и то, что Александр Левант всегда приезжал в автомобиле, ни один из гостей никогда не пользовался поездом, тем более трамваем. Из Парижа привозилось шампанское, но после того, как владелец винного магазина в Севре предложил доставлять в любое время дня и ночи вина и шампанское любых марок в любом количестве, и эти случайные суммы стали оседать в Севре.

Мадам Мари, мадам Вера и мадам Лили жили праздно и скучно. Спали до десяти утра, непричесанные, в шелковых пижамах часа полтора сидели за утренним кофе, курили папироски. Иногда гуляли, но больше — валялись под двумя старыми липами в садике напротив каменного крыльца.

Сад был запущен, розы одичали, на клумбах — сорная трава. Нинет Барбош, перетирая у окна кухни тарелки, часто задавала себе вопрос, почему эти три кобылицы так боятся испачкать руки в земле. На чудесной лужайке, где в июньском зное слышалось пчелиное гудение, валялись пустые коробки от папирос, бумажки, бутылки. А эти, положив голые руки под затылок, знай себе глядят на облака... Чулки не штопают, — порвутся — бросят, где попало, платяя раскиданы по всему дому.

Иной раз, как встанут, так и лягут спать не умывшись.

Мари была полная блондинка с длинными сонными глазами. Вера — высокая, худая, сложенная, как модель из большого дома, лицо азиатское, волосы лиловатые. Лили — во французском вкусе: широкое, как у подростка лицо, вздернутый нос, стриженная, трепаная голова, но слишком большой, чуждый по выражению рот выдавал славянское происхождение.

Когда слышался гудок поднимающегося в гору автомобиля, на крыльце появлялась Фатьма-ханум и что-то начинала говорить, ударяла ладонь о ладонь, трясла старым подбородком. Но дамы не слушали ее, — может быть, потому, что Фатьма говорила на другом языке, — лениво покидали парусиновые шезлонги, уходили в дом — одеваться. Фатьма тусклыми, покорными глазами глядела на железную калитку с колокольчиком. Появлялся Александр Левант, большею частью с гостями. Почти всегда это были иностранцы. Они бросали шляпы и пальто на траву, садились на шезлонги. Курили, спорили, смеялись. Александр Левант уходил за дамами. Обняв их за плечи, широко улыбаясь, сводил с крыльца, знакомил. Им целовали руки.

10

В один из июньских дней Александр Левант привез на дачу Василия Алексеевича Налымова. Под липами в безветренном зное гудели пчелы. Нинет Барбош энергично стучала тяпкой на кухне. Дамы умудрились даже стащить с себя пижамы, лежа с папиросками в парусиновых креслах. Повсюду — лень и жаркие голубоватые тени.

Среди полудневной истомы неожиданно раскрылась калитка; за спиной Александра Леванта смеялось одутловатое, бритое лицо светловолосого человека, одетого во все новое. Дамы слабо ахнули и понеслись к дому, кое-как прикрывая наготу.

Левант рассердился и начал по-турецки кричать в чердачное окно. Оттуда высунулась перепуганная Фатьма, залопотала, дробно скатилась вниз. Левант с бешеным упором указал ей тростью на пустые бутылки в траве и на штаны

от пижамы, валявшиеся на песчаной дорожке...

— Проклятая старуха! — сказал он Нальмову, увлекая его в дом, — но вы не обращайтесь внимания на некоторый беспорядок. Мой друг, Хаджет Лаше, снявший эту дачу, — в отъезде. Дамы, которых вы мельком видели, — его гости. У меня нет времени заняться порядком. Это дом без головы, но здесь можно чувствовать себя не стесняясь. Это — богема...

Он ввел Нальмова в небольшой салон, полутемный от закрытых жалюзи, и предложил располагаться на любом из диванов. Присев на подоконник, перекатывал во рту сигару:

— Три дамы — чтобы сразу вам ориентироваться — эмигрантки из России. Мой друг, человек необычайно отзывчивый, подобрал их буквально умирающих от голода на тротуарах Константинополя... Одну из них, кажется, он хорошо знал по петербургскому свету, — та, высокая, чудно сложенная женщина — княгиня Чувашева... Маленькое создание — это несчастная дочь генерала Степанова, отец пропал без вести, мать умерла во время эвакуации Одессы. Полная блондинка, если не ошибаюсь, — киевская сахарозаводчица, она до сих пор не совсем пришла в себя от потрясений... Сердце обливается кровью, когда подумаешь, что наделали большевики с вашей Россией... Я ведь тоже отчасти русский, у меня были крупные дела в Петербурге... Помните гостиницу Астория, там я держал постоянные апартаменты. Мой друг, Хаджет Лаше... Кстати, вы знали его?

— Не вспоминаю, простите, — ответил Нальмов, прислушиваясь к женским голосам наверху.

— Род Хаджет Лаше из Константинополя. Но сам он уроженец Тифлиса, а генерал — французской службы... Так вот, недавно он купил у владельца — стокгольмского эмигранта — гостиницу Астория и еще ряд других гостиниц, кажется, и Европейская на Михайловской улице теперь его же... Очень решительный человек... И патриот, русский патриот... 1

Заметив, что Нальмов плохо слушает, Левант несколько изменил направление беседы:

— Сейчас мы отлично пообедаем. Нинет Барбош научилась у старухи восточным блюдам. Затем я вас покину на попечение дам. Отдыхайте, флиртуйте. А через несколько деньков займемся делами. Меня очень интересует Тапа Чермоев, — вы с ним близки?

— Выпили много у «Медведя» в свое время.

— Великолепно. Затем — Леон Монташев, Тер-Акопов и другие... Эти нефтяные короли — беспечнейшие люди... И — понятно: сиди себе и гляди, как из-под земли с божьей помощью хлещет черное золото... Больно видеть, как они растерялись на чужбине... Но Тапа, кажется, покрепче других... Словом — об этом в свое время... Идем обедать...

Дамы вышли к столу в белых и розовых батистовых платьях. Александр Левант представил Нальмова, — его приняли непринужденно, но равнодушно. Обед в полумраке закрытых жалюзи начался молчаливо. Левант с жадностью занялся едой. От щек и толстых рук Нинет Барбош, вносящей блюда, дышало жаром плиты. Мадам Мари изнемогала. Мадам Вера по-мужски пила белое вино, — стакан за стаканом. Крошка Лили любопытно поглядывала на Нальмова. То из одной, то из другой двери высывалась Фатьма-ханум, как испуганная крыса.

Отодвинув тарелку, Александр Левант вытер салфеткой череп и лицо:

— Дорогие мои создания, — сказал он неприветливо, — я оставляю на ваше попечение Василия Алексеевича. Но если будете его развлекать, как сейчас, он к вечеру сбежит в Париж. Здесь не английский пансион, чорт возьми...

— Так бы вы сразу и сказали, — мрачным, хриповатым голосом ответила княгиня Чувашева. Лили неизвестно чему засмеялась, и ее личико с горькими складочками у рта стало молодым. Мадам Мари, лениво поднимая веки:

— Нам каждый гость дарован богом, — пропела про себя и красивой холеной рукой повела стаканом в сторону Нальмова. Он поклонился, стукнул каблуками. Мари спросила:

— Вы военный?

— Бывший...

— Какого полка?

— Право — забыл... (Три дамы изумленно посмотрели на него.) Я столько веселился, — отшибло память...

Подпрыгивая от беззвучного смеха на стуле, топорща локти, он кивал дамам красноватым лицом. Левант сказал:

— Василий Алексеевич командовал серебряной ротой лейб-гвардии Семеновского полка. В Париже — с шестнадцатого года. Так, кажется? Вы были при военной миссии? Ну-с, давайте о чем-нибудь повеселее...

Но дамы помрачнели от воспоминаний. Княгиня жестко сжала рот, стучала длинными ногтями по скатерти. У Лили увяло личико, будто из него выпустили весь воздух. Веселья не выходило. Пить кофе пошли в сад, откуда торопливо засемила Фатьма с приподнятым подолом, полным пустых бутылок и мусора.

Вскоре Левант докурил сигару и уехал. Налымов, поджав ноги, покачиваясь от удовольствия, сидел в траве, потягивал коньячок.

— Слушайте, вы, по-моему, — хороший парень, — сказала ему княгиня Чувашева. Теперь, когда не было Леванта, щеки ее порозовели, пропали скулы. — Чего ради сюда приехали?

— Мой друг Левант находит — мне нужен небольшой отдых.

— Слушайте, давайте по-хорошему... Вам известно, что здесь — притон?

— Княгиня, здесь — очаровательно...

— Меня зовут Верой... Какая я теперь к чорту княгиня... Подсаживайтесь... (Она похлопала по траве обратной стороной ладони, Налымов с бутылкой подсел к парусиновому креслу.) Вы что же, — в самом отчаянном положении, что ли? в мусорном ящике?

Налымов все так же легко, со смехом:

— Я писал моему орловскому управляющему, — он чертовски затягивает с деньгами... Не то мужики не хотят платить, — вообще что-то курьезное... Накопились долги, пришлось несколько стесниться...

— ... Ночевать на бульваре, — низким голосом сказала княгиня...

— Как вы угадали? Ночевать на бульваре, не совсем удачно питаться...

— ... Воровать хлеб в ресторанах...

— Не столько стесняло ограничение

в еде, как в напитках, представьте... Вы когда-нибудь работали, княгиня, по очистке канализации?

— Работала кое-где и похуже...

— На вас надевают огромные сапоги, и вы с лопатой стоите по колена в жижице. В каналах — множество заржавленных булавок, если такая штука воткнется в ногу, вам будет плохо. Но зато под землей я подружился с отличнейшими людьми... Все они отчаянные анархисты, и мне пришлось скрывать кое-что из прошлого... В общем нужно забыть, что мы жили... Травка, пчелки, коньячок...

— Забыть — умно... Но не так легко...

— Забудьте, где родились, как вас зовут, папу и маму, стыд, порядочность, брезгливость... Перестаньте надеяться. Душка моя, вам станет легко, как птичке...

Княгиня подперла щеку, сдвинула мужские брови:

— Перестать надеяться?

— Такая же глупость, как воспоминания...

Мари и Лили, дремля, прислушивались к их словам. В том, что говорил этот человек из мусорного ящика, в его трясущемся смешке, в пропитых водянисто-серых глазах была какая-то жуткая убедительность. Когда Вера повела его показывать усадьбу, Мари сказала в нос:

— Вера заинтересована...

Лили, лениво болтавшая туфелькой на кончике ноги:

— И он, и все мы тут пропадем, как собаки...

11

Левант не показывался целую неделю. Наконец от него пришла на имя Налымова телеграмма из Стокгольма: «Приезжаю понедельник, прошу быть порядке»... Всю неделю на даче была тишина, благодать, странные разговоры. Дамы уходили спать рано, в их комнатах наверху слышалось некоторое время тихое всхлипывание и сморканье. Затем гасли все окна, и дача засыпала. Только Налымов еще сидел в траве, поджав ноги: над липами — черная, теплая ночь, под горой наклонились семь звезд Большой Медведицы. Далеко — мерцающий свет над страшным Парижем.

Сентиментальная душа Василия Алексеевича прислушивалась к нежным, как деревянные трещеточки, голосам древесных лягушек. Когда кончался коньяк в полубутылке, он бодренько поднимался и шел в салон, где, не раздеваясь, засыпал на одном из диванов.

Часов с семи утра дамы (с припудренными веками) начинали подходить к двери салона, участливо дожидаясь, когда человек из мусорного ящика перестанет посапывать, откашляется и ясным голосом, как ни в чем не бывало:

— Ну, вот, и чудесно...

Тогда подавали кофе, и день начинался — солнечный, длинный, лениво-бездумный. Василий Алексеевич мог бы взять посох и увести трех дам на край света, — так они безвольно предались ему. Должно быть и вправду на дне мусорного ящика он отыскал секрет, как жить в это фантастическое время. При нем затихали, как зубная боль, мучительная память, невыразимый ужас будущего... Когда заговаривали о близкой гибели большевиков, о возвращении в Россию, он валился навзничь в траву, дрыгал ногами, блаженно хихикал:

— Птички мои, не сходите с ума... России не было и не будет, вам приснилось... Любите эту минутку, минутку...

Телеграмма от Леванта будто разбила стеклянный колпак над зачарованной дачей, дунуло смрадом. Вера появилась в холщевом костюме и высокой шапочке для прогулок, сурово сказала Нальмову:

— Я иду в парк, нам нужно поговорить...

Они долго шли по прямой и широкой улице, где за глухими изгородями и колючими кустарниками нежилось среди садилов, клумб, газонов французское благополучие. Спустились в городок Виллу Давре и по шоссе поднялись к парку Сен-Клу... Вера шла быстро, помужски, — стиснутые кулаки в карманах. На Василия Алексеевича ни разу и не покосилась. В глухой части парка свернула к скамье. Села, прямая, колючая:

— Слушайте, — сказала отрывисто, — во-первых, я вас люблю... Хотя это менее всего важно... Я вас люблю... И на этом кончим...

Она передохнула. Знала, что он будет молчать (он низко опустил лицо), и даже в этот раз не взглянула на него.

— Предупреждаю, Василий Алексеевич, вы попали в скверную компанию... (Он усмехнулся в жилет). Например за этот разговор, если Левант узнает, не поручусь, что не отправит меня куда-нибудь в багажной корзине... У него уже были, по-моему, такие случаи... В Константинополе мы подписали с ним договорчик... Вам не нравятся скверные воспоминания, — все-таки расскажу когда-нибудь... Так вот, на даче мы не просто три публичных девки... нас для чего-то готовят... Догадываюсь только, что все связано со Стокгольмом... Когда Левант объявит, чтобы мы собирались, — нас повезут в Стокгольм, и там будет главное... Я не жалею, заметьте... Сделать для меня вы ничего не сможете... Ну, да к черту... Предупреждаю, держитесь очень осторожно, — Левант страшный человек. А лучше его — тот, стокгольмский голубчик...

Она угрюмо замолчала. Сладкий ветер — с океана — шелестел в листве высокой платановой аллеи. По боковой дорожке проехал худой, как скелет, велосипедист в шляпе пирожком. На раме, прильнув к нему, сидела с закрытыми глазами девчонка в черном платьишке.

Когда они проехали, Вера обхватила шею Василия Алексеевича, прижала лицо его под грудью к сердцу. Молча вся содрогнулась. Отодвинулась подальше на скамье:

— Непонятнее всего, что — живу... Вот этого раньше никак бы не могла представить...

Когда она отсела, Нальмова подняло будто пружиной. Отбежав, торопливо перебирая ногами, описал круг около скамьи:

— Вера Юрьевна, только не выдумайте, боже упаси, что я хороший человек... Никакого проблеска, мерзок до самонаслаждения... Чучело на огороде машет рукавами — это я... Пропито, сожжено, растоптано...

— Люблю вас, — негромко повторила она. Расширенные сухие глаза, не отрываясь, жадно глядели на Василия Алексеевича...

12

Когда изумляются, почему самый, казалось, обыкновенный, не умнее и не глупее других человек гребет миллионы, так, будто доллары, фунты, и франки сами липнут к нему, как к магниту, — трудно все сваливать на счастье и случай.

Счастье в делах несомненно играет немаловажную роль. Так банкирский дом Ротшильдов основан благодаря невероятному счастью одного из Ротшильдов; ему повезло быть поблизости битвы при Ватерлоо. Узнав о неожиданном разгроме Наполеона, он в утлой лодчонке в бурную ночь переплыл Ламанш, загнав десяток лошадей, поспел к открытию лондонской биржи и стал на своем квадрате у колонны. Одежда его была в пыли, борода растрепана, глаза блуждали. Он униженно протягивал для продажи английские бумаги, — это могло означать только, что Наполеон вышел победителем при Ватерлоо. Началась паника, английские ценности полетели вниз, и тайные маклера счастливого Ротшильда скупали их до того часа, когда решетчатые крылья телеграфов принесли истинную весть о полном торжестве англичан. К вечеру этого дня Ротшильд становится самым богатым человеком в Европе.

С тех пор дом Ротшильдов держится правила — брать на службу только счастливых людей. Будь ты финансовый гений, но если тебе не везет, — дом Ротшильдов с любезностью откажется от твоих услуг. Много написано книг о счастливых людях, иные сами писали о себе (Морган, Форд, император Вильгельм). Проблема счастья, как причина, чтобы сделаться миллиардером, устарела. Известный философ Бергсон на лекциях в Сорбонне (особенно посещаемых дамами), поставил новую проблему — интуиции, проще говоря, вдохновения, такого душевного состояния, которое он относит к границам почти мистическим и теряется в его анализе. Профессор Павлов (в Ленинграде), исследуя выделение собачьей слюны, докопался и до вдохновения и со свойственной русским большевистской грубостью заявил, что мистики тут нет, а лишь известная сумма условных и безусловных рефлексив,

иррадиации и концентрации сил, словом, — чистая диалектика...

Так или не так, но в вечер после ужина у Львова Николай Хрисанфович Денисов, сидя в автомобиле, испытал жгучий прилив вдохновения. Последним условным рефлексом была горящая лампочка уличного телефонного аппарата. Подавляя дрожь нездорового возбуждения (еще не кончилась иррадиация), Николай Хрисанфович позвонил по частному телефону. Счастье! Трубку сейчас же взяли, и слабый ноющий голос проговорил:

— Да, это я, Уманский... Здравствуйте, Николай Хрисанфович... Отчего так поздно?.. Знаете, у меня болит восемнадцать зубов... Врач уверяет, что нервное, но мне не легче... Приезжайте, меня тут развлекают кое-какие друзья...

Бросившись снова в автомобиль и крикнув адрес, Николай Хрисанфович увидел в автомобильном зеркальце свое лицо, — налитый возбуждением нос и между черными усами и бородой оскаленные свежие зубы...

«Ловко, — подумал, — у Семена Уманского болит восемнадцать зубов. значит в о е н н ы е с т о к и он не продал и о Черчилле ничего не знает»...

Семен Семенович Уманский, низенький и плешивый человек с белобрысыми глазами, лежал на неудобном диванчике (стиля Людовик XV). Носок лакированной туфли его описывал круги, замирал, настораживался и начинал подскакивать кверху, затем опять описывал круги, — в зависимости от кручения и дерганья зубной боли.

У стола, заваленного дорогими безделушками, сидели черноватая дама с вишневым нарисованным ртом и молодой человек. Они пили шампанское.

Бледное, длинное лицо молодого человека нехотя усмехалось, в синих глазах убийцы-сутенера дремала ледяная тоска. Это был довольно известный Екатеринодару и Ростову журналист Володя Лисовский, фантастический нахал и ловкач. Ему надоели вши, война и дешевые деньги. Его принципом было брать на крайнюю простоту и неожиданность. Он заявил генералу, начальнику контрразведки (кирово усмехаясь и

глядя холодно и нагло), что едет в Париж работать в прессе, нужна валюта и паспорт... Он явился к начальнику штаба генералу Романовскому и бесстрастно доказал, что гораздо дешевле послать в Париж одного русского журналиста, чем там покупать дюжину французских. Он явился к профессору Милюкову и, несмотря на его хитрость, в пять минут убедил взять себя личным секретарем. Через неделю он вместе с Милюковым сядил на пароход в Новороссийске.

Сейчас, грызя миндаль, он рассказывал о знаменитых публичных домах на улице Шабане, куда было принято (после войны) ездить с приличными дамами после ужина смотреть в потайные окошечки на забавы любви.

Семен Семенович, хватаясь за щеку, тянул слабым голосом:

— Перестань, Володя, ты смущаешь баронессу...

Баронесса Шмитгоф (черноватая дама) была не из робких. Чувствуя себя превосходно в кресле за шампанским, она махала ручкой на Семена Семеновича:

— Молчи, мое золотко, тебе вредно волноваться...

Когда несколько отпустила боль, Уманский говорил:

— Ах, деточки мои, меня не зубы мучают, меня мучает несправедливость... Я люблю делать добро людям... Я ведь тогда счастлив, когда делаю добро... Ой, ой... Сколько страданий... И мне — уж не знаю, несправедливые люди, боли — подрезают крылья... Но не огорчайтесь... Справимся, ребяташки, вылезем как-нибудь из грязного дела... Пейте и веселитесь....

В дверь постучали, нога Семена Семеновича судорожно подскочила, вошел Денисов...

(Продолжение следует)

Качка на Каспийском море

БОРИС КОРНИЛОВ

За кормою — вода густая,
солона она, зелена...
неожиданно вырастая,
на дыбы поднялась она,
и, качаясь, идут валы

от Баку
до Махач-Калы.

Мы теперь
Не поем, не спорим,
мы водою увлечены —
ходят волны Каспийским морем
небывалой величины.

А потом —
затряхают воды —
ночь Каспийская,
мертвая зыбь,
знаменуя красу природы,
звезды высыпали, как сыпь —
от Махач-Калы
до Баку
луны плавают на боку.

Я стою себе успокоясь,
я насмешливо щурю глаз —
мне Каспийское море по пояс,
нипочем —
уверяю вас.

Нас не так на земле качало,
нас мотало кругом во мгле —
качка в море берет начало,
а бесчинствует на земле.
Нас качало
в казачьих седлах —

только билась по жилам кровь,
мы любили девчонок подлых —
нас укачивала любовь.
Водка, что ли еще?
и водка —
спирт — горячий,
зеленый,
злой...

нас качало в пирушках вот как —
с боку на бок
и с ног долой.
Только звезды летят картечью —
говорят мне:
— иди, усни...

дом, качаясь, идет навстречу,
сам качаешься, чорт возьми...
Стынет соль девятого пота
на протравленной коже спины,
и качает меня работа
лучше спирта
и лучше войны.
Что мне море?
Какое дело
мне до этой зеленой беды —
соль тяжелого, сбитого тела
солонее морской воды.

Что мне
(спрашиваю я),
если

наши зубы,
как пена, белы
и качаются наши песни
от Баку
до Махач-Калы.

Мои встречи

Л. Н. ТОЛСТОЙ.

Н. УЛЬЯНОВ

В этот вечер, когда мы подходили к дому Толстого, мне остро запоминались разные мелочи. Почему-то я придавал особое значение тому, что декабрьское небо было сизое, что часть сада, видневшаяся из калитки, бросилась в глаза голыми верхушками деревьев, что снег у крыльца был сильно утоптан, а где-то направо, над сараями, по-весеннему кричали галки.

Сейчас откроется дверь, и мы увидим нечто иное, то, что заставляет людей насторожиться задолго перед тем, как они решатся переступить порог; но прежде чем сделать шаг вперед, нужно что-то обдумать, о чем-то условиться, может быть, просто вернуться домой... Наконец, мы решаемся. Звоним. Лакей отворяет дверь, помогает нам раздеться. На вешалке: богатые женские шубы, отделанные мехом, пальто лицевиста, генеральское пальто, просто пальто, полшубок, доха. На оставшихся свободных местах вешается и наша одежда. Мы стоим в нерешительности, просим доложить Татьяне Львовне. Вскоре она звонко окликает нас и проводит коридором в свою комнату. — «Вот брат Андрей, вот брат Сергей, вот сестра Марья!» — Смотрим в глаза друг другу, пытаемся разговаривать. Наше недавнее смущение было напрасно. Мы видим простых, самых обыкновенных людей, находящихся в очень обыкновенной комнате, уютной и светлой; а между тем, беседуя и находя какие-то общие интересы, почему-то чутко прислушиваемся не только к тому, что и как говорят нам, но и к тому,

что происходит там, за стеной, в других комнатах...

Каждому знакомо чувство какого-то недоверия и ожидания при виде чужой обстановки, в среду которой мы попадаем впервые как гости. Каждый из нас способен иногда даже преувеличить размеры мебели, как и исказить смысл беседы и удивляться потом, что же было тогда такого, когда время, отмечаемое звуком чужого радушного или неприятного голоса, могло показаться невероятно коротким или нестерпимо долгим. В подобных обстоятельствах почти каждый испытывает сходные чувства, придавая им лишь своеобразные оттенки и затрагивая свою способность в большей или меньшей мере воображать. Одним может показаться, что они попали в самую ординарную обстановку, только с каким-то невиданным, слишком большим абажуром на лампе, вокруг которой разлито благополучие; другим — что они находятся у костра, где принимают как бы издавна ожидавшие их друзья, а третьим — как раз обратное — что они очутились в глухом лесу, где каждая встреча с новыми людьми есть новая ошибка и заблуждение. Фантазия некоторых может еще более осложнять образы, в особенности, когда переживаемое касается большой, почти неизмеримой личности, как в данном случае — Льва Толстого.

Раздался стук, чьи-то шаркающие шаги — не он ли, стиснутый стенами, зашевелился в своем логове?

Татьяна Львовна показывает нам альбом с рисунками С. Коровина, Касаткина и других художников, бывавших

здесь. Мы смотрим, высказываем какие-то суждения, ожидая, что будет дальше. Нас приглашают в столовую. Большая комната, за самоваром сидят несколько человек: три дамы, четверо мужчин. Одна из дам — сама Софья Андреевна. Она улыбается, предлагает нам занять у стола место, кому где угодно. Не отделив друг от друга, целой компанией мы усаживаемся в середине между хорошо одетыми «своими» и одиноким «чужим», угрюмым человеком в рабочей блузе. Беседа со своими, Софья Андреевна старается и нам уделить свое внимание. Очень часто она вскидывает лорнет к глазам, чтобы лучше рассмотреть вошедшего в комнату. И кажется: она хочет спросить, кем приглашен и в ожидании чего он усаживается за столом? Ее живые круглые глаза подмечают каждую мелочь, каждое движение, а сочный рот то складывается в улыбку, то подергивается едва заметной гримасой. Не одни мы, но, вероятно, и все приходящие сюда в первый раз чувствуют, что они сразу попадают под обстрел не только ее, но многих чужих глаз. И по мере того как наполняется столовая, обстрел этот уже превращается в своего рода тяжелую пытку. Часть стола около хозяйки остается «аристократической» на весь вечер. Сюда присаживаются родственники и ближайшие знакомые, уснащающие русскую речь французскими фразами, родовитые, воспитанные люди, настолько любезные, чтобы превратить частный разговор в общий, если это будет интересно для сидящих рядом, независимо от их костюма и убеждений. Эти светские психологи, привыкшие сразу определять шерсть живого экземпляра, его лапы или руки будто рассеянным, проницательным взглядом, уже успели сделать свои выводы о присутствующих. Обращаясь в нашу сторону, они благосклонно-покровительно поглядывают на нас с тем выражением на лицах, в котором можно прочесть: «ничего, ничего, молодые люди. Вы даже очень малы, для нас не опасны, а мы, вы видите, мы не кусаемся». И только глаза, детски открытые глаза младшей дочери Льва Николаевича внимательно подолгу всматриваются в каждого из нас; эта девочка с яр-

ким бантом на голове старается преодолеть свое любопытство и, зардевшись от какой-то мысли, готовая громко засмеяться, шаловливо укрывается чайным блюдечком...

Татьяна Львовна объясняет нам, что стол делится на две части: вегетарианскую и убойную. Там, у самовара, ветчина, ростбиф, здесь хлеб с отрубями, медовые лепешки и проч. — «Кому что нравится!» К ее удивлению, мы оказались не из тех, которые «никого не едят», и были непрочь после «убойны» попробовать и вегетарианскую кухню. Как всегда в таких случаях, еда пришла на помощь не только нам, испытывающим неловкость от общего внимания, но и тем, кто брал нас под свое дружеское покровительство. Мы имели наконец возможность передохнуть и, работая ножом и вилкой, сосредоточиться на одном; слух и зрение все еще соединяли голоса и предметы, чьи-то фразы и руки соседей в кольцах и без колец, но ростбиф, но хлеб с отрубями... могли ли остаться без нашего внимания, когда мы были голодны!.. О себе скажу, что когда вошел Лев Николаевич, я менее почувствовал в себе «внутренний толчок», чем это могло бы быть, если бы я увидел его наедине, в другом месте, а не здесь, где все были заняты сейчас разговором и едой. Толстой поздоровался со всеми, потом с каждым из нас так же обыкновенно, как это принято в обыкновенных домах. Сказав нам что-то любезное, тоже обыкновенное, он подсел к ранее пришедшему и долго ожидавшему его человеку в блузе. Я заметил: подавая руку, он не смотрел, а вперялся невидимым за густыми бровями взглядом так, что получалось чувство ожога. Таилась ли в этом взгляде его особая сила, как многие думают, или такое ощущение являлось результатом психологического состояния впервые увидевшего Толстого и заранее приготовившегося встретить именно этот «проницательный взгляд» великого человека?

Вскоре около Толстого образовался за столом свой кружок — со своими особенностями лиц, со своей манерой разговаривать и молчать. И в то время как «с той стороны» слышались восклицания, смешливые фразы людей светских, живущих обычной жизнью и до-

вольных ею, здесь чувствовалась настоятельность, — разговор прерывался долгими паузами и налаживался как бы общими усилиями одинаково мыслящих, но чьи душевные переживания превосходили возможность их выразить. По сравнению с художником Ге, Толстой казался неумеющим, ненаходчивым собеседником, повторяющим самого себя и исполняющим ежедневную обязательную работу твердить об одном и том же своим мягким, беззвучным, ущемленным голосом. Нам, живописцам, привыкшим познавать людей по их внешним данным, было менее интересно слушать, о чем говорит он, чем рассматривать его лицо. При верхнем освещении лампы ясно выступали бугры лба, грубая лепка носа и скул не как основное что-то, а как лишь подробности окружения наиболее значительного из всего — глазных орбит с разлившейся в них тенью, в которой тускло мерцали две затаившиеся маленькие точки. Засветись эти точки поярче — перед нами был бы не человек, а некое существо с волчьими глазами. Но глаза не светились, прятаясь под нависшими бровями, и Толстой оставался человеком, то ли патриархом из мужиков, то ли лесовиком, который был «весь в бороде», то ли похожим на зверя, но на зверя укрощенного, усталого, с трудом выслушивающего человеческую речь.

Поворот в профиль — нечто другое. Почти тот же человек, но менее крепкий, даже совсем слабый, с жилистой, недостаточно прочной шейей, с усилием удерживающей будто перьями поросшую большую, светящуюся на затылке голову. Смотришь и с недоумением спрашиваешь себя: на кого он похож в эту минуту? Забыв о масштабах, среди множества сравнений невольно напрашивается, как это ни нелепо, одно: ошипанный куринок! Да, именно в профиль, в этом повороте, менее выгодном, но остро характерном, обнаруживается его второе лицо, быть может, то, которое он не хотел бы показывать никому.

В те моменты, когда около Толстого наступало молчание, можно было уловить обрывки продолжающегося на том конце стола светского разговора. Разговор шел о какой-то баронессе и был настолько «игрив» по содержанию, что

некоторые вопросительно между собой переглянулись.

Толстой слушает. По его лбу бродят морщины. Он жует кашу из муки Нестле, с усилием захватывая нижней челюстью ложку. Мы ждем, не выскажет ли он какого-нибудь замечания. На этот раз он ничего не сказал, но позже, в кругу своих близких, обмолвился: вот говорят о новой моде, а какая же она новая, если она похожа на старую. Коли нужно оголять женщину, так почему не с другого конца? Почему бы, например, не устроить декольте на пупке?

В этот вечер Толстой говорил мало. Его собеседники едва давали ему возможность обдумывать ожидаемые от него ответы. Каждый хотел завладеть его вниманием и спешил высказать то многое, наболевшее, что составляло муку теснившихся к Толстому сейчас и ожидающих от него решения. Когда сидевшие за столом собрались уходить, поднялся и человек в блузе. Он так же, как и другие, но более просто и горячо, торопился договорить начатое, подробно и обстоятельно, как-будто для того, чтобы покончить все разом, и извинялся за беспокойство.

Провожая до двери, Толстой, тронутый чем-то, успокаивал его: в нашем доме обычай — не судить никого!

С каким чувством мы уходили от Толстого, что думали о нем? Нашли или не нашли то, на что рассчитывали? Возвращаясь теперь в отдаленные кварталы, на Мещанскую, к Рязанскому вокзалу, в Лефортово, в свои бедные неприглядные углы, а завтра и ежедневно встречаясь в училище живописи за мольбертом или в курилке, мы обменивались впечатлениями о виденном в доме Толстого, вспоминали незначительные факты, но ни единым словом не касались того, что втайне каждый из нас думал. Время от времени мы навещали Татьяну Львовну группой или в одиночку, виделись со Львом Николаевичем, молчаливо изв'яляли ему нашу преданность, не находя поводов или не решаясь поговорить с ним «по душам». Чувство одиночества и в каком-то смысле покинутости не оставляло нас и при нем, а между тем уже давно все мы хотели согреться у его огня. Раньше, заочно стремясь к нему,

мы считали его «своим»; теперь же, познаваемый на близком расстоянии, он почему-то казался нам более далеким. Он все еще оставался для нас тем же притягательно родственным, но таким, который был способен вызывать в нас скорее восторженность, чем живое сердечное влечение. К кому еще нужно было обращаться нам, молодым художникам, застигнутым безвременьем и общественным распадом? Среди всех живших тогда только один Толстой соединялся с помыслами молодежи и мучительно, хотя и неудачно пытался решить с мужеством, присущим только ему одному, все тот же вопрос: что такое искусство? Не ради ли этого искусства мы обрекали себя почти наверняка на нищенскую жизнь, но где смысл этого искусства, кто разгадает его?

II

В доме Льва Толстого всюду—и в столовой, и в гостиной, и в других комнатах—было светло, уютно, но недоставало чего-то... И какое бы общество ни собиралось здесь, — богатые дамы, нищие курсистки, рабочие, интеллигенты, — все находилось на границе двух миров, не соединенных ни веселыми голосами, ни смехом, ни дружелюбной общей беседой. Кто главенствует в этом доме, кто дает душу вещам и душу единения? Сидит ли, проходит ли Софья Андреевна — все чувствуют неоспоримую силу этой всегда живой и приветливой хозяйки. Оглянешься — у стены стоит Толстой, неслышно вошедший в комнату и из-под нависших бровей пронизывающий колючим взглядом собравшихся. И все присутствующие также ясно чувствуют его неоспоримую силу во многом большем, чем его дом.

Однажды я был приглашен Софьей Андреевной в ее кабинет. Дружелюбно, будто давно знакомая, она показывала мне фотографии свои и Льва Николаевича разных периодов. Под наплывом воспоминаний она растрогалась, стала еще любезнее и сразу перешла на откровенность. Всегда выдержанная, тактичная, на этот раз она показалась мне странной, непохожей на себя.

— Вот вы и ваши друзья... Вы ходите к нам, интересно узнать — для кого? Не для моей же дочери, вашей

одноклассницы, Татьяны Львовны... Вы ходите к проповеднику Толстому! — Хотелось бы узнать, чему вы у него учитесь? Сознаете ли вы всю нелепость вашей привязанности к нему, отдаете ли вы ясно отчет в этом? Понимаете ли вы, что делаете?

— А разве мы делаем что плохое? — встревожился я.

— Плохое тут в том, что этот ваш пророк, окруженный такими, как вы, неопытными и наивными людьми, воображает, что он уже сам Мессия! Вы понимаете, в чем дело? А его писанья, писанья последних лет... Да разве можно их читать без ужаса и жалости за погибший талант! Чего же вы молчите? Неужели вы не видите, до чего он дошел и что ему еще остается... А ведь положено столько трудов... Столько трудов!.. Кажется, я отдала всю свою жизнь... Жили, работали вместе, и вот! — Вы слушаете? Когда вся, вся жизнь прожита, оказалось... оказалось, мы не понимаем друг друга.

Она заплакала. Мое замешательство усилилось еще более, когда в кабинет вошел Толстой. Он, вероятно, был где-нибудь рядом и в полуоткрытую дверь услышал рыданья жены. Он быстро схватил ее руку, прикоснулся головой к ее лицу.

— Ты нездорова? Что произошло?.. Что с тобой?..

Я вышел в гостиную, где наша компания — богема подтягивала вполголоса мотив цыганского романса под аккомпанемент гитары.

Толстой принимал большое участие в издательстве «Посредник», в редакции которого он иногда заставлял нас. Там обсуждались вопросы о картинах для народа. Нам было предложено делать акварельные копии с некоторых отвечающих этой цели оригиналов, находящихся в музее.

— Вы счастливец! — сказал мне раз Толстой. — Будете рисовать «Тайную вечерю». — Как вы относитесь к Николаю Николаевичу (Ге), любите ли вы его?

В доме Толстого все обожали этого художника. Не он ли вносил туда бодрость и праздничное оживление? Может быть, только один Ге и умел заставить забыть неблагополучие и разлад,

раскалывающие всю семью на глазах у всех, даже не совсем наблюдательных людей. Толстой любил Ге, и, кажется, только его одного и признавал за истинного художника. Ге отвечал ему тем же. Мы, начинающие художники, находясь среди этих двух величин, хотели услышать от кого-либо из них живое о своем любимом деле. Понимал ли Толстой музыку, как понимают ее одаренные «абсолютным слухом» музыкальные люди? В суждениях о живописи, во всяком случае, он не обнаружил этого понимания, присущего людям с талантом зрения. Ге не успел или не мог научить его такому пониманию в то время, когда Толстой уже успел найти в своем друге единомышленника по религиозным вопросам.

В редкие приезды в Москву Ге всякий раз навещал нашу компанию. Попадая в среду молодежи, он как бы погружался в свою юность. Если в семье Толстого он являлся примирителем двух миров, то в нашей среде он был мудрым толкователем нашего ремесла, просвещеннейшим знатоком живописи. И не оттого ли через некоторое время мы ясно могли разобраться в самих себе и понять, кто идет за Толстым и кто своею дорогой. После этого естественно происшедшего «отбора», бывая в доме Толстых, мы увидели, что большинство из нас там только случайные «пришельцы». Мы печатали на гектографе «Царство божие», хоронясь от полиции, относили отриски Татьяна Львовне и всегда с оживлением спрашивались о Николае Николаевиче. Толстой был здесь, рядом, а мы, за исключением двух-трех товарищей, хотели видеть не его, а исчезнувшего опять куда-то на свою пасеку и проводящего там годы в уединении, возбуждавшем энергию, нашего старшего собрата.

Предполагаемое издательство картин для народа не состоялось. Этим кончилась наша естественная связь с «Посредником» и лицами, принимавшими в нем участие. Толстой... Он остался в нашем сознании все тем же великим художником слова, обуреваемым познанием и мукой, не принявшим в своей жизни тех форм бытия, на которых настаивал.

Через год или два я опять пошел в

Хамовнический переулок. Та же дверь, тот же навес над нею, та же передняя с тем же разнообразием одежды, но какая разница в ощущениях! Или сам изменился, или личность Толстого в моем сознании стала другой, но где же то чувство, то первое чувство, похожее на чувство первой любви, переживавшееся мною не так давно среди этих же стен? Служащий пошел с докладом о моем приходе. — Не уйти ли домой? — Опять мелькнула та же мысль, заставившая когда-то меня и моих друзей задуматься, прежде чем прикоснуться к звонку у входа.

Нет, неудобно, ведь он хотел меня видеть сам, назначил день.

— Лев Николаевич просит вас подождать их в гостиной! — Один поднимаюсь по лестнице, в первый раз один буду с ним, а в сущности зачем эта встреча! Из ярко освещенной передней открытая дверь, в которую я должен войти, кажется мне прорубью с гасящейся в ней сумеречной мглой. Та же гостиная или зала с знакомыми, виденными вещами, слабо освещенными лампой с большим абажуром. Тишина. Отчетливо слышу гул Трехгорного пивного завода, стоящего по соседству. Странное сочетание — пивной завод, Лев Толстой и городской у его ворот! Будто в театре — для контраста собраны лица и вещи... «Дом — проходной двор» — вспоминаю слова Софьи Андреевны, ее растерянность, ее слезы. Пенie цыганского романса, объяснение с женой, замешательство домашних и недоумение моих друзей. Опять выход на сцену действующих лиц, появление известных, малоизвестных и случайных статистов, в роде меня.

Что он делает в эту минуту, тут рядом, за этой стеной? Пишет? или просто сидит? Думает? Как долго! Хотел меня видеть — интересно, но какая необходимость? Скрипнула дверь. Едва слышные, мягкие шаги. Он, Лев Николаевич. Здороваясь, подсаживается к столу около лампы, смотрит. Опять тот же, скрытый бровями, сверлящий, упорный взгляд.

— Ну, как живете? Давно не были...

Встречая его взгляд, я пытаюсь смотреть ему тоже прямо в глаза. Это занятие — кто кого переглядит — напо-

минает мне детство. Смотри, думаю я, — не поддамся! И отворачиваюсь. Он молчит, слушает. Мелькает мысль: с Николаем Николаевичем было бы проще. Ловлю себя на рассеянности, сержусь, забываю слова, нужные в этот момент, и еще более теряюсь. Кое-как снова настраиваюсь, продолжаю несвязный разговор... — «Узнать бы, за кого он меня принимает, за глупого или вз'ерошенного?» Толстой называет моих друзей, из которых кое-кого он видит часто. — «Интересно было бы написать его в этой позе, — думаю я, — с руками, положенными вот так. Но разве его когда-нибудь усадишь так же удачно. Темный фон, хорошее освещение...» — Расскажите подробнее о каждом из них. — Очнувшись, я догадываюсь, что он говорит все о том же, о моих друзьях. «Грубо, как бы топором обтесанное лицо... Скорее скульптура, чем живопись». — Толстой упорно на меня смотрит и будто настаивает, чтобы я продолжал. — «Брови как у Вия. Будто через изгородь мелькают осевшие в темных орбитах две серые точки...»

— Скажите мне что-нибудь о Голубкиной. Я слышал, что она хотела покончить самоубийством в Париже. Как это было?

Я сообщаю известные мне подробности этого факта: сначала она бросилась в Сену. Ее спасли. Потом — отравилась. — Чем? — Серниками. Толстой недоумевает. Поясняю и тут же догадываюсь: Толстой хорошо знает, что серники и спички одно и то же. — Ну а теперь? — с какой-то неуловимой тенью улыбки допытывается он. — Она здорова? Вы видаетесь с ней? — Да, мы встречаемся, но редко. Она нездорова. — Как, до сих пор? В чем выражается ее болезнь? — Толстой наблюдает за мной, я за ним... «Чужая душа потемки, а вот он видит меня насквозь... вот эти мои свои глаза. В порядке ли мои волосы?» — вдруг вспоминаю я и стараюсь при этом незаметно поправить свою прическу. — «Интересно узнать, за кого он принимает меня, что он думает обо мне в эту минуту?.. Умеет ли он улыбаться попросту, как все люди. Не попробовать ли рассмешить его как-нибудь...» — И опять ловлю себя: «Что

за мысли... Какие глупости... Это наверное от моей молодости...» И утешаю себя: «Каков я есть, таков и есть. Не все ли равно, что думает обо мне этот старик... А что, если я сделаю то, что делаю с приятелями, — схвачу его за плечо и скажу, что я люблю его. Засмеется он или удивится? Если удивится, значит он самый обыкновенный человек, не провидец, не мудрец».

— Теперь скажите мне о Николае Николаевиче, — говорит Толстой, не спуская с меня глаз. — Николай Николаевич? — вспоминаю я. — Да, да! — Я его очень любил, он был нашим другом.

Мои мысли в разброде, я думаю сейчас совсем о другом.

— Рукопись вашу о нем я прочел, о Николае Николаевиче, — будто глухому повторяет Толстой. — В рукописи есть недостатки... — Да, да! — равнодушным голосом подтверждаю я, как-будто речь идет не о моем, а о чьем-то чужом, неинтересном мне произведении. — «Говори, говори, — думаю я, — но что за охота в таких подробностях разбирать мой первый литературный опыт? Сам знаю — никуда не годится. Разве нельзя разговаривать о чем-нибудь более любопытном? Ну, яви чудо, какое-нибудь чудо, сделай так, чтобы с моего лица сошло то «обманное выражение», которое бывает у всех, напускающих на себя вид, что они внимательно слушают! Разве ты не знаешь, из какого мира я пришел?.. А мои друзья... Разве они не рассказали тебе, живущему в довольстве, о нашей жизни? Неужели твои зоркие глаза не видят чего-то самого важного, и ты считаешь нужным говорить так, а не иначе? Какой же у меня с тобой общий язык?» Я роюсь в памяти, — уже давно я хотел о чем-то его спросить, но забываю...

Провожая меня до двери, Толстой, коснувшись рукой моего плеча, говорит: «Я ее устрою. Она будет напечатана». — «Это он опять о рукописи... Все о том же... Кому это нужно?» — Однако, должен вам сказать, — добавил он, — писателем вы никогда не будете! — «А разве я этого не знаю? Разве для этого отзывается я приходил сюда?»

Пробормотав что-то извинительное, я быстро спустился по лестнице в перед-

нюю. На улице подумал: «Ну и хорош! Сидел столько времени, а ни о чем даже не спросил его! Все вышло как-то не складно, неинтересно...»

После этой встречи я никогда более не видел Толстого. Из моих товарищей только один Суллержицкий продолжал бывать у него, определенно, хотя и не надолго, стал его последователем и дуэтом. Остальные — Борисов-Мусатов и другие — ни в чем не изменили своей жизни и попрежнему занимались искусством, более состоятельные в Париже, наименее большинство — в Москве.

Не только профессионально, как художник, но и просто как человек я мысленно часто возвращался к Толстому. Часто я вспоминал свою последнюю беседу с ним, беседу, похожую на «игру в молчанку», когда я пытался разгадать его еще более состарившееся и почти окаменевшее лицо. О чем думал тогда этот великий «старец», будто навсегда заколотивший гвоздями движение своих лицевых мышц, чтобы не выдать юному зрителю, быть может, легковерному наблюдателю свои все еще неусмирённые, буйствующие силы? Трудно было допустить, чтобы этот запутанный и неразгаданный Лев Толстой мог остаться недвижимым на одном месте, в своей

Ясной Поляне, в этом Фарнэе, со своей славой, равной славе Вольтера!

Если я все время собирался поехать туда и, как не вполне опытный художник, не решался этого сделать и приступить к давно задуманному портрету, то о чем думали наши старшие, упуская такую исключительную историческую модель? Этот вопрос я случайно однажды задал Серову. «Угрюмый», прямой, как всегда, в своих суждениях, он ответил: — Толстой... я думал об этом... Но есть причины... Я не люблю его!

Бегство Толстого из Ясной Поляны, его смерть на распутье дорог, на неизвестной никому станции, не были для меня простой случайностью. Я подумал только — не слишком ли поздно! Мирровая печать придала бегству Толстого тоже мировое значение. Среди писателей всех стран нашелся и такой, который зачем-то счел нужным афишироваться: на месте Толстого я сделал бы то же самое. На такие мысли наталкивали эти многословные, издавна обычные торжественно-похоронные речи?.. Не проще ли было сказать, забыв о себе, что рухнул прежде всего человек, изнемогший от своих противоречий, в своем искавший правду и равенство на земле, — человек, которому дан был обременительный художественный гений.

Повороты

Главы из романа

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

(Продолжение ¹)

V. Гроза будет завтра

Покою не находил в эти дни Старостин ни дома, ни на заводе, ни в «Собрании». Такое было у него чувство, будто подземное разбурилось в нем, зовет, тревожит, — спать некогда.

А на чем было успокоиться?

Ходили делегаты (без батюшки) к директору завода, — директор едва не выгнал их из кабинета.

— Не позволю вмешиваться посторонним лицам в дела завода. Кого хотим, того и уволим.

И-и, как зашумело «Собрание» в тот вечер, когда вернувшиеся делегаты пересказали эти слова рабочим! На эстраду выскакивали один за другим и рабочие, и студенты, кричали, потрясая кулаками.

— Нас врагами считают? А-а-а! Мы им покажем. За-ба-стовку!

И «Собрание» дружным артельным криком прокричало:

— За-ба-стов-ку!

Стиснув зубы, слушал Старостин, и будто поршень ходил по всему его телу, — дрожмя дрожал он: такая неистовая сила, ему самому непонятная, забурлила в нем. Он всеми корнями своими возмущался, когда думал о смутьянах, а теперь... смутьяны говорят то, что он сам думал.

Три свободных дня рождества — было праздником, — стол с белой скатертью, окорок, бутылки с вином и водкой, кедровые орехи — всё

как у людей. Ныне не вышло праздника. В первый день, только от обеда пришел Старостин, успел разговесться, Григорий Михайлович в дверь:

— Пойдем скорее в «Собрание». Батюшка обещал рассказать про дела.

Марина завздохала:

— Да куда вы в такой праздник? Дома посидите. И то я не вижу Пашу целыми сутками.

Куда тебе дело годно, — рукой оба махнули: «Какой там праздник?» — ушли. И перед накрытым рождественским столом осталась одна Марина с ребятишками...

А Григорий Михайлович всю дорогу трубил трубой:

— На войне в пух-прах нас разбили, Мукден у нас взяли. Хлеб на копейку подорожал. Правов у нас нет. Гляди, господа — и те права стали искать. А мы молчи? Ну, нет! Прошла их лафа. Надо и нам подыматься. Нас много. Мы — сила.

Старостин шел молча, хмуро, про себя взвешивал каждое слово Григория Михайловича. Потом сказал:

— Эх, государь не знает. Досталось бы от него министрам и господам. Ты гляди, директор этот, ведь зря мутит народ.

Григорий Михайлович вздохнул:

— До бога высоко, до царя далеко.

— Как далеко до царя? Пойти всем народом, молить, просить, сказать... Он беспременно услышит. Как никак, отец наш!

— Тут поговаривают насчет этого, чтобы пойти, да я плохо верю. Не допустят до царя.

¹ См. «Новый Мир», кн. 1 с. г.

В «Собрании» протиснуться невозможно. Народ стоял плечо к плечу. Двое тискались, тискались в зал, не протискались,—остались в сенях. Старостин сказал сумрачно:

— Эх народу! будто на пожар сбегались.

Григорий Михайлович откликнулся живо:

— А что ты думаешь? Знамо, пожар. И похоже, не дом горит, а вся Россия загорелась. Ночи не сплю, думаю, как оно будет. И все кажется: кирпич на голову летит.

Высокий костистый рабочий с зеленым лицом посмотрел в лицо Григория Михайловича, сказал:

— Верно, кирпич на голову. Слышали? Директор и батюшке отказал. Теперь пойдут к фабричному. Если и фабричный откажет, тогда к градоначальнику.

— При чем здесь градоначальник?

— Как при чем? К кому же нам тогда идти?

— А если градоначальник откажет?

— Тогда... поглядим.

Тут и Старостин вмешался:

— Тогда, братцы, прямо к царю. Это что же делают с нами?

Из-за плеч высунулся молодой парень с задорной мордой, подмигнув Старостину.

— Пойдите к царю, пойдите. Он вас только и дожидается. Угощение припас свиное.

Старостин в момент оцетинился:

— Ты! — крикнул он. — Начитался прокламаций? Смутьян! Смотри! Я тебя заставлю прикусить язык.

Малый засмеялся, нырнул за плечи.

— Экая окаянщина полезла! — сердито сказал Старостин.

— Ты не больно на него сердись.— ныне все ищут правды.

— Знаю я, какая им нужна правда. Им бы только народ мутить.

Битых два часа простояли на холоду Старостин и Григорий Михайлович: не могли пробраться в зал. Погреться пошли в трактир. И в трактире было битком, и те же рабочие сидели за столиками. Орган гремел «На сопках Манчжурии», звенели голоса и стаканы, лица у всех были возбужденные — от водки и от разговоров,— не разобрать. Григо-

рий Михайлович оглядел трактир, тронул Старостина по коленке:

— Гляди-ка, брат, здесь те же речи.

Старостин безнадежно махнул рукой.

— Пропадает Россия!

Он оглядел соседние столы, уставленные бутылками, и что-то буйное тронуло его за сердце: «Напиться, что ль?» Но в тот же миг перед ним выплыли глаза отца Георгия: «А что он скажет?» И порыв пропал.

— Может быть, водочки выпьем для праздника? — спросил Григорий Михайлович.

— Что ты? Какая теперь водка? В роде исповедь идет, а ты — водка. Брось!

Григорий Михайлович уткнулся в пол:

— Да, празднички... Народ пьян без хмеля. Пятьдесят лет живу на свете,— такого не видал. Что делать? Умом не прикинешь.

До скорых зимних сумерек они сидели в трактире, опять вернулись к «Собранию», но толпа там опять не пустила: народу было больше, чем днем. На узком дворе и у крыльца стояли кучки. У всех на морозе шел пар изо рта, говорили много, и слова были раскаленные. Старостин смотрел, слушал,— и от утомления что ли? — думы были тоскливые:

«Народ пьян без хмеля? Пожаловаться бы государю».

Работы на заводе начались на третий день святка. Старостин боялся, что теперь придерутся к его самой маленькой оплошности и уволят, как члена «Собрания». Он пришел раньше других, встал у своего станка. В цехе еще было тихо. Входная дверь хлопала все чаще,— рабочие входили молча, здоровались сдержанно:

— Здорово!

— Здорово!

— Ну, как праздник?

— Какой же теперь праздник? Не до праздника. Ныне работаешь, завтра выгонят.

— Да. Придется, пожалуй, пошебаршить.

— Забастуем в случае чего... Каждый за одного, один за всех.

Все подмигивали по-особенному, говорили с оглядкой, как настоящие за-

говорщики, и ни смеха не было, ни шуток, как бывало после праздников. Сдержанность, короткие торопливые разговоры, задор в словах опять взбудоражили Старостина,—ему чего-то хотелось делать, кричать, спорить,—буйная сила забродила в нем, как дрожжи. Но побежали приводы, зашумели станки,—бодрый шум поднял небывало.

— Эх, товарищи! И надоела же такая жизнь!—во все горло крикнул Старостин, заглушая шум, и стукнул кулаком по станку.

На него оглянулись, закивали головами, заулыбались. Кто-то лихо свистнул, свист резнул воздух. В углу кто-то запел и разом оборвал песню. Все будто захмелело.

В обед, вечером, на заводе, на улицах, дома, в «Собрании» все говорили только о батюшке.

— Батюшка пошел к градоначальнику.

— Батюшка завтра в последний раз пойдет к директору. Если откажут, забастует.

И эти слова,—забастуем, забастовка,—страшные еще несколько дней назад, теперь стали обычными, как слова самые простые.

В канун нового года пошабашили в четыре часа,—вся улица перед воротами завода покрылась тысячными толпами рабочих. Домой бы надо,—гужем, гужем, как каждый вечер. А теперь встали кучками. И точно обжигающая искра от толпы к толпе перебрасывалась весть:

— Батюшка ныне в последний раз был у директора.

Старостин вздрогнул. «Вот сейчас... сейчас самое оно». И нетерпеливо спросил:

— И... что ж директор?

— Директор отказал.

Старостин выпрямился.

— Ага? Так?

И стал спокоен небывало.

— Забастовка! Ура! — крикнул мальчишеский голос рядом.

Толпы двинулись по улицам, вдруг стали говорливы,—говором подбадривали друг друга.

«Эх, государь-то не знает! Ничего-то он не знает, что с народом делают. Попало бы директорам...»

Хотел удивить Старостин Марину: сказал, что забастовали. Но едва порог переступил, а Марина ему навстречу со смехом:

— Ну, забастовщик, как дела?

Он улыбнулся:

— Откуда узнала? Аль сорока на хвосте принесла?

— Вся слободка говорит. Как жить-то будем, ежели без работы? У нас хоть двое ребят, а ведь у иного, гляди, шестеро.

— Ну (Старостин запнулся), как-нибудь проживем. Будем помогать друг другу. Гляди, весть до государя дойдет, он узнает, заставит все разобрать. Не без того.

Марина поглядела на иконы, потом на портрет государя, сказала со вздохом:

— Господь-то бы батюшка!

И засмеялась:

— А ты заметил, Паша? Народ-то... у праздника все себя почуяли,—смеется да шутит. Будто помолодели все.

Старостин скупно улыбнулся.

— Что ж, может, в самом деле праздник? Никогда такого не было.

В новый год толпы рабочих ходили по улицам, но не было ни громких песен, ни смеха, как бывало. И мало пьяных. Конные городовые с белыми султанами на шапках разезжали по улицам. Их сторонились. Но не ругали. Провожали молча. И в этом молчании чуялось то самое затишье, что бывает перед грозой.

И все-таки даже в этот осененный зловещьем день Старостин не изменил себе: после обеда всей семьей ходил гулять по улице с Мариной, Гришей и Наташкой. У Наташки был новый капор из белого пуха,—кареглазая, румяная, она солидно, как мамаша, шла рядом с отцом.

Вечером ходили к «Собранию» трое: сам Старостин, Марина и Григорий Михайлович. В зал они не попали,—все было битком набито народом: и двор, и улица около. Полицейские стояли целым отрядом,—рослые городовые в черных шинелях, франтоватые околоточные в шинелях серых. Если бы какое ругательство,—живо бы они расправились. А не было ни криков, ни ругательств. И так стояли две силы на-

стороженно, молча, будто меряли одна другую.

Утром едва Старостин в урочный час подошел к своему станку,— по цеху пронесся взволнованный, торжествующий крик:

— Кончай работу!

И рабочие, одеваясь на ходу, торопливо высыпали на двор. Где-то еще пыхал пар: «пах! пах!», все реже и реже. И перестал. Тишина над заводом встала оглушающая. Или так показалось Старостину? Он всегда помнил только грохот и скрежет на этом дворе и в этих корпусах. Из цехов молча выходили рабочие,— длинным плотным гужем,— десятки, сотни, тысячи. И никогда будто не было их столько. Они плотно запрудили двор. Кто-то в черной шапке поднялся над черной толпой, замахал руками, закричал:

— Не встанем на работу, пока не примут наших товарищей!

— Не встанем! — гулом ответила тысячная толпа.

— Не встанем на работу, пока мастер Тетявкин здесь!

— Долой Тетявкина!

— А теперь расходитесь тихо. Дисциплина, товарищи!

— Ура!

— Вот это по-нашему,— вслух одобрил Старостин (ему очень понравилось, что в такую минуту говорят о дисциплине).

И черные толпы... целая армия — тринадцать тысяч — медленно потекла с заводского двора в раскрытые ворота. Нигде не было видно ни инженеров, ни мастеров, ни сторожей. Кто-то высоким тенором запел «Дубинушку»: «Много песен слышал я в родной стороне...» Но со всех сторон на певца закричали:

— Прекрати! Не время!

Пожилый низенький рабочий заглянул испытующе в лицо Старостина, сказал:

— Еще подумают: безобразие чиним. Петь не нужно. Зачем песни? Мы так... молча. Время для песен придет.

И это Старостину тоже понравилось: запрещают петь. Разве теперь до песен?

Какие дни! Какие дни наступали! В них было много беспокойства, словно холодный ветер дул за шею под рубашку, и тоски много было, — человеку свойственно тосковать по спокойной жизни, — и задора много, и буйства.

Старостин уходил к «Собранию» утром в те самые часы, когда он обычно ходил на работу,— привычка гнала его из дома. В «Собрании» уже было полным полно:

— Ну, что? Как? Ответа нет?

— Пока нет. Батюшка ныне пошел к министру.

— Слыхали? Его хотят арестовать?

— Не дадим. В случае чего отобьем.

— Охрану надо поставить. Выбрать... которые потверже. Вот тебя, Старостина!

— Что ж, не откажусь.

— Кто откажется? Ребята, а ну, заявим в комитет, что мы желаем в охрану.

— Не все прите. Кто посильней.

— Захочет ли батюшка? Он ничего не боится. Божье дело без страха делает.

— Он-то не боится, да мы за него должны бояться. Нас тысячи, а он у нас один. Побережь надо.

И самотеком выбрали охрану, Старостина в первую голову,— рослый, здоровый, с гвардейской выправкой, наш, твердый.

К вечеру у «Собрания» необозримо стало народа: ждали батюшку от министра с ответом. Лихорадка трепала всех, так велико было нетерпение. Черная плотная многотысячная толпа заполняла двор и улицу. Глухой говор вздымался грозовым гулом. Нельзя было разобрать лиц, — только черная плотная масса. Одинокий фонарь скупо светил над толпой.

— Едет, едет! — крикнули в задних рядах на улице.

И каждый из этих тысяч повторил:

— Едет.

Узкий проход по толпе протянулся от ворот по двору, к крыльцу, к залу. Все сняли шапки. Батюшка прошел быстро, словно пробежал. На ходу он благословлял толпу. Он не вошел в залу. Он остановился на крыльце. Мгновенно гул стих. Старостин издали видел только неясное пятно батюшкина лица. Звонкий знакомый голос заговорил:

— Братья-рабочие! Товарищи! Были мы у директора завода, ничего не добились. Ходили в правление, ничего не добились. К градоначальнику ходили, тоже ничего. К министру — ничего...

Он умолк. И в момент тишина стала страшной.

И вдруг голос батюшки поднялся до высоты небывалой:

— Так пойдем, товарищи, к самому царю!

И Старостин уже не голосом, а всем сердцем, всем существом своим крикнул в ответ:

— Пойдемте! К царю!

И вся толпа — во дворе, в зале и на улице — ответила артельным стоном:

— Пойдем! К царю!

— И если надо будет (теперь голос батюшки был глуше)... и если надо будет, головы сложим, а своего добьемся.

— Сложим! Добьемся!

Батюшка взмахнул рукой, благословил в последний раз, скрылся в черной пасти двери. Толпа заворчала глухо, страшно...

Давно, давно, в детстве раннем, были пасхальные ночи, — ждал их с радостью Паша... Пойти ночью с фонарем в церковь — к Покрову сначала, там сидит нарядный народ в благовейном молчании, ждет, ждет светлого христово воскресения. Одинокий голос читает перед гробницей святую книгу. В темной церкви голос звучит звонко, таинственно, зовет куда-то... Потом от Покрова пойти к Троице. В эту весеннюю ночь и лицом, и сердцем чувствуешь весну: она вот здесь стоит, за забором. Грязь под ногами закорела от весеннего морозца. Пусть закорела, — завтра встанет новое, великое солнышко, все растопит, все согреет, все воскресит. Разноцветные фонари плывут по улице.

Детство! Где же? Давно нет... Но эти вот ночи и дни Павлу Старостину стали опять как пасхальная ночь в детстве.

Хмурый лохматый парень из комитета (литейщик) повел Старостина к отцу Георгию в комнатку, что за эстрадой:

— Батюшка, мы решили охранять вас. Вот один из охраны.

Батюшка вскинул усталые глаза на Старостина, потом на комитетчика.

— Зачем это?

— Нельзя. Вас могут арестовать... Вы сами понимаете, как вы нам дороги.

— Ну, спаси христос.

Он ласково улыбнулся. Лохматый комитетчик пробасил:

— Старостин человек верный. Наш. Он не выдаст в случае чего.

— Я знаю Старостина. Тебя кажется Павлом зовут?.. Ну вот. А теперь, друзья, я прочитаю просьбу к государю. Я написал. Вот прочту.

Он говорил неровно, будто смущение связывало его и мешало развернуться. Он торопливо вынул из кармана бумагу, пошел к двери, что вела на эстраду. Сдержанный гул в зале оборвался. И батюшкин голос в суровой тишине запел: «Царю небесный». И множество голосов артельно откликнулось: «Утешителю, душе истинный»...

Здесь, за эстрадой, трое рабочих перекрестились.

— Братья-рабочие! — зазвенел взволнованный батюшкин голос, когда кончили петь молитву. — Я прочитаю сейчас вам просьбу к царю... Кто хочет сделать дополнение, пусть скажет.

— Просим, батюшка!

— Государь! Мы, рабочие и жители города Петербурга, наши жены, дети и беспомощные старцы-родители пришли тебе, государь, искать правды и защиты.

Голос батюшки звенел все выше, яснее и тверже.

— Мы бесправны, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся, как к рабам. Мы нищи, но нас толкают все дальше и дальше в омут нищеты, бесправия и невежества. Нас душит деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь! Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук...

Батюшка на момент умолк, и в жуткой тишине было слышно, как он глубоко вздохнул:

— И вот мы, — прочитал батюшка с новой силой, — мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не можем работать, пока они не исполнят наших требований...

Старостин дрожал, его сподыма била лихорадка. Каждое батюшкино слово падало как зов. Будто властный кто взял всю его волю — и сердце и, может быть, самую жизнь взял в свои грабастые руки — и тащил, куда хотел.

— Все, о чем мы просим, оказалось, по мнению наших хозяев, противозаконно. Всякая наша просьба — преступление, а наше желание улучшить наше положение — дерзость, оскорбительная для наших хозяев.

— Государь! Нас здесь больше трехсот тысяч, — и все это только по виду люди, по наружности. В действительности же за нами, как и за всем русским народом, не признают ни одного человеческого права, даже поговорить, думать, собираться, обсуждать наши нужды, принимать меры к улучшению нашего положения не разрешают.

— Весь рабочий народ и крестьяне отданы на произвол чиновников правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей...

Батюшка читал. А здесь, за перегородкой, все стояли напряженно, неподвижно, боясь переступить с ноги на ногу. Толстоусый рабочий стоял у самой двери, — прямой, строгий, неподвижный, похожий на тяжелый камень... вот сорвется, полетит, — берегись, кусты и травы!

— Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы, они направлены не к злу, а к добру как для нас, так и для тебя, государь!

Батюшка стал медленно перечислять, что хотят рабочие. Он бросал слово за словом. Толпа глухо одобрительно вздыхала. И, слушая это длинное перечисление, Старостин думал: «Как мы живем? Ничего у нас нет».

— У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу. Укажи, государь, любой из них, — мы пойдем по нему беспрекословно, хотя бы это был путь смерти. Пусть наша жизнь будет жертвой для пострадавшей России.

Голос оборвался. В каменной тишине кто-то вздохнул тяжело, кто-то кашлянул, — и в кашле были слышны скрытые слезы.

— Теперь скажите, верно ли здесь написано о наших нуждах? — простым, прежним голосом спросил батюшка.

— Верно! Правильно! Хуже собак живем. Поныкают нами!.. — откликнулись сотни голосов.

И зал долго гомонил ворчливым гомоном.

— Кто согласен подать эту просьбу царю, пусть подписывается.

— Все согласны!

— В воскресенье идем подавать.

— Идем! Все идем! С бабами, с ребятами!

— Да примет ли? — усомнился кто-то.

А другой голос уверенно и твердо ответил:

— Примет. Как это говорится: в небо приходящим отказу не бывает.

Батюшка вернулся в комнату. Он был бледен, волосы слиплись от пота, он дрожал, беспомощно опустился у стола и так сидел минуту неподвижно. Потом поднялся сразу:

— Мне надо на Выборгскую. Еду.

Через черный ход незаметно вышли четверо, чужим двором на другую улицу. Шли быстро, почти бежали. У забора в тени ждали два извозчика. Отец Георгий и лохматый молодой рабочий сели на одни сани, Старостин и другой рабочий с широченными плечами на druhé. И помчались быстро по улице. Старостин из-за спины извозчика все высматривал, благополучно ли на первых санях. Отец Георгий поднял воротник шубы, — даже верх шапки не был виден сзади. Проехали по Галерной, потом по набережной мимо адмиралтейства и Зимнего дворца. Старостин долго смотрел на темные дворцовые окна.

«Где государь? Знает ли он, что мы собираемся к нему?»

На Выборгской стороне, в полутемной улочке возле деревянного домика, плотно стоял гудящий народ. Плечи, спины, головы, головы. Окна домика ярко светились и видать было, в доме тоже полно народа. Толпа поспешно расступилась, извозчики подъехали к крыльцу. Рабочие бросались к саням помочь батюшке выйти. Батюшка вышел из саней, пошел к крыльцу, благословляя. Над крыльцом висела вывеска, — Старостин успел разобрать на ней два первые слова: «Выборгский отдел». Батюшка и за ним трое провожатых горюливо поднялись на крыльцо, прошли через тусклый коридор, где тяжелыми стенами справа и слева стояли рабочие. Все стремительно сняли шапки, склонили головы под его благословение. В задней комнате, за эстрадой, батюшка

сбросил с себя шубу, шапку, полосатый шарф, размашисто причесал волосы. Пятеро окружили его, он их благословил, они целовали его руку. Он, волнуясь, спросил:

— Ну, что? Как?

Они отвечали наперебой. Старостин про себя отметил: «Здесь тоже любят его». И эта мысль теплом пролилась по его телу. Высокий рабочий со сросшимися бровями, как у фельдфебеля Солохина, испытующе поглядел на Старостина. Батюшка заметил его взгляд:

— Это мои друзья, не беспокойтесь. Они боялись, что меня арестуют, вот... провожали.

Острый взгляд рабочего сразу стал дружелюбным.

— Теперь пусть не беспокоятся. Мы не выдадим.

Батюшка заторопился:

— Да, да, вы теперь свободны, друзья. Можете идти. Спасибо.

И повернулся к высокому рабочему:

— У вас все готово? Я прочту сейчас.

— Ждем, батюшка, пожалуйста.

Батюшка вышел на эстраду, и тотчас множество голосов запели: «Царю небесный». Голос батюшки постепенно слабел и совсем утонул. Молитва кончилась, и в напряженной тишине сильный батюшкин голос сказал:

— Братья! Вы уже знаете все. Вы знаете, что нам отказали все: и директор, и градоначальник, и министр. У нас остался только один путь — пойти с нашей просьбой к нашему государю.

Толпа прогудела гулом:

— К государю!

— Я прочту сейчас вам ту просьбу, которую мы понесем государю...

Было уже поздно, и конки не ходили, когда Старостин вышел с Выборгской стороны. Рабочие расходились, тихо разговаривая. Они будто таяли в полутьме. Морозный снег поскрипывал под ногами. Старостин плотнее надвинул шапку, пошел привычным гвардейским шагом, — прямой, сильный, в такт шагу махал руками. Домой можно было пройти через Екатерининский канал, — здесь ближе, — но от Литейного моста он свернул по набережной мимо Зимнего дворца. Темной громадой подымался

дворец над рекой. Гвардейцы-часовые закутанные в шубы, стояли возле полусатых будок. Все окна дворца были темны. Дворец казался глухим, таинственным и страшным. Черная низкая крепость неясно маячила за оледенелой Невой. На фоне красного ночного неба виднелся шпиль собора, как игла, воткнутая в облака. Старостин шел по набережной вдоль гранитного барьера и поминутно оглядывался на дворец. Кругом было светло, — и впереди на Дворцовом мосту и сзади, за Летним садом, лишь дворец и крепость стояли темные, грузные. Он ускорил шаги, — хотелось скорей выйти к свету, — слишком долго тянулась темная громада дворца, долго, долго, через всю жизнь. Щекочущие мурашки побежали по спине... Но уже близко блеснули огни Дворцового моста — дворец остался позади. Он опять подумал о государе: «Что он теперь делает? Знает ли о наших сборах?» И на память пришла фраза из батюшкина прошения: «Пусть наша жизнь будет жертвой для исстрадавшейся России».

За Нарвской заставой улицы были созсем пустые, лишь городовые чернели столбами на перекрестках. В окнах нигде ни огонька, только квартира Старостина была освещена. Марина встретила мужа одетая. У ней провалились глаза. Она заговорила сердито:

— Где тебя пес носит? Измучилась, не спамши. Хотела бежать разыскивать. Такое время, а тебя с собаками не сыщешь. Аль Матрешку какую завел?

Старостин насупился.

— У, дура-баба. Самое время про Матрешку думать. Сама знаешь, без дела не хожу. Ежели опоздал, значит надо.

Марина смягчилась: верно, муж такой — без дела не пропадает.

— Да ведь беспокойно. То ли тебя убили, то ли в полицию увезли. Вся жизнь набекрень. Ныне и мы забастовали.

— И вы? Вот здорово. Весь мир заодно.

— Крещение завтра, а все будто забыли о нем.

Старостин аж выпрямился:

— А ведь правда. Я-то совсем забыл. Ну, положим, дни такие, как не забыть?

VI. Капун

В пятницу — это было на другой день после крещения — с утра забастовали в Нарвском районе все фабрики и заводы. Улицы стали людными небывало. На углах везде чернели толпы. По мостовой и тротуарам валил гужем народ. Говорили, говорили взволнованно. И через два слова в третье:

— Батюшка! Отец Георгий Гапон. К царю.

И чаще других это слово:

— К царю.

У великого небывало праздника чуяли себя люди: к царю!

— Узнает всю правду царь-батюшка, он задаст генералам и градоначальникам. Ишь, градоначальник-то везде афишки развесил: «Не допущу шествия, подавлю войсками». Мы посмотрим, как подавишь. Как бы самому не подавиться.

И всем было тревожно и радостно, будто шли люди по тонкому ледку через глубокую реку, — лед гнется, вот провалится, утонешь, а перейдешь, будет радостный берег. И, готовясь к великому празднику, люди чистились и мылись. У Быковых бань стояла очередь мужчин — хвостом на полквартила. Старостин, проходя мимо, слышал смешливый разговор:

— Эж, растянулись. Гляди, замерзнете, пока ждете.

— А как же? Надо. День такой идет... в роде пасхи.

Городовые по-трое ходили по улицам. Мальчишки при встрече с ними запевавали песню: «Вот мчится тройка удалая». По толпе перекатывался смех. И городовые скупно улыбались. У «Собрания» густая толпа стояла с утра: ждали батюшку. Старостин протолкался к крыльцу. Сначала на него кричали: «Куда лезешь? Жди, когда дойдет очередь». А он говорил коротко: «Я охраняю батюшку» — и ему немедленно давали дорогу. Народ здесь стоял плечом к плечу. Лишь эстрада была пуста. Вдруг по толпе пронесся шорох:

— Батюшка приехал!

И говор моментально смолк. Толпа раздвинулась. Батюшка проходил по широкой дорожке, благословляя толпу. Старостин заметил: все, кто были в за-

ле, влюбленно смотрели на него. Лицо у батюшки похудело, глаза стали больше, будто за эти три дня он вынес тяжелую болезнь.

За эстрадой в маленькой комнате батюшка снял шубу, причесался:

— Ну что ж, пускайте в зал партиями, — сказал он, — сколько вместится. Я прочту сначала одним, потом другим. У дверей надо поставить распорядителей. У вас уже есть?

Председатель — коренастый, чернявый — поспешно ответил:

— Да, у нас есть... Вот Старостин.

— Ага, Старостин? Очень хорошо. Еще кого-нибудь с ним. Двоих будет достаточно.

Старостин и еще поджарый рабочий с большой рыжей бородой пошли к дверям.

— Входи, сколько можно. Батюшка сейчас будет читать бумагу.

Толпа сжалась, уплотнилась. Взволнованный голос батюшки зазвенел над головами:

— Братья-рабочие. Товарищи...

Старостин стоял на крыльце у верхней ступеньки лестницы, растопырив руки, чтобы не пускать других рабочих. Дверь не затворялась, клубы пара перекатывались над головами. Все слушали напряженно. И те, кто стоял в дворе, напряженно вытягивали шеи, открывали рот. Старостин несказанно радовался этому напряжению, — так было велико желание услышать батюшку. Седой старик с растрепанной бородой, с красными глазами спросил громким шорохотом:

— О чем говорят? ровалится:

И его моментально остановили ураки вы с

— Молчи. Сейчас сам услышишь сказ.

Голос батюшки то утих, сердце слышно его было, — то по бури, и в нем гремел гнетящий пятого, по звуку. — Правильно ли наслулся Старостин и ваших нуждах? — грозеваться. Марина шорох окончив чтение.

— Правильно! — лась толпа. Сейчас зазвонят. Ты к

— Все сого готова с чаем. И чтоб со-просьбу?

— Все! — дано. Ты сапоги-то новые наде-

— Так и дим ему Новые, когда и обновить-то, как

— Ид этот день?

Толпа в зале тихо задвигалась, пошла в другие двери. А с этого конца полилась другая, еще более настойчивая и напористая. И видать было: на дворе и на улице народ все прибывал. Все ждали, терпеливо переминаясь с ноги на ногу на холоду. Уже восьмая партия вошла в зал. Кто-то из толпы дернул Старостина за руку. Это был Костя.

— Ты, что распорядитель?

— Да... вот... выбрали.

— Я пришел послушать.

— Послушай, послушай. А в воскресенье-то пойдешь?

— Еще не знаю. Посмотрим.

Старостин нахмурился.

В этом «посмотрим» он услышал недоверие к святому батюшке и ко всему рабочему делу.

— Чего же смотреть? Все ясно.

Костя понизил голос:

— Я завтра к вам приду. Я хочу тебе сказать кое-что. Ты будешь дома?

— Приходи.

Он посмотрел на Костю холодно: «Они все такие... социалисты». И ему было чуть-чуть досадно, что вместе с другими рабочими, настроенными молитвенно, идет в зал слушать святого батюшку Костя, который говорил недоверчиво «посмотрим». И даже ногами-то он ступал не так, как все.

Перед вечером пришла Марина. Она дернула мужа за рукав, зашептала:

— Почему обедать не пришел?

Лицо ее сияло: ей нравилось, что ее по распоряжается здесь.

Мария Я ждала, ждала.

Толпак же торопливым шопотом от-
— К

— Я п...? Некогда. Пообедать ус-
которую м

Было уже видешь-то? когда Старост стороны. Рабоч — крикнул голос из разговаривая. Он. тьме. Морозный с. не обращая внима- ногами. Старостин ; шапку, пошел привыч. шагом, — прямой, сильн. имо народ в махал руками. Домой мож. толпе. ти через Екатерининский в. тростоял он ближе, — но от Литейного тысячи и свернул по набережной мим. что бьет- дворца. Темной громадой п

— К царю! К царю!

Уже поздно ночью по пустым улицам он вместе с пятью другими рабочими, «что покрепче и повернее», провожал батюшку на Выборгскую сторону. Уже открыто везде говорили: «Батюшку ищут, хотят арестовать. Батюшка у себя не ночует». И острый холодок дул ему в спину, когда он на извозчике скакал вслед за батюшкой по пустым улицам. Вернулся он домой за полночь пешком, вконец измученный, встревоженный и вместе счастливый.

Марина ждала его, не ложилась. Сияющими глазами она смотрела на мужа.

— Знаешь что, Пашенька? Мы все пойдем. И Гришку возьмем и Наташку. Домовничать Анютку оставим. Да ей-богу право! Хоть раз в жизни посмотреть царя-то. А то только на портрете и видишь. И ребятишки пусть посмотрят.

— Ты иди обязательно. А вот ребята... не холодно ли будет?

— Одну потеплее. Наташке-то я бу-мазейные панталончики сшила, не будет холодно.

— А ты слыхала? Градоначальник грозит подавить оружием.

— Слыхала. Как не слыхать? Да только никто не верит. К царю идем, а тут вдруг стрелять. Что они, дураки, что ли? Царь узнает, он им задаст.

Старостин не нашел, что ответить. Марина понизила голос, оглянулась:

— Поглядела я на тебя, — всех-то ты выше, да всех красивше. Краше тебя и нет никого.

Она подошла к нему, положила руку на плечо, заглянула в глаза. Он прогудел:

— Будет зря говорить. Гляди, Анютка услышит, ребятишки проснутся. Убери хлеб, туши лампу.

Утром чуть свет он был в «Собрании». Председатель дал ему три листка, написанные широкими буквами:

— Прикрепи-ка у ворот на улице и у нас на дверях.

Старостин взял листы, банку с клеем, пошел к воротам. Пока он намазывал лист и приклеивал его, густая толпа встала за его плечами, несколько голосов читало вслух:

«В воскресенье, 9-го января, в 2 часа дня рабочие и жители города Петербурга соберутся на Дворцовой площа-

ди для подачи государю петиции. Рабочим Нарвского района собраться здесь, у отдела, в 10 часов утра».

После полудня опять приехал батюшка, и те же толпы полились через зал. Какая-то мешчанка, уже выходя из зала, поскользнулась на узком неудобном крыльце, упала, зашибла руку, застонала. Старостин забеспокоился: «Будут падать, рассердятся на нас, на батюшку». Он встал у крыльца и говорил выходящим:

— Тише, товарищи, не поскользнитесь на крыльце. Тише, не упадите.

Хотелось ему, чтобы в эти дни ни у кого не было беды.

Батюшка уехал рано. («Надо ему об'ехать все тринадцать отделов. Легко ли?»). Старостин вернулся домой, когда только-что зазвонили ко всеобщей. Колокола звонили так гулко, как никогда. Он шел и удивлялся: «Гляди, и колокола чувят, что завтра великий день,—народ пойдет к царю». И только у механического завода Кроль он понял, почему громко звонят колокола: заводы молчат, фабрики молчат — колокола заговорили громче.

Марина встретила его встревоженная: — Костя сейчас был. Не велит мне ходить завтра. Говорит, что солдатам роздали патроны, стрелять будут.

Злой бес толкнул в сердце Старостина:

— Дура! Кого слушаешь? Социалиста? Царева врага? Нешто это мыслимо, чтобы в народ стрелять?

— А в афишах тоже сказано: будут стрелять.

— Стрелять будут в тех, кто производит беспорядки. А мы нешто сделаем беспорядок? Батюшка впереди, мы за ним... А социалисты не должны вмешиваться. Это наше дело идти к нашему царю. Социалисты пусть постоят в сторонке.

— А еще Костя говорил...

Марина запнулась.

— Что говорил?

— Не знаю, уж как сказать... будто батюшка-то нанятой.

— Как нанятой?

— Будто полиция его наняла.

— Что-о-о?

Глаза у него побелели, усы ошети-

лись. Марина отодвинулась от него на шаг:

— Что ты так на меня вылупися? За что купила, за то и продаю.

Он всеми десятью пальцами, точно клещами, схватил жену за плечи и, размеренно ее встряхивая, забормотал:

— Ты ему... подлецу... скажи, что если... он еще... придет к нам после этого... я ему обобью... уши. Ах, подлец! А? Святого человека, нашего заступника, так охаять. Да я ему!..

Марина смотрела на мужа с испугом: никогда она не видела его в такой злобе.

— Ну, будет, будет тебе сердитовать! — закричала она. — Знамо, он тоже рассказал, что слышал. А ты уже все на его голову валишь.

— Знаю я этих социалистов. Они завиствуют. Они хотят на первом месте быть. А на первом-то батюшка. Вот они и хаот. Подождите, когда батюшка взойдет завтра в силу, он покажет их брату...

И, хлопнув себя по коленке рукой, он воскликнул:

— А? Заведется вот такая мразь! Убить бы их на месте, прости господи, мою душу грешную.

— Ну, будет! Уж слова сказать нельзя.

— Да про кого сказать-то? Про батюшку. И какое слово? В полиции служит? Ты это понимаешь? Да за такое слово башку надо свернуть твоему Косте.

— Ну, а ежели, сохрани бог, стрелять будут?

— Сохрани бог, небо провалится: всех перепелок подавит. Дураки вы с Костей... вот и весь мой сказ.

VII. Выстрел в сердце

До света, в половине пятого, по звону будильника проснулся Старостин и бесшумно стал одеваться. Марина шопотом спросила:

— Уходишь?

— Ухожу. Сейчас зазвонят. Ты к восьми будь готова с чаем. И чтоб собраться.

— Ладно. Ты сапоги-то новые наденешь?

— Новые, когда и обновить-то, как не в этот день?

Сапоги были тесноваты, Старостин долго притоптывал, надевая их. Марина прошипела: «Тише ты, ребят разбудить», но ребята не проснулись. Старостин расправил усы (они были совсем такие же, как у государя) и довольный собою, пошел из комнаты. Марина в одной рубахе, в валеных туфлях пошла за ним, чтобы запереть дверь. Старостин отвернулся от нее: он не любил, когда жена ходила такой растрепой.

— Сон ныне я нехороший видела,— забормотала Марина...

— Ну, ты опять с бабьими глупостями,— недовольно оборвал ее Старостин.

— Беды бы какой не было.

— Какая беда? Никакой беды не будет.

Он вышел на улицу прямой, бодрый, сильный. За время забастовки он отдохнул,— он еще никогда будто не чувствовал в себе столько силы, как сейчас.

Улицы были совсем пусты. Небо едва засветилось. Редкие фонари побледили, светили жидким светом. Колокола бодро звонили к ранней обедне,— звали. Старостин остановился на паперти, истово, как бывало учили его в деревне, перекрестился три раза, у свечного ящика купил свечу за пятак, поставил к иконе Николая-чудотворца и отошел на свое обычное место,— за правую колонну. Он молился уставно, мысленно подпевал певчим, мысленно повторял слова священника и дьякона,— он знал литургию наизусть. И чтобы мысли не бродили праздно, он старательно вслушивался в каждое слово. Ныне мысли все-таки бродили. Его поталкивало странное нетерпение. Ему казалось, что певчие медленно поют, что обедня тянется слишком долго,— как бы не опоздать. Он уже слышал шаги большого дня. Вот он, Старостин, сегодня опять увидит государя, услышит его голос. Может быть, государь что-нибудь спросит его. «Какой губернии?» и ему вспомнилась первая встреча, вспомнился голос...

— Достойно есть яко воистинну,— шопотом машинально повторял он молитву вместе с певчими, а сам сочинял в уме те ответы, что ныне он скажет государю.

— Плохо тебе живется, Старостин?

— Мне-то ничего, ваше императорское величество! Я много доволен всем.

А вот народу действительно приходится плохо.

И, опьяненный такими мыслями, он вдруг про себя повторил:

— Гвардия злое войско!

— Ела тука, ела брè!

— Слуга моему государю!

Из церкви он пришел домой торопливо. Солнце скупо, по-зимнему, пробивалось сквозь низкие облака. Улицы уже были полны народа, одетого по-праздничному. Старостин видел праздничные улыбки, веселое возбуждение.

— К царю, к царю!

Дома все были готовы. Наташка, причесанная, с голубым бантом в белой косице, розовая, встретила отца криком:

— Папа, посмотри, у меня новые штаны!

И подняла платице. Мать и Анютка засмеялись:

— Ах ты, бесстыдница, да нешто девочки могут штаны показывать?

Старостин поднял Наташку, подбросил к потолку.

— Ну, садитесь, садитесь! — поторопила Марина.— Будет вам. Елоховы уже пошли.

Чай пили торопливо. И торопливо же собрались. Марина надела шерстяное платье в клетку — самое парадное. На руку взяла ковровую шаль. Наташка была всех нарядней — в белом пуховом капоре, в голубой шубке с серым меховым воротником. Старостин, прежде чем выйти на улицу, осмотрел всех: жену, сына, дочь. Все в порядке, одеты прилично, можно и государю показаться.

И все прохожие на улице были полны одной заботой: получше одеться, чтобы не стыдно показаться на глаза самому государю. Улица казалась небывало праздничной — солнце светило, воздух, не закопченный дымом фабрик и заводов, был прозрачен.

Старостины вышли на мостовую, — отец и сын впереди, мать и дочь за ними. На углу чернела толпа. Женский голос крикнул из толпы:

— Марина! Не ходила бы с ребятами. Солдаты стрелять будут.

Марина всмотрелась. Кричала Варвара Елохова.

— А вы-то идете?

— Да не знаю, как быть. Вот стоим, толкуем.

Марина пытливо посмотрела на мужа, взглядом спрашивая, итти или не итти.

Старостин ответил резко:

— Будет зря толковать. Чего бабы не наскажут?

И взял Гришку за руку, повел быстрее. Марина с Наташкой покорно пошла за ним.

Ближе к «Собранию» стало больше народа на улицах, на тротуарах, на шоссе. Двигались беспокойно, говорили встревоженно. Того спокойного праздничного настроения, что испытывал сам Старостин, здесь уже не было. Тревога цепко захватила улицу. И Марина не утерпела, сказала вполголоса:

— Паша! Итти ли? Гляди, кто идет, а кто нет. Не было бы беды.

Он не оглянулся, буркнул сердито:

— Не каркай зря!

Во дворе «Собрания» народ стоял плечо в плечо. Старостин на мгновение растерялся: повести детей в толпу, — как бы не задавили.

— Пожалуй, подождите здесь, — нерешительно сказал он Марине.

— Мы подождем. подождем! — с готовностью ответила Марина, и по ее ответу он понял: Марина крепко трусит.

«В самом деле, детей-то немного» — подумал он, оглядывая толпу, дети виднелись там, здесь — редко.

— Ну, я пойду туда, мне надо возле батюшки. Буду проходить, вы подойдете ко мне. Тогда вместе.

И, осторожно раздвигая толпу, он пошел к крыльцу. Кто-то через головы спросил:

— Эй, Старостин, брать что ли иконы?

— Постойте, сам сейчас узнаю.

— Брать, вон видишь батюшка велел взять.

От крыльца двигалась струя народа назад, к воротам. Голос сказал:

— За иконами пошли!

Старостин на момент остановился.

— А портреты государя брать?

— Не надо. Вон инженер говорит: не надо.

Старостин увидел инженера, того, что последние три дня ходил с батюшкой. Инженер ему не нравился: батюшка что-то слишком много с ним разговаривал. И сердито, вызывающе глядя на инженера, он сказал:

— Как не брать? Возьмем и портреты.

Он протиснулся на заднее крыльцо, взшел на пустую эстраду. С десяток рабочих смотрели на него из зала. Он снял портрет государя, потом портрет государыни. Три пары рук протянулись к нему.

— Давай, мы понесем.

Он передал им оба портрета. «А что же я понесу?»

В этот миг отворилась дверь из боковой комнаты, вышел батюшка, за ним рабочие, председатель. Старостин пошел за батюшкой. «Буду с ним». У дверей инженер остановил батюшку, заговорил с ним тихо. Старостин только разобрал:

— Войска ведь будут стрелять.

— Не будут, не думаю, — охрипшим голосом ответил батюшка.

Инженер вынул из кармана план Петербурга, показал на нем:

— Здесь оружейные магазины. Если солдаты будут стрелять, мы возьмем оружие, — будем сражаться.

Батюшка беспомощно улыбнулся, рабочие нахмурились. Старостину хотелось оттолкнуть инженера прочь.

— Ладно. Чего там? Не будут стрелять! — громко сказал он.

Батюшка оглянулся на него. Со двора крикнули:

— Иконы принесли!

Батюшка, инженер, Старостин, рабочие с портретами, а за ними и все пошли во двор. Море голов колыхалось от крыльца до ворот и дальше. Четыре хоругви, иконы, кресты подымались над головами. Пар от дыхания белым прозрачным облаком стоял над толпой. Толпа сняла шапки, батюшка благословил всех.

Инженер, уцепившись за перила крыльца, крикнул в толпу:

— Батюшка просит предупредить вас, что солдаты, может быть, будут стрелять в вас и ко дворцу не пропустят. Хотите ли вы все-таки итти?

— Пойдем! Хотим! — рокотом перекатилось по толпе.

«Чего он пугает?» — сердито подумал Старостин.

— Если у кого есть оружие, пусть оставит здесь, — выкрикнул председа-

тель, поднявшись на цыпочки, — батюшка просит, чтобы никакого оружия.

— Нет оружия! Какое оружие? К богу с оружием не ходят.

Еле слышным голосом батюшка сказал:

— Тогда с богом!

И толпа будто вся услышала его слова, ответила гулко:

— С богом! С богом!

Головы опять обнажились, тысячи рук трепетно вскинулись: толпа стала креститься.

Батюшка, инженер, рабочие с царскими портретами, за ними Старостин, пошли к передним рядам. Хоругви и иконы заколыхались. Толпа медленно потекла через мостик на шоссе. Старостин беспокойно оглядывался: искал Марину. Но толпа переливалась потоком, в толпе не найти. «Не задавили бы!» — беспокойно подумал он. Ему хотелось и к Марине пойти, и остаться с батюшкой.

Толпа высыпала на шоссе, черной плотной переливающейся массой заполнила все, — тысячи и тысячи. Старостин все всматривался в лица, искал Марину. Лица старые, молодые, бородатые, безбородые, в шапках, в малахях. Женщин немного, — в шалях, в теплых платках.

Солнце спряталось, пошел снежок, тонкой вуалью закрыл дома по сторонам шоссе. Хоругви развевались неясные, трепетные. Чей-то звонкий голос зашел:

— Спаси, господи, люди твоя!

И артельным тысячеголосым стоном толпа ответила:

— И благослови достояние твое.

Старостин встrepенулся, все его беспокойство схлынуло. С небывалой силой, с такой силой, какой он еще никогда в себе не испытывал, он зашел:

— Победы благоверному императору нашему Николаю Александровичу на супротивные даруя...

Он сам сдерживал и свой голос, и дрожь, которая его охватывала:

— И твое сохраняя крестом твоим жительство.

Он уже не думал ни о Марине, ни о детях, ни о себе, весь переполненный страшной силой.

Хоругви, иконы, кресты, портреты шли в передних рядах, — перед ними по бокам бежали мальчишки. Батюшка шел

вслед за хоругвями в большой поповской шубе, в бархатной камилавке. Старостин только видел камилавку и воротник шубы. На шоссе стояли пристав, околоточный и черные городовые. Они пошли впереди толпы. Сам пристав махал извозчиком:

— Сворачивай!

Извозчики с'езжали с шоссе в снег, останавливались, снимали шапки, пропускали толпу.

Вот замолкли последние слова молитвы, а справа тот же высокий голос опять зашел:

— Спаси, господи, люди твоя.

Толпа шла плотно, неудержимо, словно двигалась черная туча. За поворотом шоссе вдали завиднелись грузные громады Нарвских ворот под вуалью редкого падающего снега, и возле ворот серыми лентами протянулись две шеренги солдат с винтовками. Глухое волнение прокатилось по толпе. Будто каждый человек на момент остановился, задумался: итти или не итти?

Но громче, вдохновеннее, грознее зазвучали слова молитвы:

— Победы благоверному императору нашему Николаю Александровичу...

Высокий хоругвеносец выше поднял хоругвь с ликом христа, пошел решительней впереди всех. Двое других качнулись в сторону, хотели уйти в боковую улицу, — толпа в тот же момент властно приказала:

— Прямо, прямо, товарищи! Вперед!

— И твое-е сохраняя крестом твоим жительство.

Из Нарвских ворот выехал отряд гусар на гнедых лошадях с шашками наголо и во весь опор поскакал навстречу толпе. Впереди несся ротмистр в малиновой фуражке. Толпа разом отхлынула в стороны — середина шоссе очистилась, пристав и околоточный отошли вправо. Гусары ветром пронеслись по проходу — между двумя стенами черных молчащих людей. Старостин обеспокоенно оглянулся: он опять поискал глазами Марину.

Гусары уже мчались назад и, проскакав через Таракановский мост, скрылись в провал Нарвских ворот. Толпа сомкнулась, — запела, опять пошла.казалось, громкая молитва теперь поднялась до неба. Старостин пел иступленно: молитва за царя была и щитом, и прибежи-

щем. У Нарвских ворот труба горниста пропела боевой сигнал «готовься!». И шеренги солдат враз ошетинились штыками. Ледяной ветер дунул Старостину в сердце. Он рванулся вперед — к батюшке, хотел что-то сделать, крикнуть, предупредить, а в этот миг громом польхнуло от ворот: «А-а-а-ах!» И разом все кругом закрутилось, задвигалось, запырало, закачалось, будто заколебалась сама земля. Высокый хоругвеносец пластом упал назад, хоругвь покрыла голову Старостина. Пристав, махая руками, побежал к солдатам, истерично закричал:

— Что вы делаете? Стрелять в крестьян ход?!

«А-а-а-ах!» — опять прокатился гром. Пули взвизгнули возле уха Старостина, одна рванула со страшной силой за плечо, он упал. Вокруг него ползали, стонали. Он успел заметить: батюшка тоже упал, лежит закрывшись шубой, — вот через четыре человека от него. Надрывно кричала женщина рядом: «Батюшки! Ой-ой, смерть моя! Господи! Что это?» Двое черных побежали назад, прыгнули через Старостина.

«А-а-а-ах!» — в третий раз прогремел гром. Крики стали тише. Старостин, не поднимая головы, пополз по снегу туда, где лежал батюшка. Батюшка полз куда-то вбок, оглядываясь, — его глаза побелели, казались огромными. Прямо перед его лицом шевелились, ползли чьи-то ноги, новенькие резиновые каалоши упирались в снег носками. Старостин пополз за батюшкой. Он извивался червяком. А справа, слева, сзади еще и еще ползали. Пятна и полосы крови краснели на снегу, — кто-то прополз, оставляя за собой кровавый след. В глаза ему бросилось знакомое мертвое лицо, он всмотрелся, — то лежал Федор Елохов. Из рта Федора густой струей шла кровь.

Уже у голубых калиток ближнего дома Старостин вскочил и, подхватив батюшку под руку, втащил во двор. За другой рукав батюшкиной шубы ухватился инженер. Батюшка безумными глазами оглядел всех. Весь двор был полон стонущими людьми. Они метались, выкрикивали проклятия. Черный рабочий прикладывал комья снега к раненой щечке, — снег в момент становился красным. Женщина в клетчатой сползающей

на плечи шали ерзала по снегу, а кровь текла из ее бока.

Батюшка сбросил шубу, камилавку, рясу, — на момент предстал волосатый, страшный...

— Нет... больше... царя! — хриплым, истерзанным голосом крикнул он.

И, сам себя не сознавая, звериным ревом ответил ему Старостин:

— Нет больше царя!

И его лицо исказилось страшной злобой. Кто-то выкрикнул длинное ужасное ругательство.

— Долой царя!

— Нет больше царя!

Инженер протянул к рабочим руку.

— Товарищи! Дайте батюшке пальто и шапку.

И все, кто стоял возле, начали снимать себя пальто, — Старостин разделся скорее всех, протянул пальто батюшке. Инженер холодно отстранил:

— Пальто непомерно велико, надо меньше. Вот это подходит.

Старостин стал размашисто одеваться, вглядываясь в лицо инженера: ему показалось страшным, что инженер в такую минуту говорит спокойным голосом.

— Скорей надо батюшке скрыться! — сказал инженер.

Батюшка одним вздохом ответил:

— Да, да, скрыться.

В пальто и шапке он был совсем новый, слабее, беспомощней. Старостин вдруг почувствовал: он сильнее батюшки, больше.

— Вот... через забор! — повелительно сказал он.

— Да, через забор! Скорей! — твердо повторил инженер.

Старостин ловко, как бывало на казарменном дворе, в момент впрыгнул на забор, сел верхом, протянул руку батюшке, — и уже это был не батюшка, властный и крепкий, а беспомощный бордатый ребенок, — потянул ребенка к себе, потом опустил его по другую сторону забора, подал руку инженеру. Забор затрепал, так много людей сразу полезло через него.

Дальше все понеслось как в бешеном вихре — «скорей, скорей!» Никто бы не сказал по порядку, что было с ними. Старостин только потом вспомнил, как, увязая по колено в снегу, бежали пустырем, прыгали через заборы,

заходили во дворы, где металась измученные люди. Иногда им кричали:

— Нет, нет! К нам нельзя. Здесь полиция.

И надо было уходить, уходить. По пустырям бежали кучки перепуганных людей, раз мимо проскакал отряд конной полиции с белыми султанами.

— Скорей, скорей!

С первого двора, вслед за батюшкой, убежало много рабочих. Они бежали беспорядочной толпой. А потом куда-то исчезли, отставали один за другим. И осталось только шестеро. В большом четырехэтажном доме инженер завел батюшку в темный коридор, постучался в чью-то дверь. Их долго не впускали. Слышать было: говорили шопотом два человека. Батюшка зябко дрожал, слушал напряженно, что говорят, и держал руки возле лица, будто боялся, что его узнают чужие. Инженер подошел взволнованный:

— Чорт знает! Не пускают и здесь. Тебя, батюшка, надо остричь, я уведу тебя в город.

Батюшка ответил беспомощно, разбитым голосом:

— Хо-ро-шо.

Инженер метнулся назад, опять стучал в ту же дверь и через минуту принес ножницы, сказал властно:

— Идемте!

В углу двора черной пастью чернел открытый сарай. Здесь стояло трое извозничьих полков на полозьях. Инженер сказал:

— Снимайте шапку.

Батюшка покорно снял шапку. Старостин машинально снял шапку с себя. И пять других рабочих сняли шапки. Ножницы залязгали. Черные пряди волос как змеи зашевелились в руках инженера. Чья-то рука протянулась к первой отрезанной пряди. И голос, взволнованный до крайности, сказал:

— Дайте мне... на память!

И сразу все шестеро надвинулись, просительно протянули руки,—ловили отрезанные пряди. Волосы были холодные, жестковатые, но будто живые,—извивались в пальцах. Старостин спрятал их во внутренний карман на груди. Голова батюшки стала кургузой,—нелепо торчали черные остатки волос на затылке и висках. И лоб батюшки умень-

шился,—короткие волосы спустились до бровей.

— Теперь пойдем,—прошептал инженер и отдал ножницы рыжему рабочему.—Вы, товарищи, останьтесь здесь на несколько минут. Не надо толпы. Мы пойдем незаметно.

Он повернулся, потянул батюшку за рукав. Батюшка беспомощно пошел за ним. И пока они шли по двору к калитке, Старостин упорно смотрел им вслед. Голенища батюшкиных сапог слабо поблескивали. Вот батюшка у калитки,—калитка открылась, проглотила батюшку. Старостин глухо простонал, схватился за голову и сел на полку. Возле него заговорили:

— Ну, что же, товарищи, надо и нам расходиться.

— Идемте, идемте.

— Мы еще соберемся! Теперь-то мы поговорим...

Снег под ногами закрипел — тише, тише. Старостин оглянулся, возле него никого не было. Он выпрямился,—большой столбище,—он сцепил зубы и повторил про себя со звериной страшной силой:

— Ну, теперь-то мы поговорим!

VIII. Крик в ночи

Была уже ночь, Старостин добрался домой. Яркий свет горел в обоих окнах. И во многих окнах других кварталов был свет. Дверь в соседском коридоре хлопнула, и во двор вырвался истерический крик. Старостин вздрогнул: «Кого-то из нашего двора убили!»

Он подошел к окну крадущимися шагами, постоял, послушал. В комнате вопили. От злобы он сцепил зубы. «К царю ходили, на поклон!» Он пошел к своей двери, в темноте нашарил ручку, открыл. Самая большая парадная лампа — абажур тюльпаном — во весь мах горела на комодике. Вся комната была залита светом. Но в ней никого. Обе лампы у икон были зажжены. Обеденный стол был пододвинут к переднему углу, и на нем лежало что-то длинное, покрытое простыней. Старостин остановился у двери,—у него вдруг пропала сила,—не мог двинуться. Легкий шорох раздался в спальне, занавеска заколебалась, и в комнату во-

шла Марина. Она искоса, сурово посмотрела на мужа и опустила глаза в пол. У ней задрожало все лицо. Точно подкинутый, он стремительно сделал три шага к столу, дернул простыню. Наташка со сложенными на груди руками лежала неподвижно. Белые волосики были гладко расчесаны, косица с голубым бантом лежала на подушке возле плеча. Синие губы были сжаты плотно, мертво. Он повернулся, протянул левую руку к жене, будто без слов звал ее на помощь.

— Что... что это? — пролепетал он.

Прыгающим голосом Марина ответила:

— Нешто не видишь что? Поп велел вести, ты повел, солдаты убили. Вон посмотри.

Она кивком головы указала на стул, что стоял у стены. На стуле лежали какие-то тряпки — белые, голубые, розовые. Он шагнул к ним. И узнал. Узнал белую Наташкину рубашечку, голубые бумазейные панталончики, те самые, что она показывала ему утром. И розовое теплое платице узнал. Они были густо залиты кровью. Он тупо оглянулся на жену, все еще стоявшую у двери в спальню. Теперь из-за ее бока глядели две головы, одна над другой: пониже Гришкина голова, повыше — Анютки. Все четыре глаза — небывало большие, круглые — уставились на него. Марина тихо, озлобленно сказала:

— Говорила тебе: «не надо вести детей». Так нет, велел вести: «К царю!» Вот тебе и... царь!

Старостин безумными глазами посмотрел на жену, на сына, на Анютку, перевел глаза на мертвую дочь, на горящие лампы, на парадную лампу с белым стеклянным абажуром, на царские портреты, что висели над комодиком. Царь смотрел на него со стены все так же пристально. Старостин откачнулся, будто его ударили в грудь, и прыжком подскочил к комоду, протянул огромные руки, рванул со стены портрет царя. В момент портрет мелкими клочьями полетел на пол, рядом с ним упала сломанная на мелкие куски рама. Еще мгновение — страшные руки протянулись к портрету царицы в белом кокошнике, рванули, разорвали, швырнули на

пол вместе со сломанной рамой. От комодика он отбежал к другой стене, где висела картина: «Божия милость императорской семьи» — царь и царица в горностаевых мантиях стояли над колыбелью, в которой лежал новорожденный царевич Алексей, — схватил картину, швырнул на пол и начал топтать. Перебирая огромными ножицами, он весь изгибался, будто его жарили на сковороде. Он был страшен в исступлении. Гришка взвизгнул, ринулся от двери назад в спальню. Марина завонила:

— Пашенька! Паша! Что ты делаешь? Опомнись! Родной мой, опомнись! Она схватила его за руки, повисла. Он вырвался.

— Пусти! Пусти! Я... им... задам! И обругался длинным ужасным ругательством.

Марина повисла на его шею, тащила его к стулу.

— Пашенька! Милый! Опомнись!

А он все топал, топал ногой по разодранному бумажкам. Уже оттащила она его, он все пытался достать ногой издали, топнуть. Обрывки уже далеко, а он все еще ловил. Она усадила его на стул, из всей силы прижала его лицо к своей груди. Тут он будто опомнился, отодвинул ее от себя и сразу обеими руками схватился за голову и завыл прерывистым волчьим воём. Два пронзительных голоса — Анюткин и Гришкин — ответили ему из спальни.

А Марина... Марина схватила веник, торопливо начала подметать пол, — обрывки портретов, обломки рамок, — кучкой собрала их и потискала в печку. Потом веником же обмела серую толстую от пыли паутину с тех мест, где висели портреты, — паутины было немало. Все это молча, быстро, деловито. Только слезы двумя ручейками бежали по ее лицу, падали круглыми каплями на крашенный желтый пол, оставляя круглые пятна величиною в копейку.

Деловито она поставила веник в угол, подошла к мужу, обняла его за голову. Плач грубо оборвался. Лишь тоненькие всхлипы слышались из спальни.

— Что ж?... Знать... божья воля, — покорно сказала Марина.

Старостин, взглянув ей в лицо полными слез глазами, ничего не ответил.

Он, отодвинув руками жену, молча прошел в спальню и, не раздеваясь, в парадном пиджаке, в сапогах, лег на кровать.

Марина потушила большую лампу, опять покрыла простыней мертвую дочь, что-то зашептала Анютке и Гришке. Свет лампад робко пробивался сквозь занавеску в спальню...

Утром к Старостиным пришли чужие люди. Черная старая монашенка в больших очках читала псалтирь над мертвой, соседка Дарья деловито заговорила о гробе и поминках. Старостин вышел из спальни, долго глядел на монашенку, на Дарью, на пустые стены, на мертвую дочь,— и у него был такой вид, будто он ничему не верил. Не верил ни смерти дочери, ни расстрелу, ничему.

— Что ж, Паша, умойся да иди, купи гробик. Вот веревочка, мы смерили, какой длины гробик надо.

— Чего?

— Гробик... вот такой длины. Дежи веревочку. Не потеряй. Иди.

— Гробик? Так.

Будто в дреме, он собрался, пошел. Он шел серединой улицы. Он знал, где гробовая лавка: каждый день по пуги на завод он проходил мимо нее. Теперь у дверей лавки стояла кучка народа, и еще больше народа было в самой лавке. Из лавки выносили гроб за гробом, несли по улице в обе стороны. Два продавца — вспотевшие, с шапками на затылке — едва успевали получить деньги. Покупатели сами выбирали гроба. И когда Старостин втиснулся в лавку, приказчик торопливо сказал ему:

— Сами, сами смотрите и выбирайте.

Старостин развернул веревочку, долго измерял, переставлял гроба. И когда выбрал голубой гробик, понес к выходу, — его спросили:

— А что у тебя ребенка убили?

Он длинно поглядел на того, кто спросил, ответил просто, холодно:

— Да. Убили дочь. Четыре года ей...

И только выйдя из лавки, он еще раз осмотрел гроб и тут действительно поверил: «Убили дочь! Четыре года ей».

На похороны (а хоронили Наташку во вторник) пришел Костя с женой. Он искося, пытливо всматривался в лицо зятя и не решался заговорить: так ужасны были у зятя глаза. Гробик везли на

извозчицких санках, сам Старостин держал его на руках. Все остальные шли за санками. Марина шопотом сказала Косте:

— Боюсь я Павла-то. Стонет и зубами скрипит. Как бы не сделал чего. — Да (Костя запнулся)... глаза-то у него, хоть спички зажигай... пылают.

На кладбище Старостин сам зарывал могилку, — с остервенением поддевал землю лопатой, сыпал в могилу, будто вместе с дочерью зарывал своего врага.

Нудные, унылые дни пошли после похорон! Молчаливый, точно грешная душа по мукам, ходил Старостин по улицам, переполненным войсками и полицией. Он будто оцепенел. Он не знал, куда себя девать, куда итти. К «Собранию» полиция не допускала никого. Полицейские разгоняли даже маленькие кучки народа, пытавшиеся собираться на улице. Фабрики и заводы начинали работать. Уже с четверга пошла фабрика, где работала Марина. А в понедельник встал к станку и Старостин, — весь Путиловский завод пошел полным ходом.

И, встав к станку, Старостин будто встряхнулся, — вместе со свистом приводных ремней и стуком машин в него капля за каплей стала вливаться обычная жизнь: можно оглянуться, подумать, прикинуть и взвесить. Похудевший, постаревший, он начал осматриваться. В мастерской семь станков были пусты: троих рабочих убили, четверых арестовали. Мастера разговаривали грубее, чем прежде. И злорадствовали. Рабочие замкнулись, похмурили, заугрюмели, — и множество волчьих взглядов успел заметить Старостин. В четверг, вернувшись домой, он нашел у себя в кармане пальто аккуратно сложенную бумажку. «Оттуда? Должно быть, кто-нибудь подсунул».

«Родные! Братья! Товарищи рабочие!

Мы мирно шли 9-го января к царю за правдой...»

Он нетерпеливо поглядел на подпись: «Священник Георгий Гапон».

— Письмо от отца Гапона! — вслух, удивленно сказал он.

— У нас тоже раздавали, — откликнулась Марина, — ну-ка прочти.

«Мы мирно шли 9-го января к царю за правдой, мы предупредили об этом его опричников-министров, просили

убрать войска, не мешать нам итти к царю. Самому царю я послал 8-го января письмо в Царское Село, просил его выйти к своему народу с благородным сердцем, с мужественной душой. Ценою собственной жизни мы гарантировали ему неприкосновенность его личности. И что же? Невинная кровь все-таки пролилась. Зверь-царь, его чиновники, казнокрады и грабители русского народа, сознательно захотели быть и сделались убийцами наших братьев, жен и детей. Пули царских солдат, убивших за Нарвской заставой рабочих, несших царский портрет, прострелили этот портрет и убили нашу веру в царя».

Старостин отодвинул от себя бумажку, точно она жгла ему руки:

— Вот... верно! Верно! Убили! Все убили!

— Ну-ка, дальше, дальше, — нетерпеливо торопила Марина.

«Так отомстим же, братья, проклятому народом царю и всему его змеинному отродью, министрам, всем грабителям несчастной русской земли. Смерть им! Вредите всем, кто чем и как может. Я призываю всех, кто искренно хочет помочь русскому народу свободно жить и дышать, — на помощь! Всех интеллигентов, студентов, все революционные организации (социал-демократов, социалистов-революционеров) — всех! Кто не с народом, тот против народа!»

Голос Старостина зазвенел, стал строгим и властным. Гришка испуганно, с удивлением смотрел на отца и мать, стоявших друг против друга среди комнаты.

«Да здравствует грядущая свобода русского народа!» — прочитал громко последнюю фразу Старостина.

Марина покачала головой, отошла к печке:

— Знаю, все это правильно. Только как же отомстить? Была бы наша сила, клочка бы от них не оставили. А что же... молчи вот. Горе мое горькое.

Она тихо заплакала.

Старостин прошелся по комнате из угла в угол:

— Ну, не плачь. Придет наше время.

— Придет, когда в могилу ляжем.

Что ты теперь будешь делать-то?

— А я знаю, что? Знал бы, делал бы... Ну только... я теперь себя боюсь.

— Господи батюшка! Время-то какое, хоть вешайся!

— Ну, до вешалки-то нам еще долго. А вот другого кого как бы не повесить.

— Кого это?

— А вот...

Он выразительно показал пальцем на стену над комодиком, туда, где висели царские портреты, и вдруг заторопился, надвинул на самый лоб шапку, накинул пальто и широкими шагами пошел во-из комнаты, хлопнул дверью. Марина заметалась:

— Батюшки мои, что с ним? Беды бы не наделал какой. Костю, что ли позвать?.. Анютка, с'езди-ка к нему... Скажи, чтоб беспременно шел. Беда у нас.

IX. Пылай, Россия!

Костя пришел только в воскресенье утром. Он был какой-то беспокойный, с озабоченным лицом. Он сухо поздоровался, не стал раздеваться, сел на стул возле двери как был в пальто, спросил торопливо Марину:

— А где Павел? В церковь ушел?

— В том-то и горе, что не в церковь, — по улице ходит. Сейчас придет.

— Зачем меня звала?

— Ты раздевайся, посиди.

— Некогда мне. Спешу. Что у тебя случилось?

— Беда накатилась, вот и позвала. К кому мне теперь итти, как не к брату родному?

— Беда ныне у всех.

— Знаю, у всех. Да ведь как ни есть, изживать надо. С кем изживу?

— Да в чем дело-то? — раздраженно крикнул Костя.

Марина перегнулась пополам, наклонилась к самому его лицу, заговорила шопотом:

— Павел-то с ума сходит. Не ест, чуть пожует — и будя. И видать: не в себе. Все думает, все молчит. Ни меня, ни Гришку не замечает. По ночам сам с собой говорит. Царев портрет в клочки изодрал.

Костя коротко засмеялся довольным смехом:

— Изодрал? Хорошо. Дошел до точки. Готов! Наш!

— Ты, дурной! Он же с ума сходит! Какой он ваш?

— Не говори, Марина, наш! Я всегда думал, что он настоящий человек. Вот только мозги были закручены. Теперь раскрутились. По такому случаю мне надо раздеться. Да где он? Скоро придет?

— Позвать можно. Аннушка, побеги, погляди, где ходит он. Позови. К Таракановскому мосту поди пошел.

Анютка накинула шубейку, выбежала во двор. Марина уставилась глазами в пол. По лицу текли слезы.

— Сама не своя. Жизни не рада. Одну беду скачала, другая надвигается. Что я буду делать, ежели он сойдет с ума?

— Не сойдет.

— Шш, вот он и сам.

Старостин вошел в комнату развязно, долгим взглядом посмотрел на Костю, словно не узнавал его. Потом молча протянул ему руку, молча разделся, сел у окна.

— Ну, брат, перевернуло тебя! — озадаченно сказал Костя, во все глаза глядя на зятя.

— Пе-ре-вер-нет, — с трудом ответил Старостин.

Заросший плотной бородой, всклокоченный, бледный, он выглядел таким старым, будто в эти две недели прожил гридцать лет. От прежней наигранной солдатской бодрости у него не осталось и следа.

— Ну что ж, зятек, я прямо к тебе — со всей душой... Ведь делать что-то надо.

Старостин поднял голову, тяжелым взглядом уперся в глаза Кости.

— А что?

— Дела много. Пришла пора. Ты мне все не верил. Теперь, надеюсь, поверишь. Хочу я повести тебя на одно собрание.... Хорошие люди будут. Тебе полезно их послушать.

— Какие люди?

— Путей указчики, вот какие люди. И тебе они и ты им будете полезны.

Старостин вдруг поднялся.

— А ну, веди.

— Го-го! Сейчас уже? Что ж, пойдём сейчас.

— Веди меня... куда-нибудь, — сказал Старостин с трудом, будто выворачивал камни. — Веди!.. А то я... (он запнулся).

— Что ты?

— Я пырну ножом кого-нибудь. Слы-

шишь? (Лицо у него стало страшным). Веди!

Костя ваторопился.

— А ну, пойдём, пойдём. Как раз время!

Марина забеспокоилась.

— Да куда вы? Пойдите. Костя, ты чего задумал? Куда ты его ведешь?

— Молчи, сестра!

— Да вы бы чаю попили, подумали бы, хорошо ли будет, если пойдете.

— Идём! — твердо, требовательно сказал Старостин.

— Идём, идём. Только, может, в самом деле сперва чаю попьём?

— Ты пей, — Старостин ткнул пальцем в стол, — я подожду.

Они ехали долго на империале конки. Пересаживались два раза. Они не сказали друг другу ни слова. Старостин будто не замечал ни людей, ни пути. На Васильевском острове на девятнадцатой линии они прошли во двор, поднялись во второй этаж деревянного дома, позвонили. В передней на вешалке топчались шубы. Старостин, раздевшись, машинально, по давней привычке, одернул пиджак, ладонью пригладил волосы. Девушка в очках провела их в комнату. В табачном дыму маячило множество голов. Девушка в очках пододвинула Старостину стул. Пока он усаживался, все молчали. И было ясно: их приход оборвал какой-то разговор. Костя пошел к бородатому большелобому господину, что сидел у стола, нагнулся к нему, что-то сказал. Старостин успел разобрать только два слова: «убили дочь». Господин остро поглядел на Старостина. Среди маленьких людей, что сидели в комнате, Старостин был больше всех, выше, мощнее. Он оглядел угрюмыми глазами всех. Рядом с ним сидел бородатый армянин с большими очень черными глазами, потом студент Хрущев. Старостин целую минуту смотрел на него, что-то соображая. Костя сел рядом с Хрущевым. Бородатый господин поднял руку, сказал горячим голосом, как говорят взволнованные люди:

— Итак, товарищи, мы продолжим. Я повторяю эту старую формулу славянофилов: «Народ наш — дети царицы, а царь — им отец». По-понимаете? Вот именно так верил Достоевский. В само-

державии, том особенном каком-то семейном самодержавии (отец и дети) Достоевский видел всю силу России, залог его великого грядущего. Вы понимаете? Для народа царь был воплощением его самого, всей его идеи, надежд, верований. Вот именно это, по мнению Достоевского, было только у нас, у русских, и нигде больше в мире. И в этом была якобы крепость России. Пытаясь разрешить вопрос о самодержавии практически, Достоевский думал, что придет время, дети соберутся к отцу и скажут: «Так и так, батюшка-царь, сделай вот это и вот это, и будет в России хорошо». И царь выслушает детей своих и сделает так, как они хотят: «Ах, детки, вы этого хотите? Что ж, хорошо, я сделаю». Так мило, так по-особенному, по-семейному, патриархально все вышло бы. Достоевский писал: «Нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин этого доверия. Позовите серые зипуны и спросите об их нуждах, о том, чего им надо. Они скажут вам всю правду. И мы все, в первый раз, может быть, услышим правду настоящую». Но царь медлил, мысли ни у кого даже не было позвать серые зипуны. И в своей предсмертной тоске Достоевский пишет: «Я слуга царю. Еще больше буду слуга, когда он действительно поверит, что народ ему дети... Только что-то он уж очень долго не верит». Заглядывая в даль, в седое прошлое, Достоевский верил, что царь-отец позовет. И все верил в эту истину! Ибо нельзя же кучку народовольцев, чистейших западников, людей, лишенных русской почвы, русского понимания, лишенных всего национального, нельзя было эту кучку брать в расчет. Конечно были и равнодушные, но о них мы не говорим.

— И вот первое марта, — народовольцы казнят Александра II. И разом царь облекается в ореол мученика. Он святой. Он умученный. И сам царь и с ним самодержавие восходит на высоту. Царь на небеси. Первое марта — это единственная в русской истории дата, когда самодержавие было на высоте ужасающей. От глухой деревушки до дворцов — везде слезы и слезы. «Умучили нашего отца, нашего освободителя». Вот тут-то, может быть, идея Достоевского о сущности русского само-

державия (отец и дети) получила реальное воплощение. И вот в лучах этой славы, этого света живет Александр III и коронуется Николай II, «отец наш, батюшка-царь»... Кому из нас не памяты эти дни, когда на площадях многотысячные толпы пели сразу гимны: «Спаси, господи, люди твоя» и «Славься, славься, наш русский царь, господом данным нам царь-государь?» Да, да, да! Как же не воспеть отца, как же не воспеть своего хранителя? Воспоем «Славься, славься!» Сыты и — слава богу. Но Достоевский откуда-то из глубины зывает: «Позовите серые зипуны!» Но зачем же звать, когда сыты и всем хорошо? Не надо. И тихо было, и двадцать лет мы прожили в страшной тишине. Все поколение смотрело на царя, как на мученика, называйте это реакцией, как угодно, тут дело не в реакциях, тут дело глубже, и не в правительстве одном, а в самом народе.

— Эх, чудная страна Россия.

— Ну, да, я отвлекся, о чем это я. Подождите. Да... Под конец вот заволновались. Но кто заволновался? Опять западники-социалисты, люди, воспитанные на идеях Маркса, этого выразителя всего западного. Заволновались отдельные листочки, не ветви, а тем паче не ствол и корень, они остались неподвижны.

«Народ наш — дети царицы, а царь им — отец». Так верили. И вплоть до девятого января верили. И никто не замечал, что царь-то ох, как далеко. Война, голод, тоска. «Пойдемте к царю-батюшке». И пошли. И вот случилась величайшая трагедия русская. Тут было беспримернейшее преступление. Царь расстрелял толпу. Он стрелял в Достоевского, стрелял в себя, в Россию. Он стрелял в славянофилов, в патриотизм русский, он стрелял в самую идею русского самодержавия. Он стрелял наконец в свою семью. С иконами ведь шли, с его портретами, пели умиленно: «Славься, славься», «Спаси, Господи», «Боже, царя храни». И, расстреляв толпу и победив толпу, самодержавие само упало на землю, вниз, в яму, в самую грязь. А народ вознесся, потому что правда русская — особенная, не на штыках она, а где-то в другом, в идее, может быть. Не в силе сила, а сила в

правде. Штыком в России правды не укрепить. Победитель штык был лишен ореола правды. А правда — как броня непроницаемая. И вот в тот роковой день правда навсегда ушла от царя. И на глазах всего народа ушла... «Народ наш — дети царицы, а царь — им отец?» Ха-ха-ха! Хе-хе-хе!.. А девятое-то января? И вот грусть, и вот смута: что геперь перед нами? Жги, бей!

— Пылай, Россия, пылай!

Старостин, все время смотревший напряженно прямо в рот человека в очках, вдруг начал подниматься, поднялся во весь свой огромный рост и крадущимися шагами подошел вплотную к оратору.

— Пылай, Россия, пылай! — вдохновенно повторил человек в очках и... остановился, испуганно глядя на Старостина. В комнате сразу встала жуткая тишина.

— Вы... вы что, товарищ? — спросил оратор.

Старостин дрогнул, будто опомнился, оглянулся кругом. Все глаза смотрели на него. Тогда он заговорил вдруг горячно, страстно, с грубой, выворачивающей искренностью:

— Да... это вот... самое. Про царя. Слушай, товарищ, я не все понял, что ты здесь наговорил сейчас. Но про сердце ты сказал правильно. Твое слово на месте. Он мне в сердце выстрелил. Ты ведь, товарищ, с ним не говорил, ты не служил в гвардии, а я служил, я говорил с ним. Скажи бы он мне: «Бросься, Старостин, с шестого этажа вниз головой!» Нешто я задумался бы? Кидком бы кинулся. А вот здесь... в то проклятое воскресенье...

ты говоришь правильно: он мне в сердце выстрелил.

— У вас, кажется, убили маленькую дочь? — осторожно спросил человек в очках.

— А, что там дочь! — сердито с раздражением закричал Старостин. — Я делаю десять дочерей. Доло не в дочери. Мне легче было бы, ежели бы они меня самого убили до смерти. А то сердце-то прострелил, а я вот хожу, хожу и не знаю, куда себя девать. Попался бы он мне — я бы ему горло... сам... зубами перегрыз.

В его крике было столько дикости, отчаяния и злобы, что человек в очках поднял левую руку, будто хотел защититься и остановить поток свирепых слов.

— Ну зачем же так, товарищ, зубами?

— Зачем? А чтоб он чувствовал. Чувствовал бы, что со мной он сделал. Он мне сердце вынул... Жжет меня все, жжет!

Стриженная девица поспешно встала, налила в стакан воды:

— Выпейте, товарищ!

Старостин широким жестом отстранил ее:

— Нет. водой не зальешь. Вы мне прямо скажите, что делать. На смерть пойду, куда угодно пойду, аж бы не сидеть теперь сложа руки...

Он не махал руками, он стоял неподвижно, столбом, но только поворачивал голову, оглядывая всех по очереди. Но в его неподвижной позе была такая сила, что все смотрели на него со страхом, как путник на дороге, в долине, смотрит на камень, падающий с горы.

(Окончание следует)

На смерть химика С...

В. ЛУГОВСКОЙ

Ты опять приникаешь
к моему осторожному уху,
Пробегая по телу
холодком молодым,
Напряженная легкость,
блестинки ноябрьского пуха,
Мудрость ранней зимы,
белорозовый дым.

Философия снега
холодна и чиста до отказа.
Это длинное счастье,
пока не ударит апрель.
На больших облаках,
на просветах фонарного газа
Белый месяц покачивает
детскую колыбель.

Ты почти умираешь,
чудовищно злой и беспечный,
Подставляя столетью
железную проседь виска.
Операция кончена,
пахнет эфиром вечности,
Начинается смерть,
тишина
и века.

Начинается смерть
за полметра от длинной кро-
вати.

Это просто окно —
устарелый пейзаж зимы.
Каждый мускул лица
поворачивается угловато,
За широким окном
побеждаем и боремся
мы.

Мозг тончайшей работы
и воля блестящей закалки,
Постигавшие все,
не наученные ничему,
Наше грозное время
берет и кидает на свалку.
Там лежат отщепенцы
и слушают
тьму.

По железным стропилам
идет исполнинская стройка,
Загораются нервы,
как ламповые волоски;
Твою мертвую душу
уносит на русской тройке.
— Эх, тройка,
птица тройка!..

Одиночество смерти
на свете ни с чем несравнимо.
Вся история мира
останавливается на нуле,
Жажда правого дела
проносится мимо и мимо,
В окончательный холод
на мертвой и круглой земле.

Светлый занавес века
взвивается перед глазами —
Это дни Революции —
величаво тяжки и грубы.
Поздно, поздно жалеть,
тебя не покроют знаменем,
Честным знаменем веры
и беспощадной борьбы.

На боевых путях

Воспоминания

А. АРОСЕВ

(Продолжение¹)

3. Перешагнул

В синем весеннем небе, в солнечном свете купались ласточки, стрижи; где-то над маленьким домом вилась стая чистых белых голубей. А трое товарищей, забравшись в самую высокую чердачную комнату Черного, уговаривались о тесной связи. Здесь решили они установить друг с другом шифр, на всякий случай. И уговорились об условных подписях, чтобы узнать, что есть ли в данном письме шифр, так как шифровать надо было непременно лимоном.

Каждый ходил взад и вперед по комнате и придумывал себе имя, отчество и фамилию.

К обеду все было условлено: Черный стал прозываться Никита Романович Шорнев, Дядя — Андрей Петрович Званов, Зет — Сергей Львович Стальной.

Ключом к шифру было выбрано слово «Кораблекрушение», а если надо было усложнить шифр, то к нему прибавлялось другое слово — «морское».

Собрание тут же, на квартире Черного, установило две темы для вольных рефератов:

1) философское обоснование Р. С.-Д. Р. П.

2) философское обоснование партии С.-Р.

Первую тему взял Дядя, вторую — эсер Зет. Так как темы эти были слишком значительные и сражение по ним предстояло генеральное, то решили, что к ним надо готовиться все лето и доложить реферат только осенью.

В ясном весеннем небе мелькали стрижи и жаворонки, когда Дядя, Чер-

ный, Зет и др. расходились с собрания.

— Ну, конечно, — заявил Дядя, — мы все время будем держать путем переписки самую тесную связь.

— Да, но только, — предостерегает Зет, — не будем преждевременно в письмах заниматься полемикой по теоретическим вопросам.

— Это верно, — подтвердил Черный, — пусть бой быков будет не с глазу на глаз, а при публике, так сказать. Вот, посмотрите. И Черный развернул рукописный сатирический журнал, названный почему-то «Серое утро». Во главе этого журнала были Черный и Борис Евгеньев. В журнале были карикатуры на Дядю, Черного, Зета и других товарищей, членов ученической революционной организации. Там, например, в виде маятника, качающегося вправо и влево, был изображен один товарищ, колебавшийся между с.-р. и с.-д. Дядя и Зет были изображены быками на арене цирка, на которых смотрели члены кружка, и в главной ложе одетый в порфиру и со скипетром в руке т. Черный, с важной миной на лице. Под рисунком подпись: бой быков в присутствии великих особ. Была карикатура и по поводу предложения Бориса Евгеньева заниматься сначала естественными науками, а потом марксизмом. Тут был изображен Зет, играющий на шарманке, и подпись: «Нельзя ли что-нибудь, кроме политэкономии, сыграть? — Никак нельзя: шарманка испортится»... и т. п., все в том же духе.

Дня через два Черный направлялся в скором поезде на Кавказ. Дядя поднимался по реке Вятке на маленьком (Небогадиноском) пароходике в уездный городок Вятской губернии, на свою ро-

¹) См. «Новый мир» кн. 1, 1931 г.

дину, Зет — на дачу своих родителей в деревню Нарышки, а я — бродить по Северу.

Зет, приехав в деревню, только первые дни упивался лесными прогулками, беганьем по берегу веселой и кудрявой речки Ноксы с другими парнями и подростками, вечерними поздними посиделками под душистой черемухой. Он вдруг сразу бросил это. Он стал редко выходить из своей комнаты, которая немного превратилась в берлогу. Зет, чтобы чужие руки не разрознили, не растряхивали его тетрадей, листов, записей, вырезок, раскрытых страниц теоретических книг, никого не допускал даже для уборки комнаты. Он по ночам метался, выкрикивал имена Михайловского, Лаврова, Далевского, Чернова. Зет усердно почерпал эсеровскую мудрость.

Как бы ни был человек замкнут, он всегда ищет случая, чтобы сказать себя. Не вытерпел и Зет. Произошло это во время чая на балконе. За столом сидела вся семья в сборе и еще одна девушка соседка. Может быть, Зет и не высказал бы себя, если бы не присутствие за столом румяной голубоглазой девушки, только что вернувшейся от реки с купанья. Разговор зашел о последней грандиозной экспроприации в Петербурге в Фонарном переулке.

Вздыхнув, девушка-соседка произнесла:

— Ах, как бы я хотела видеть самого настоящего, настоящего революционера.

Все обернулись в сторону Зета. Он покраснел, как маков цвет.

Девушка замахала в ладоши:

— А это он, это он, это и есть вы революционер, самый настоящий!

Зет хмурился, краснел. Однако ласковый голос соседки заставил его говорить о прочитанном: о роли личности в истории, о героях и толпе, о терроре...

Девушке так все это понравилось, что она решила притти к нему сегодня же вечером, чтобы с его помощью приобрести к захватывающей мудрости...

Зет не придал серьезного значения ее «угрозе» притти. Однако вечером у его раскрытого окна в темном теплом платке, наспех накинутом на голову, появилось милое личико соседки.

Вместо приветствия Зет стиснул зубы.

Девушка сделала попытку влезть к нему в окно. Зет с шумом отодвинул стул

от стола, разбежался по комнате и дико выпрыгнул сам из окна навстречу ей, чуть не столкнул ее по пути и бегом пустился в открытое поле, оставив у своего открытого окна недоумевающую красавицу. Она то вслед ему смотрела, то старалась заглянуть в раскрытые страницы, оставленные на его столе.

Зет стал приобретать все приемы и манеры настоящего затворника: усиленным чтением, и подчас из-за чтения, и постом смирял свою молодую плоть.

В середине лета он перешел к изучению марксистской литературы, чтобы выискать слабые места марксовой теории, чтобы разить ее наиболее победоносно. Зет решил твердо на-твердо сломить влияние Дяди в организации. О, он, Зет, как только придет осенью, даст Дяде действительно генеральный бой.

Зет, однако, решил не отставать от практики и, сколотив небольшую группку, — трех-четыре крестьян, — занялся устройством в кустах на другом берегу реки целой маленькой лаборатории для приготовления взрывчатых снарядов «на всякий случай», если они потребуются партии.

Дядя тем временем углублялся в марксистскую литературу, в особенности крепко засел он за самого Маркса. Все это время он поддерживал самую живую переписку с Зетом. Письма их были собственно продолжением и углублением той полемики, которую вели они на собраниях. Это были не письма, а теоретические доклады и контрдоклады, своеобразные письменные «зачеты» по пройденному курсу. Особенно досадовал Зет на то, что Дядя все более и более небрежил эсеровской литературой, называя ее ненаучной и даже антинаучной. В последних письмах Зета к Дяде было по этому случаю немного даже раздражения. Тогда как письма Дяди по тону делались все спокойнее, теоретичнее, обоснованнее.

Настроение Зета портилось. Практика по изготовлению бомб превращалась в игру, игру, буквально, с огнем. Впрочем, надо заметить, что огня-то как-раз и не было: Зет не сумел приготовить ни одной бомбы, которая бы разорвалась. Металлические сосуды, начиненные бертолетовой солью, еще чем-то, снабженные трубками и всем, чем полагается,

оставались мирно лежать в тальниковых кустах за Казанкой рекой, не причиняя никому вреда и не взрываясь. Все старания и упражнения, производимые Зетом в отдалении от села на отлогих берегах реки, не только не делали из него пиротехника, но и не способствовали укреплению его в «суб'ективистском» миросозерцании.

Подкралась незаметно осень.

Зет явился ко мне с глазами, утомленными от чтения, Бухнулся, как усталый пешеход, в мое скрипучее соломенное кресло. Слегда удавился затылком о висевшую на стене мандолину. Обернувшись, зверски содрал ее со стены и заиграл марш с такой энергией, что я стал опасаться за струны.

Оборвал игру. Потом прорезал тишину словами:

— Я больше не эсер.

Мне показалось, что друг мой болен переутомлением.

Прочтя в глазах моих недоумение, Зет просил, чтобы я был посредником между ним и Дядей, к которому я должен отправиться немедленно и заявить, что Зет хочет говорить с Дядей так конфиденциально, как никогда. Я решительно отказался быть посредником в том деле, которое мне не было ясно. К тому же всем известно, что Зет имеет полное право всегда притти к Дяде как другу и все ему рассказать. В крайнем случае, если Зет стесняется, я могу отправиться вместе с ним.

На том мы и решили.

У Дяди мы застали Серого.

Августовские тихие сумерки смотрели в большие окна. Мы видели, как во дворе ходят куры и кошка вытягивает шею у водосточной трубы. Комната незаметно темнела. Со стены смотрела на нас картина — копия с Айвазовского «Прибой волн», сделанная братом Дяди. На столе утомленным тихим жужжаньем дышал самовар и вокруг него стояли чашки с недопитым чаем, и какая-то обемистая книга лежала недочитанной, открытой.

Зет сделал заявление, что не может больше сочувствовать партии с.-р. Не разделяет больше ее идей. Читая Михайловского и Лаврова на ряду с Марксом, он сделал вывод отнюдь не в пользу столпов народничества.

Дяди был приятно поражен. Серый несколько растерян. Он спросил:

— А к какой же фракции, большевиков или меньшевиков, ты будешь теперь примыкать?

Зет ответил, что настоящими марксистами считает большевиков.

Наступило недолгое молчание, за которым Дядя внес дружеское заявление со своей стороны:

— Если ты не будешь читать реферата, то и я не буду. Твое заявление о переходе к с.-д. в этом случае будет достаточным агитационным аргументом.

Так и порешили. Все это выходило так хорошо. Но вот малая вещь может иметь грандиозное значение: где было нам достать помещение для большого собрания? Ведь если собрать все кружки, то нужно было бы такое помещение, где могли бы сойтись незаметно для шпиковского глаза около, а может быть и больше, пятидесяти человек.

У кого-то из нас явилась мысль отправиться за город и там выбрать какую-нибудь из заколоченных пустых дач (сезон дачный уже прошел). Это предложение показалось нам основательным и даже интересным. Отправились на поиски дачи Дядя, Серый, Черный, Евгеньев, Зет и я. За городом на холмах были построены дачи местных купцов. Мы бродили среди них. Упавший желтый и красный лист шуршал под ногами, как многослойный шелковый ковер. Большинство дач было так забито досками и так крепко заперто, что пробраться внутрь было трудно. Мы боялись еще и того — нет ли сторожей. Нас могут очень легко принять за обыкновенных воров. Наконец, нашли мы одну дачу, расположенную так углубленно в лесу, что влезать в нее было бы не так уж заметно со стороны. Нам предстояло приготовить ее для собрания, т.-е. уже сейчас забраться внутрь и изнутри отпереть какую-либо из дверей, чтобы собирающиеся могли пройти бесшумно и чтобы не пришлось менять внешнего вида дачи, т.-е. отдирать доски, которыми заколочены окна и двери.

Черный был великолепным акробатом. Он по столбу забрался на балкон второго этажа, осторожно отодрал вместе с гвоздями одну доску от окна, рискуя

порезать себе руки гвоздем, отпер окно, пролез внутрь. Мы стояли в саду дачи и с замиранием сердца ждали, что будет дальше. Я как самый остро- и дальнзоркий оглядывал вокруг, не идет ли кто. Наконец, мы услышали, как шопотом нас окликнул Черный: он изнутри снял с крючка кухонную выходную дверь, навалился на нее и тоже осторожно отодрал один конец доски, которым накось была забита дверь снаружи. Черный предстал перед нами и стал рассказывать, что дача вполне подходяща для собрания. В тот же миг мы услышали крики:

— Ату его, — и с лесистой горы, у подножия которой стояла облюбованная нами дача, на нас бросились три огромные собаки, за которыми с ружьем в руках шел сторож. Надежда наша была только на наши ноги. Мы пустились в отчаянное бегство. Не помню, какое препятствие помешало собакам преследовать нас до конца, но только, совершенно задыхаясь, мы вырвались таки из лесистых холмов и очутились на поляне. Сзади нас заглохали хриплые голоса злых собак. Нам приходилось с собранием торопиться. Поэтому, вопреки всем конспиративным правилам, мы решили собрать всю организацию на квартире Черного.

В квартире Черного собрались члены всех кружков: пришли даже так называемые вольнослушатели из других учебных заведений. Так, тут были техники гимназисты и гимназистки. Черный для вящей конспирации вытащил лахматный круглый столик, расставил на своем столике в беспорядке пустые пивные бутылки и стаканы из-под чая так, чтобы в случае неожиданного прихода полиции можно было бы представить невинную товарищескую вечеринку. Зесьма вероятно, что можно было бы и в самом деле чаме угостить публику, но гаков уж обычай созданя в нашей организации, что чаепитие нельзя было смешивать с серьезным революционным делом. Чаепитие у нас презиралось, считалось каким-то мамашничеством и вредным занятием на деловых собраниях.

Весьма немногие знали, что вместо рефератов последует заявление Зета, а вслед затем отказ Дяди читать свой реферат.

Заявления Дяди и Зета были встречены горячими аплодисментами на одной стороне и гулом неодобрения — на другой. Марксисты долго горячо аплодировали. Эсеры угрюмо, растерянно гудели. Но никто не назвал Зета изменником. Чувствовали, что с Зетом произошел крутой идейный поворот, что он перешагнул порог, перешел грань от стихийного мироизучения к сознательному пониманию мира.

* * *

Выпуск прокламации сделал свое дело: если о нашем существовании узнали жандармы, то, несомненно, и те подпольщики, которые работали, не подозревая о нашем существовании. Неожиданно к Дяде явился семинарист-чувашин из так называемой чувашской семинарии. Он принес с собой целую декларацию о том, что нелегальная организация чувашей-семинаристов, существующая уже свыше года в количестве тридцати человек, хотела бы примкнуть к нашей организации. Когда мы пытались установить, к какому крылу революционного движения примыкают они, эсеров или социал-демократов, то семинарист ответил, что это трудно сказать, так как их организация в области теории занимается еще только геологией для разрушения религиозного миропонимания, а по части практики хотела бы работать в контакте с нами и в частности предлагает использовать ее людей, хотя бы для подпольной техники. Для нас такая организация была прямо-таки находкой. Конечно, мы подвергли критике ее «геологию» и предложили перейти к прохождению наук социальных. А в отношении техники мы с удовольствием приняли их услуги. Семинаристы потом согласились с нашими советами и перешли к социальному самообразованию. По нашему же предложению они выбрали своего представителя в комитет. Присоединение семинарской организации к нашей было к нашим кружкам встречено с большим энтузиазмом.

Вскоре после этого в наш комитет неизвестно какими путями пришло письмо из Елабуги от организации учеников тамошнего реального училища. Персонально в письме в качестве представите-

ля организации назывался живущий и работающий в наших рядах и поныне тов. Бажанов. Получив это письмо, Дядя вступил с Бажановым в переписку. Аналогичная связь устоялась и с сарапульцами.

Для нас становилось очевидным, что в потемках, в подполье энергично работают сотни и сотни революционной молодежи, которые ищут связи друг с другом, ищут впотьмах, ощупью. Наша листовка — тот столб, за который хватаются впотьмах, по которому ищут пути дальше. Поэтому, не ожидая обращения к нам, мы сами стали разыскивать связи среди средне-школьных организаций Питера и Москвы.

Нашей деятельностью заинтересовались и чисто партийные организации эсеров и социал-демократов. От первых был студент Константин Белоруссов, который стал частенько посещать семью Серого, тем более, что сестра Серого тоже была эсеркой. От социал-демократов явился на квартиру Черного студент Бер, меньшевик. Он холодно и назидательно беседовал с Дядей, Зетом, Черным, Жуком. Предлагал всем сохранять и расширять влияние марксистов. Оставил нам на прочтение письмо Плеханова к революционной молодежи и, не оставив по себе доброго впечатления у наших марксистов, удалился. Он обещал доложить о нашей деятельности, которой он остался очень доволен, комитету социал-демократов, но мы подозревали, что весь комитет — это он сам и есть. Ведь именно в это время начались ужасающие разгромы партийных организаций. Хорошо было работать нам, о нас полиция и не подозревала, кроме того, к нам трудно было пробраться провокаторам.

Не раз опять морозными звездными ночами, гуляя со мной или Зетом, Дядя не без грусти в голосе говорил:

— Нет, я думаю, что партийные организации сейчас или влачат очень жалкое существование или их совсем нет, а комитеты превратились в какого-нибудь единоличного потомственного почетного хранителя партийной печати.

Отсюда Дядя делал вывод, что надо использовать максимально благоприятное положение, в котором мы, молодежь, находились и которое позволяло нам до поры до времени пребывать скрытыми

от бдительного полицейского ока. Нужно скорее, основательнее, энергичнее подготавливать себя к тому, чтоб сменить побитых, арестованных, повешанных, замученных, сосланных...

Это не только не мешало нам выступать на внешнем мире, как мы выступили уже с прокламацией, но именно подготовка наша к практике в том и состояла, чтоб немедленно, одновременно с усвоением революционных знаний, производить маневры.

И тому представился еще один великолепный случай.

Министерство народного просвещения, должно быть, в целях отвлечь молодежь от политики, стало проявлять усиленную заботу о различных развлечениях молодежи. Так, что касается нашего города, то тут в стенах средних школ начали устраивать балы за балами. Ученикам разрешалось приводить и барышень.

Как то раз, говоря на эту тему, щекоча молодые нервы шестиклассников, директор реального училища заявил, что, разумеется, нужно барышень и вообще знакомых на балы приглашать с большой осторожностью, в частности нужно непременно избегать, как бы в качестве гостей не попали прачки или их дочери. Этакое замечание среди молодежи, настроенной демократически, вызвало величайшее возмущение. Передавались из уст в уста слова директора. Ученики негодовали кровно. Мы решили воспользоваться таким настроением для организации открытого протеста.

Нужно было как-то вдруг явочным порядком устроить митинг. Как же это сделать? Мы были не однажды свидетелями как в 1905 году вдруг на чистой площади скопятся народ, как тучи, и, как гром в накопившихся тучах, вдруг загремит чья-то речь в сгрудившейся, набухшей человеческой массе. Мы видели, как в наших собственных коридорах реального училища точно так же происходило скопление человеческого материала, в центре его вдруг поднимался на невидимую трибуну оратор. Часто трибуной такому оратору служили плечи его товарищей, возносившие его кверху, и часто потом дающие ему возможность быстро нырнуть вниз и утонуть в толпе, если на нее набрасывались

жандармы или казаки. Но как же это сделать, как и где сгрудить материал человеческого? Встать на трибуну и произнести речь дело нетрудное, заманчивое, новое для нас, святое. А вот толпу как организовать? На этот счет не было никаких указаний в той литературе, которую мы проходили.

Значит, надо делать как выйдет.

А вышло вот как. Дядя, Серый, Зет, я, Жук, еще несколько человек из нашей организации находились в первую перемену в самой поместительной уборной нашей школы. В ней обычно набивалось битком народа, чтобы покурить (так как нам курить не разрешалось, то и курили только в уборной). Не помню по чьему велению или вследствие чего, но только я увидел Зета стоящим на окне и обратившимся с речью к толпящимся и курящим коллегам. Первые слова его: «Товарищи, внимание, товарищи...» уже были революционным сигналом. В звуке его голоса для многих прозвучал опять 1905 год с его митингами, маевками, явочными на улицах собраниями. Толпа насторожилась. Нашлись два-три труса, которые от греха подальше шмыгнули в дверь.

Зет держал речь о том, что, дескать, не поддавайтесь на удочку устройства балов, вечеров и прочее, это все придумано для того, чтобы отвлечь внимание молодежи от политики, чтобы дать возможность Столыпину безопаснее расправляться с русской революцией и вешать «на галстуках» товарищей, наиболее горячо преданных революции.

Перемена давно уже кончилась, а речь Зета только-только расцвела. Его Дядя дернул за полу тужурки, дескать, на сей раз будет. Зет спрыгнул с окошка и в ту же минуту с неприличного места уборной, как с трибуны, поднялась фигура другого оратора, незнакомого нам человека. Он произнес краткую, выразительную и яркую речь в пользу идей Зета и призвал в полном согласии с последним к бойкоту вечеров и балов в знак протеста.

Тем и закончился наш первый летучий митинг. Выступавшего товарища из толпы мы заметили и решили потом завербовать в организацию.

Этим митингом было создано революционное настроение в школе. В некото-

рых классах смельчаки стали распевать громко революционные песни. Через несколько дней нам удалось уже по-настоящему собрать митинг в помещении одного из классов. Митинг мы собрали очень просто: в перемену ходили по классам и громко возглашали: товарищи, на митинг! Знакомый призыв тысячи девятьсот пятого года. И шли, шли многие. На втором митинге мы уже избрали председателя. Выбранным оказался юноша, настроенный приблизительно так, как тогда были настроены кадеты. Он соглашался с тем, что не надо учеников и вообще молодежь отвлекать от политики, но вместе с тем предлагал не придавать митинговым выступлениям революционного характера. Оппонентами ему выступали Зет, Жук и др. Дядю как нашего теоретика мы оберегали от открытых выступлений, да кстати, он тогда был и неважный митинговый оратор. Выступал опять тот, которого заметили мы в уборной. Он такими словами обрушился на тех, кто хотел бы предпочесть балы политике: — У этих людей, — говорил оратор, — на голове духи и помада, а в голове торичеллиева пустота. Митинг проходил так организованно, что его администрация не могла разогнать. На этом митинге выдвинулся еще один наш сторонник. Высокого роста краснолицый юноша, с каким-то святым и грустным выражением глаз, с симпатичным, немного хриплым голосом полупророка, полуархипастыря. Мы заметили и его.

Митинг вынес решение идти к директору с требованием не устраивать вечеров.

Когда через несколько дней делегация митинга гудела и толпилась в преддверии квартиры директора, школьный надзиратель, известный у нас под именем Чувашина, обращаясь к ученикам, говорил:

— Балы тут не при чем, это вас красные используют, красные мутят в своих целях, — и очень недвусмысленно указывал на меня, Зета и Жука.

Дядя потом, помню, смеялся над этим и говорил:

— Вот как прекрасно: у нас есть и комментатор политической стороны начавшегося движения!

Директор долго препирался с учениками и в конце концов уступил: намечавшийся вечер был отменен.

Окрыленные первой победой, которая поистине была сотворена нами, мы пошли дальше, и уже не проходило перемен, чтоб в классах не пели революционных песен.

Зет и некоторые другие товарищи предложили выпустить листовку, в которой содержалось бы политическое объяснение нашего молодого протеста. Вокруг этого предложения разгорелись горячие прения. В особенности от того, что против предложения выпустить листовку стал и Дядя. Такое неожиданное осложнение могло сулить провал идеи листовки,

Но случилось вот что.

На одном из главных решающих собраний, происходивших на квартире того самого румяного реалиста, у которого собирались в первый раз, Дядя, выступавший много раз против Зета, вдруг как-то особенно проникновенно выслушал его доводы «за» выпуск прокламации. Потом взял слово и заявил, что все то, что он говорил против выпуска, он берет назад. Доводы Зета его убедили. Такое заявление переопрокинуло всю картину. Предложение выпуска быстро собрало большинство, тем более, что к тому времени наша организация пополнилась теми товарищами, которые примкнули к нам после митингов, как тот, что выступал в уборной, или высокий с пророческим голосом и многие другие. Все они были очень лево настроены, так как и пошли-то к нам под влиянием главным образом настроений. Высокий оказался толстовцем, но был революционер как настоящий максималист. Его прозвище Струй. У одного из этих новых товарищей мы поставили нашу самодельную типографию, т.-е. гектограф. Прокламацию писали совместно Дядя и Зет.

Распространена прокламация была очень широко, смело, безбоязненно. У нас в классе например Вениамин вставил прокламацию в рамку, вместе списка учеников. Там она была для всеобщего обозрения несколько дней, пока какой-то глазастый педагог не рассмотрел, что это был за «список».

Одновременно мы стали использовать

легальные возможности пропаганды. В заданных сочинениях например, которые читались в классах вслух, мы старались хоть где-нибудь, хоть как-нибудь да оттенить все-таки марксистскую точку зрения. Один из нас в сочинении на тему о характеристике Плюшкина квалифицировал последнего как продукт торгового капитала и ссылался при этом на Богданова. Мы требовали введения рефератов по русской литературе. Нам удавалось в некоторых классах добиться этого, и тогда рефераты превращались без малого в агитационные речи.

Так в энергичной, немного уже опасной теперь, захватывающей по своему интересу деятельности прошел весь год.

К концу его мы решили написать в те города, где были у нас связи с подпольными ученическими организациями, предложение созвать к концу будущего года всероссийский съезд революционных средне-школьных организаций, который бы выделил из себя центральный комитет для руководства всем движением молодежи. А пока что мы поручили Дяде заняться подготовкой устава для такой всероссийской организации. Будущий год, когда мы будем в последнем классе, мы предвидели как год подготовки к всероссийскому съезду.

Веселые, с хорошими успехами перешедшие в последний класс, мы отправились в путешествие по Волге с тем, чтобы на несколько дней остановиться у родителей нашего друга Серого, который теперь тоже перестал эсерствовать и окончательно примкнул к дружеской группе Дяди.

Сначала ехали пароходом, потом, — и это было самое интересное, — лошадьми.

В семье Серого мы отдыхали по-настоящему: пили, ели, спали на балконе, купались в пруду, смотрели веселую провинциальную драму: «Мечта Атанаса», Атанас похищает свою мечту в кофте и юбке из окошка, при этом мечта оказывается такой грузной, что при вынимании ее из окошка рушится вся декорация, а публике весело, она просит бисировать эту сцену, но, не зная заморского выражения «бис», кричит попросту, по-русски: «Сызнова, сызн ова». Все это смехом выгоняло из нас

усталость и чересчур серьезные наши думы.

На обратном пути я заметил, что что-то приуныл наш самый старший приятель Черный. Мы относились друг к другу деликатно, и поэтому я ни о чем его не спрашивал, но почему-то вспомнил, как два раза Черный дольше нас других остался на крыльце, окутанный летней теплой чернотой вместе с совсем еще молодой, хрупкой и изящной сестрой Серого, гимназисткой Верой.

И, может быть, вспомнив это, я начал неволью и незаметно от себя завидовать прекрасной грусти красавца Черного.

4. „Солнце всходит и заходит“

Наступивший последний год нашего пребывания в средней школе начался с плохих предзнаменований.

Директор училища вызвал к себе по очереди товарищей Жука, младшего брата Дяди и еще многих, преимущественно тех, кто был на один класс младше нашего поколения, тех, которые должны были заменить нас, как только покинем мы стены средней школы. С каждым в отдельности поговорил дальновидный и неглупый старик и каждому сказал примерно одно и то же, а именно: не поддавайтесь влиянию таких товарищей, как Дядя или Зет или Черный. Это опасные люди, они заведут вас в пропасть, мне, директору, доподлинно известно, что вы посещаете какие-то там кружки. Смотрите, эта игра не доведет до добра, бросьте ваши кружки. Кто-то из вызванных товарищей попробовал утверждать, что нет никаких кружков. Директор цыкнул на гуна и сказал, что ему все равно все известно.

Брат Дяди рассказывал, что кто-то слышал подозрительный разговор, который вел директор с тем товарищем, который первый выступил на первом митинге, прозвание этому товарищу было, кажется, Котик. Будто бы слышали, как Котик называл фамилии товарищей, входящих в организацию.

Однажды в перемену Зет шел по коридору рядом с Дядей. Они прежде не раз прогуливались так по коридорам.

На этот раз подошел к ним инспектор и, величественно подняв свою руку, опустил ее между Дядей и Зетом, разведив их таким образом. На вопросительный взгляд огорченных товарищей инспектор таинственно пояснил: отныне директор запретил Зету и Дяде находиться рядом в стенах школы. (Дядя и Зет были хоть и в одном классе, но в разных отделениях).

В другой раз меня встретил во время перемены надзиратель Лукояныч и, подмигивая иронически своим черным глазом, подзадоривал: ну, что же, учебный год начался, собирайте митижек-то, митижек-то, что ж вы забыли?

Тем не менее мы в организации и вне ее продолжали свою работу, и организация наша росла. Один из вновь вошедших, по прозвищу Ласс, подошел как-то ко мне и стал уговаривать меня устроить экспроприацию в канцелярии училища, чтоб обратить деньги на нужды организации. Револьверы и маски для экспроприации Ласс обещался достать сам. Я рассказал об этом Зету и Дяде. Те отнеслись к этому как к провокации. С тех пор мы решили взять на подозрение Ласса и строго за ним следить. А Ласс не унимался, и после провала его предложения об экспроприации он стал предлагать мне взорвать печку в одном из коридоров. На мой вопрос, зачем это нужно, ответил, чтоб революционизировать школьные массы.

Когда и это предложение провалилось, то Ласс уже без всякого предложения в компании еще с одним членом нашей организации отодрали драпировку от царского портрета в зале. При чем сделали так ловко, что никто их не поймал.

В нашем классе появился поп, преподаватель закона божия, который, являвшись на урок, заявил, что он всех желающих спорить вызывает на бой по вопросу о том, существует ли бог. Согласно нашего решения использовать легальные возможности, «на бой» выступили Серый и Григорий, тоже член нашей организации. Вскоре оба были исключены с правом держать вступительный экзамен во второй половине года.

Их исключение опять вывело на «улицу» нашу организацию. Мы собрали огромный митинг в одном из центральных коридоров и забаррикадировались. Председателем митинга был избран Зет. Все прения, весь митинг прошел под руководством нашей организации. Мы вынесли резолюцию требовать обратного приема уволенных. В день митинга нам удалось почти во всех старших классах сорвать занятия. Стены нашего училища опять огласились громогласным пением марсельезы, «Варшавянки», «Красного знамени». Мы угрожали забастовкой. Влияние нашей организации на молодежь теперь было так велико, что мы действительно без риска быть проваленными могли предложить забастовку. И предложили бы, если б начальство, испугавшись действительно нараставшего движения, не приняло через три дня обратно исключенных. Нечего и говорить, как ободрила нас вторая крупная и ощутимая победа.

Однако мы не упивались ею. Мы продолжали вести методически и бесперебойно занятия в наших разросшихся теперь кружках.

В этот год и Серый окончательно отошел от эсеров и примкнул к группе марксистов. Я сделал это несколько раньше его. Наша руководящая пятерка стала теперь искать контакта непосредственно с рабочими. Для нас было ясно, что социал-демократический комитет задушен окончательно и что мы, свежие силы, должны самочинно его заменить. Зет использовал свое положение. Его отец был мелкий предприниматель, у которого в мастерской находилось десятка полтора рабочих. Все они были дружны с Зетом, знали, что он ведет революционную работу. Через них Зет установил связи с другими рабочими.

В одно прекрасное весеннее воскресенье Зет, Серый и Дядя впервые надели штатские пиджачки и отправились на рабочее собрание.

Потом они рассказывали мне, что у них было такое чувство, словно они, как в сказке богатырь, коснулись матери сырой земли и от нее набрались той особенной большой силы, которую никак не приобретешь из книжек. Книжки

помогали понять, но не действовать. Умение действовать приобреталось в действии.

Вся эта напряженная работа не приостанавливала, а еще, может быть, более стимулировала культурную жизнь молодых революционеров. Субботники литературные продолжались. На концерты ходили. В особенности влюблен был в музыку Дядя. Он не пропустил ни одного симфонического концерта, ни одного замечательного музыкального выступления. Мы с ним слушали и скрипача де-Сикарда, и пианиста Боровского, и лекции по истории музыки Шора, и Симфонию Шехерезады. Слушая концерт, Дядя часто восторженно хвалил меня за плечо или коленку: «Слышишь, слышишь, какие чистые звуки у Моцарта». Или: «Вот, вот, это революционное выступление Моцарта, его концерт, когда оркестранты постепенно покидают зал. Это забастовка артистов во дворце феодала». А Бетховен, Бетховен, революционный, сильный, слепой Бетховен, как воодушевлял он Дядю! Не даром над его кроватью в скромной комнатке красовался портрет Бетховен без шапки, руки назад, идет навстречу грозе и буре.

Больше всего на Дядю действовала музыка. Он и сам тогда умел из струн скрипки исторгать многие прекрасные звуки. Иногда по воскресеньям четыре брата—Дядя и его три брата—угощали нас хорошим скрипичным квинтетом.

К весне наша организация решила снова, в третий раз выпустить прокламацию.

Дело это было в конце марта.

Вышел я из квартиры Черного, где происходило печатание прокламации, поздним вечером. Под ногами хрустел тонкий лед; прикрывавший лужи, а над головой совершался торжественный хоровод бесчисленных и ясных, как честные глаза, звезд. Одна, Венера, мигала особенно отчетливо и была огромной, она будто выражала собой удивление и восторг перед величием и нескончаемостью вселенной. После душевной и накуренной комнаты Черного мартовский воздух такой широкий и свежей струей врвался в грудь, что освобождал от всего житейского, трудного, заботливого или все это трудное, житейское, заботливое превращал в восторг, который

бывает только ранней весной и только в девятнадцать лет!

Словом, придя в свою комнату, я свалился на кровать как сноп и заснул, не успев прикоснуться к холодной подушке.

Через два часа, когда на нашем дворе перекликались петухи, меня неприятно разбудили. Глаз резал свет фонаря. Передо мной стоял околочный, полицейские и шпики с фонарем. Я не знаю почему и по какой ассоциации, я, некурящий, первым долгом попросил у них закурить. Меня трясло как в лихорадке. Я знал, что это нервы. Но сладить с ними не мог....

* * *

Сначала я сидел в арестном доме при полицейском управлении. Там же, но в других камерах, находились Зет и Вениамин. От родственников, приходивших ко мне и к другим моим приятелям на свиданье, я узнал, что арестованы также и Черный, и Серый, и Дядя. Последнего арестовали позже всех. Его вызвали на допрос в жандармское управление и больше он оттуда на свободу не возвратился. Черный и Дядя, и Серый сидели уже в тюрьме. Мы с Вениамином и Зетом досадовали, что нас держат в участке, будто мы менее важные преступники. На первом жандармском допросе пробудившееся почему-то тщеславие меня так и толкало сказать жандармам: «Я ведь тоже немаловажную роль играл в организации, отчего вы меня в тюрьму не отправляете. Сделайте милость, отправьте!»

Я хоть и был в одиночной камере, но в ней, ей-богу, ничего не было такого, что я знал о заключениях в тюрьмах. Просто это была просторная комната, плохо обставленная и пахнущая карболкой. Окно, правда, с решеткой, но большое, как в обыкновенной квартире. И словно, чтоб еще больше подчеркнуть эту домашнюю обстановку, ко мне вошел однажды сам заведующий полицейским домом, высокий и неуклюжий околочный. Вошел, сел мирно на кровать, саблю расположил между ног, не торопясь закурил, покраснел и молчал. Мне захотелось ему предложить стаканчик чаю, но тут же я напомнил себе, что ведь я не дома. Попыхтев несколько минут, околочный, давась словами, заговорил:

— Не можете ли вы немного подрепертировать... Вы студент?

— Нет еще, я реалист последнего класса реального училища, меня арестовали почти накануне выпускных экзаменов...

— Гм, ну это все равно, подрепертировать вы можете.

— Кого же это?

— Да меня, конечно.

— Вас... что ж могу вас подрепертировать... По какому же именно предмету, не по арифметике ли? (Математика была мой любимый предмет.)

— Нет, арифметика что... я ее, арифметику-то, еще мальчишкой всю, можно сказать, босиком превзошел... По грамматике бы мне, по русскому бы языку...

Я согласился репетировать сорокапятилетнего околочного. Но едва мы два дня прозанимались, как меня и Зета к моему великому удовольствию отвезли в тюрьму.

Я ехал туда на извозчике в сопровождении двух городских вне себя от любопытства и радости. Я старался сравнить себя с Желябовым...

Тюрьма мне сразу понравилась: все в ней было деловито и серьезно, все как-то поставлено по-столичному. Когда на фоне тюремного коридора в то время, когда вели меня в камеру, я заметил свою немного сутулую тень, я проникся уважением к самому себе. Зет, шествовавший рядом со мною, был также весел, словно шел не в тюрьму, а по крайней мере, на желанную свадьбу. Он толкал меня в локоть и любопытствовал, вместе или не вместе посадят нас. Посадили вместе, в общую камеру, где уже было восемь человек студентов. Двое из них оказались наши знакомые эсеры. Все похоже было скорее на какую-то веселую студенческую вечеринку, чем на камеру. Книжки, тетради с записями, куски колбасы по длинному деревянному столу, жестяные чайники, кружки, хохот, остроты, дискуссии, игра в шахматы. Опять у меня пропало уважение к тюрьме. А тут еще не успел я притти, как надзиратель отпер дверь и весело крикнул: — Оправляйтесь.

Все мы устремились из камеры в уборную и коридоры. В это же самое время впустили туда же и другую камеру, в которой было человек двадцать пять. В потоке людей второй камеры я быстро

милия вешателя Соловьев. Повешенный, но еще не удушенный так и кричал, чтоб оповестить нас:

— Соловьев — палач.

Мы узнали потом, что осенней темной ночью в Соловьева на улице кто-то неудачно стрелял.

В тюрьме много было политических каторжан. Они гуляли тоже довольно продолжительно. Обычно собирались у окон нашей камеры и начинались споры между нами, марксистами, и ими, эсерами. Один из них был красавец и прекрасный певец, готовивший себя к сцене. Он вместе с другими пошел по решению эсеровского комитета на экспроприацию и получил десять лет каторжных работ. К его очень добрым, слегка зеленоватым глазам, к его пенсне все-таки почему-то ужасно шли кандалы. Была в этом какая-то цельность. И сила. Часто мягким и приятным баритоном он на прогулках под нашим окном пел:

Крики чайки белоснежной,
запах моря и сосны...

Перед нами как в тумане, великаны-корабли.

Иногда он пел дуэтом с нашим приятелем эсером, который Плеханова обругал подлецом. Они изумительно пели:

Ночь, за что я люблю тебя так,
что, страдая, люблюсь тобой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПОПЕРЕК ЕВРОПЫ

1. Север

Как на картине Рериха: дома темные, высокие, словно исхудавшие подвижники-старцы в северных лесах. И река, как свинец, тяжелой и пенистой волной своей омывает подножие этого высокодомного темного города. Город строгий, северный, умытый ветрами, сушенный морозами, кропленный дождями из низких сизых туч... Серобревенчатый город... Такой печальный он, что сама местность, где расположен он, лес и река, окружающая город,—все вдруг вот только теперь, когда стали мы подезжать к городу, показались невыносимо пустынными, еще не освоен-

Баритон словно вей душой обращался к ночи и пел-говорил:

Разрешит ли сомнений тяжелый вопрос,
даст ли сердцу желанный ответ.

Дала ли в самом деле ему хоть одна из его ночей желанный для него ответ? Не знаю. Но все мы сильно чувствовали его пламенный вопрос и так понимали его, что всегда требовали повторить не один раз пение этого романса.

* * *

Просидев в тюрьме утробный период, 9 месяцев, нам, среднешкольников, объявлен был приговор департамента полиции: Черный—в Архангельскую губернию на три года, Дядя, я, Зет и Серый—в Вологодскую на два года, остальные наши сверстники на два года за пределы столичных и других губерний.

Тот самый товарищ Ласс, который предлагал мне экспроприацию и который, будучи арестованным, был затем вскоре освобожден, узнав о нашей участи, взял охотничье ружье, ушел в лес и выстрелил в себя. Он умер в страшных муках. Говорили, что именно он и был главным предателем в нашей организации.

В качестве особой милости к нам, как еще совсем молодым преступникам, Столыпин разрешил нам отправляться в ссылку не этапом, а на свой счет.

ными человеком, еще слишком необычными, еще чересчур свежими.

Подъезжали мы на небольшом, чистом северном пароходе по реке Сухоне к новому для нас унылому городу... Там все для нас чужое. Мы не знаем, куда же деться нам с пристани. Зет остался караулить на пароходе вещи, а Дядя и я отправились искать по городу комнатку. Только мы втроем угодили в этот город. Серый был отправлен в другой, лежащий западнее нашего, а Черный вовсе в Архангельскую губернию, в Холмогоры.

Недолго бродили мы с Дядей по таинственному и неприветливому городу: при переходе через мостик какой-то

нашел Черного и Дядю. Расцеловались. Расспросам, рассказам не было конца. В уборной в печке-голландке Серый пристроил на углях чайник и кипятил сладкое какао на молоке. Ну хоть бы одно угрюмое лицо! До того были все веселы и беззаботны, до того не чувствовали и не замечали администрацию, что казалось, будто мы решили поиграть в тюрьму. И только потом я убедился, что такое свободное положение в тюрьме — лишь прямое отражение соотношения сил борющихся на воле. Сила революционной волны была еще достаточной, чтоб обеспечить нам в тюрьме сравнительно легкий режим. Я потом научился различать, как этот режим колеблется в зависимости от изменения силы борющихся... Погугорив в уборной, мы парами и тройками, взявшись дружно за пояса, прогуливались по тюремному коридору, словно в кулуарах университета. После получаса такой прогулки нас снова пригласили в камеры. И тут мне сказали, что начинается конституция: время, в течение которого перед сном надо соблюдать абсолютную тишину, чтоб дать возможность желающим читать или писать.

Утром я был разбужен громким голосом, прокричавшим:

— Вставай, подымайся, рабочий народ.

Спросонок мне показалось, что в тюрьму ворвалась демонстрация с улицы, начинается наше освобождение и освобождение всей страны. Увы! это весельчак тюремный надзиратель, заменивший вчерашнего грустного и меланхолического надзирателя, просто будил нас.

Однажды во время «конституционной» тишины один из эсеров, читавших Плеханова (эсер ходил вдоль камеры) вдруг истерически протяжно крикнул:

— Подлец! — и книга Плеханова полетела под стол. Мы обратили свои взоры к кричавшему. Тот сердито вращал белками и, поджав зло губы, молчал.

— Кто подлец? — спросил его робко его приятель, женоподобный румяный и хрупкий эсер, читавший Ферворна.

— И ты еще спрашиваешь, кто?! Да, разумеется, он, — эсер ткнул пальцем на валяющуюся книгу, — Плеханов!

Книга была «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» и

лежала развернутой на той странице, где Плеханов вкладывает в уста народникам такие слова по адресу марксистов: «Ну, что же, вы учнее, зато мы добрее вас».

Среди нас, интеллигентов, было несколько и рабочих. Один из них, булочник, не охотник был до чтения, зато любил поспать. Когда приходило время конституции, он вставал на нары и, приготавливаясь ко сну, расстегивал свои брюки, а всех остальных уведомлял:

— Как обычно, я ложусь спать и объявляю конституцию!

Сидели с нами и два татарина, которых почему-то все звали «чинжалами». Они тоже читать не любили, хотя упорно себя причисляли к эсерам.

Раз в день в течение двух часов мы гуляли во дворе. Играли там в чехарду, в слона и пр. И все, все было бы совсем недурно. Но вот вдруг приводили из суда товарища, приговоренного к смертной казни, и мы знали, что не сегодня, завтра поведут его ночью на наш двор, недалеко от того места, где мы гуляем днем, и повесят, и товарища больше не станет. В ожидании казни тюрьма затихла. Приговоренных, как нарочно, держали по месяцу и полтора, не приводя приговоры в исполнение.

Мне раз пришлось видеть такого товарища. Он уже около месяца каждую ночь ждал, когда за ним придут и на петле уничтожат его, человека. Он сидел на подоконнике своей одиночки, равнодушно смотрел на часового, который требовал, чтоб арестованный сошел с подоконника, иначе часовой грозился стрелять. Сидевший на подоконнике молчаливо соглашался, чтобы часовой стрелял. Но тот не стрелял, не рещался убить того, кого, может быть, этой же ночью повесят. Приговоренному к смерти ничто не страшно, ничто, кроме смерти, ему не угрожает.

Другой приговоренный почти до самой своей роковой ночи бодро и настойчиво изучал на немецком языке философию Канта.

Третий приговоренный долго не мог задохнуться в петле и, уже болтаясь на перекладине, отчетливо в ясном ночном воздухе выкрикивал фамилию того старшего надзирателя, который вешал. Фа-

речки, рассекающей* город на две части, мы встретили студента, страдающего припадками эпилепсии. Студент оказался питерцем, эсером, и тоже конечно ссыльным. Он-то и помог нам устроиться у одной богомольной старушки.

Комнатку мы взяли тесную, но светлую, как келью. Вообще во всем городе было что-то похожее на скит. И мы сами чувствовали себя беглыми или опальными иноверцами, основавшими здесь скит.

Однако принялись усердно за занятия. Как ни странно, погоузились в естествознание. Дядя углубился в физику Зилова, я — «Жизнь растений» Тимирязева, а Зет — Мечникова «Этюды о природе человека». Так как мы жили совсем бедно, полиция выдавала нам ничтожные крохи на содержание, то мы экономили на всем, в частности по вечерам не имели возможности зажигать керосиновых ламп и часто читали при свете лампы, аккуратно зажигаемой старушкой перед образом Николая чудотворца. (Почему-то всегда старушки любят этого седого святого!)

Было лето и было тепло. И по ночам часто не спалось. Мы не могли понять, почему бы это, а руки сами тревожно что-то, кого-то искали в пустой тьме нашей холостой, почти монашеской кельи.

В квартире с нами поселились две воспитанницы местной прогимназии. Они ничего особенного не представляли, они были только обыкновенными барышнями с наивными голубыми глазами, со вздернутыми остренькими носиками, с небольшими густыми косами, с веснушчатыми лицами. Мы почему-то, проходя мимо их комнат, громче обыкновенного разговаривали. А они при встрече с нами торопились, смеялись и старались не смотреть на нас.

Как-то раз мы ушли с Зетом, оставив дома одного Дядю. Я впрочем скоро вернулся, пришел в свою комнату, но Дяди там не застал. Думая, не пошел ли он нас догонять, я опять — кепку на голову и к двери. Проходя прихожую, я заметил, что дверь «девичьей» комнаты была отворена. Я увидел картину: девицы сидели на сундуке около стола, на коленях у каждой было

по раскрытой книжке. Посредине комнаты стоял как вкопанный Дядя.левой рукой он шевелил волосы на своем затылке, что было всегда признаком его большого смущения и того, что, несмотря на смущение, он должен высказать то, что решил. А он в это время высказывал следующее:

— Вы русский язык по какому учебнику проходите?

— По Незелену, — дуэтом пискнули барышни.

— У нас тоже по Незелену. Хотя мы пользовались Саводником.

И вдруг этот краткий разговор свернулся в тяжелое молчание. Девицы не знали, что нужно дальше говорить. Дядя не рассчитывал, что девицы замолкнут, и тоже не знал, как выходить из молчания. Мне смертельно хотелось подсказать, просуфлировать Дядю: если нечего говорить, скажи «до свиданья» и ходу, а если не хочешь, спроси, что у них за книги в руках. Но я побоялся смутить своего друга и тихо вышел, оставив за собой эту живую картину.

Когда мы с Зетом вернулись, мы стали весело подтрунивать над Дядей, над его несмелой смелостью. Дядя был великолепно смущен и никак не мог понять, откуда мы узнали о его рейде в соседнюю комнату.

Несмотря на этот рейд, отношения нашим с соседней комнатой не суждено было развиваться.

К осени мы узнали, что Черному заменили ссылку выездом за границу, куда он собирался теперь отправиться из своих Холмогор. Мы решили, что нам необходимо связаться покрепче с заграничным большевистским центром, и поэтому один из нас, а именно я, должен был бежать.

Стали готовиться к организации этого побега.

Я читал раньше о побегах, о жизни за границей, о тяжелых условиях нелегальных скитаний, и все это манило меня к себе, как манят гимназистов, начитавшихся Майн-Рида, американские прерии, льяносы и пампасы. В эти полтора месяца, которые я прожил до дня своего побега, я почти исключительно читал литературу о побегах из тюрем и ссылок. Только побег есть тот огонь, на котором пробуют золото человеческой

выносливости, находчивости, удачливости.

Серьезным препятствием являлось отсутствие паспорта. Но я соглашался пуститься в опасный путь и без паспорта. Еще более серьезным затруднением было достать деньги, но я и этим решил пренебречь: что такое деньги, когда в жилах горячая кровь и в теле мускулы, не изведавшие еще серьезного сопротивления? Я и деньги отверг, т.-е. не согласился их ждать.

Эсер Завьялов (присяжный поверенный) взялся помочь в этом мне. Он уже не раз способствовал такому делу.

К нашему смиренномуудрому городку подходили проезжающие из Архангельска и Великого Устюга бегущие вверх по течению, на юг, прямо в Вологду пароходы. На одном из таких пароходов, пожалуй, самым маленьком из всех, у Завьялова был знакомый официант. С ним было условлено посадить меня в кладовку для продуктов. Ехать предстояло полтора суток. Потом в пути официант мог по своему усмотрению, сообразуясь с опасностью, либо выпустить и поместить меня в общей каюте, либо оставить всю дорогу в кладовке, подавая мне туда пропитание потихоньку от постороннего глаза.

Самое трудное было провести меня на пароход. К пароходу выходила почти вся уездная полиция, все шпики. Ссылному можно было конечно притти на пароход, и мы часто бывали на пароходах, просто чтоб провести время, выпить пива на палубе и т. д., но мы всегда находились под неусыпным оком стражников и околоточных. Стражники стояли и на узких мостках, по которым надлежало пройти на пароход.

Долго мы думали, как это сделать. Но безгранично долго думать было нельзя, ибо пароход со знакомым официантом скоро должен притти, и если мы его пропустим, то ждать придется чего доброго целый месяц. Мы торопились. Не выработав никакого плана, решили действовать наудалую.

Как только подошел пароход, так компания ссыльных человек в двадцать отправилась туда «кутить»: выпить пива и съесть по бутерброду. Меня поместили в центр группы, идущей на пароход, я наклонился, присел и на корот-

ках прошел с полквартила до мостков и также по мосткам. Стражник, стоявший на мостках, глазами сосчитал людей в нашей толпе, меня, сжившегося по середине, заслоненного со всех сторон, он не приметил. На пароходе, когда мы проходили мимо машины и я уже пыхтел, шагая на короточках, из последних сил, меня рука официанта схватила за шиворот, осторожно-ласково вытащила из толпы и всунула в тесное, где можно было только стоять, помещение и где было неимоверно душно. Как потом оказалось, это была бывшая кладовая, ей теперь не пользовались, ибо, — она находилась в непосредственной близости с машиной, — в ней бывала такая температура, что ни один продукт вынести не мог бы. Но мне предстояло быть таким продуктом, который должен был вынести. Над головой я слышал, как там, наверху, пируют мои друзья, доносились до меня их голоса и смех, а с меня пот лил градом и глаза готовы были лопнуть от жары, а сердце вот-вот могло каждую минуту выскочить. Не было в тесном помещении ни окна, ни света, ни щелки. И словно нарочно откуда-то снизу нагнетался самосильно пар. Если бы пароход еще одну минуту не отошел, я готов был, во имя спасения моей жизни, как таковой, выскочить наружу, сознаться во всем и, вдохнув чистого воздуха, возвратиться во свояси, в келью ссыльного. Но пароход во-время заработал колесами. Голоса моих приятелей, их вольные смехи, их песни я уже слышал на песчаном отлогом берегу. Значит все благополучно. Через несколько минут проклятая дверь отворилась. Официант провел меня в общую пассажирскую каюту второго класса, где, сотрясая воздух страшным храпом, спал какой-то купчина, подвыпивший изрядно.

Ехал я хорошо. Отрекомендовался купцу учителем. Вместе с купцом чай пили, одним полотенцем пот утирали, угощали друг друга рассказами, не всегда приличными. И так доехали до Вологды. Сойти на берег мне надлежало лишь после сигнала официанта, который усановит, что на берегу и на мостках все спокойно, что там нет жандармов, нег сындиков, согладатайствующих, не попадется ли убежавший. Одним сло-

вом, до его сигнала я не должен двигаться. Но вдруг случился совершенно непредвиденный «пассаж».

Как только мы пристали к Вологде, купец полез в карман и обнаружил, что у него пропали часы. Пропасть они могли только сегодня ночью (в Вологду мы приехали часов в восемь утра), и никого, кроме меня, в каюте с купцом не было. Дело ясное. Купец взглянул на меня взглядом победителя и нажал кнопку звонка. Явился официант. Купец объяснил ему. Официант явно встревожился. Я еще больше. Неужели сейчас и так бесславно я буду пойман? Пойман в подозрении, что вор, и еще обнаружат, что я бежавший ссыльный? Неужели, только чтоб полтора суток быть полуосвобожденным, нужны были все усилия? А Париж? а за граница? Из-за какого-то шального случая все погибло. И так бесславно, так поганно! Вот уж такой гибели я не предвидел. Все, что угодно, только не такой случай. Размышлять некогда. Бывают случаи, когда спасение в риске. Я просто двинулся к выходу. Купец попытался заслонить мне дорогу и крикнул:

— Обыскать вас нужно, молодой человек!

Купцу преградил ко мне дорогу официант и в свою очередь крикнул купцу:

— Мы не полиция, мы не можем обыскивать. Потрудитесь подать...

Я не расслышал, что спаситель-официант говорил погубителю-купцу, потому что опрометью мызнул я по коридору на палубу, а там к мосткам, через мостки, не обращая внимания на стражников, затесался в толпу прочих пассажиров, сошедших на берег, да без оглядки вперед, в улицы, в улицы.

Ушел, кажется, ушел. Сердце билось не страхом, не угнетенно, а радостью, весело. Какое счастье побег, какое неизъяснимо прекрасное чувство того, что опасность осталась позади тебя! Ты перепрыгнул пропасть, которую нельзя было обойти!

В Вологде у меня была явка к одному бывшему ссыльному. Он теперь навсегда остался в Вологде и служил в земстве. Жена его, полная, рыхлая провинциалка, хорошо играла мне на рояли. Я сидел вечером под зеленым абажуром лампы, накормленный доброй

пищей. В комнате был уют и спокойствие. Со стен смотрели Каутские, и Марксы, и Бетховен. И все они здесь были такие спокойные, потому что они были только украшением. Глядя на доброе, немного обрюзгшее лицо земца, марксиста, социал-демократа, на его жену, мягко сидящую на круглом табурете за роялем, на всю их бездетную старосветскую уютность, я думал: может быть, Маркс и Каутский и Плеханов своими идеями тоже служат для украшения их мышления, только для украшения? Их теории для моих милых хозяев, так по-доброму приютивших меня, вовсе не инструмент для действия, не инструмент, а цветок в вазе для украшения. Категория не политическая, а эстетическая. И все, что мне ни говорили они и что бы я сам им ни говорил, все было не то, что хотелось. Мне мучительно хотелось им задать один вопрос, но так, чтобы получить искренний ответ, прямо из сердца, а именно: если надо будет, подставляя свою грудь под пули врагов, самому в них стрелять, вы, марксистские Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, сможете это сделать или нет? Я конечно не задал такого вопроса, они непременно сочли бы его детским и не ответили бы.

Я скоро забыл эту добрую и счастливую марксистскую пару. В ушах моих звенели только мягкие звуки бетховенской «Лунной сонаты», и я катил к Питеру.

Через несколько часов моя нога впервые ступит на те камни, по которым ходили Гоголь и Белинский, и Чернышевский, и Плеханов, и Ленин, и — у меня захватило дух подумать — и Желябов, и Перовская.

Я так много в эти несколько часов, отделявших меня от Питера, надумался о нем, что представил себе его шпииков и жандармов как самых гениальных и бдительных согладатаев. Я сам себя напугал и решил, не доезжая до Питера, соскочить хотя бы на ходу поезда у станции Охтенских заводов, где работал и жил знакомый мне по ссыльному городку рабочий Афанасьев. Поезд мчал на всех парах. По книгам Степняка-Кравчинского: «Домик на Волге» и «Андрей Кожухов» я знал, что можно выпрыгнуть довольно безопасно и на

полном ходу поезда. Я вышел на площадку. Посмотрел вперед. Огоньки, огоньки, везде огоньки. Часов уже 10 вечера. И вдруг налево небо запылало красноватым заревом. Это отблеск залитого электричеством Петербурга. Мне подумалось, глядя на это зарево, что орды скифов достигли наконец моря, уселись на его болотистых берегах и на радостях, что теперь они у моря, разожгли тысячи костров. Глаз мой нащупал впереди станционные огоньки. Поезд стал убавлять ход. Может быть, он еще убавит, и еще. Следует подождать. А может быть, он больше не будет убавлять, надо пользоваться моментом. Спрыгнуть не трудно, а ну как это вовсе не Охта, а что-то другое. Заплутаюсь я, бездомный, и попаду в руки строгих, опытных петербургских жандармов. Сомнения теснились. Я уничтожил их тем, что вдруг на один миг перестал вовсе думать и на ходу поезда, теперь замедленном, спрыгнул. Ударился щекой и боком о землю, но быстро встал. Только щека поцарапана, а все остальное хорошо, благополучно. Продай, сомнения. Отступления нет. Шаггом пошел до станции. Оказалось, — Охта.

Не без труда, блуждая по темным переулкам и шоссейным дорогам, доплелся я к полуночи до дома, где жил Афанасев.

Он сам, и мать его, и отец, тоже рабочий, приняли меня как родного сына. Они еще не спали и кипятили кофе, так как сын-рабочий, т.-е. мой приятель, только-что пришел с ночной смены. Тесноватая, но чистая и вся белая казенно-заводского образца комнатка, в которой тут же была и кухня и умывальная, была ярко освещена огромной шарообразной электрической лампой у потолка. Поужинав хлебом с маслом, серым рыбным хлебом да куском колбасы, да широкой, толстой глиняной белой чашкой пахучего кофе, мы улеглись все вповалку спать. Несмотря на выпитый кофе, я спал здесь так, как, кажется, и дома не спал. До того прочно мое сердце было на месте и до того обеспеченной была завтрашняя радость пощипать моими ногами камни великого Петербурга.

Мне долго, месяца два, пришлось

безрезультатно попирать эти камни. Безрезультатно потому, что мне все никак не могли достать документов, необходимых, чтобы перейти границу. Ночевать становилось все труднее и труднее. Правда, в Питере я нашел в разных высших учебных заведениях многих школьных товарищей, — многие из них были даже членами наших кружков, — но теперь их настроение было другое, теперь они готовились стать «всамделишными» инженерами и архитекторами, и механиками, и каждый из них боялся задерживаться в разговоре со мной более, чем две минуты. В первую минуту правда радовались:

— А... Ты, милый друг, дорогой, — восклицали и принимали в широкие объятия, и даже глаза увлажнялись от переживаний. Я тут же по неопытности своей говорил:

— Пожалуйста, не называй меня теперь по настоящему имени и фамилии, я бежавший.

Это слово на моих многочисленных приятелей действовало, как ладан на чорта. Приятель сразу отходил на расстояние по крайней мере метра, сожалел меня, вместе с тем восхвалял геройство, смотрел на часы и говорил, что вот-вот сейчас надо ему бежать в чертежную, и убегал.

Но не все же были трусы. И среди молодых интеллигентов, среди будущих инженеров и специалистов нашлись такие, которые меня приютили у себя и оказывали мне всякую помощь. Таков например оказался т. Нефедов, бывший член нашего кружка. Он расспрашивал меня о Дяде, о Черном, о Сером. Тепло и приятно вспоминали мы с ним недавнее наше интересное время.

Часто бывал я у жены нашего товарища Кулеша, его я знал по Казани. Он был застрелен в Тобольске, в ссылке, каким-то адвокатом на почве ревности. Кулеша энергично принялась за отыскание мне паспорта.

Только благодаря ее содействию скоро все было готово. Я получил паспорт студента Горного института. Нефедов дал мне свою форму (он и был как раз студентом-горняком), и я отправился через Финляндию, якобы в Гаммерфест, в Норвегию, догонять экскурсию студентов, отправившихся с таким-то и

таким-то профессором для изучения горных пород. Такая экскурсия тогда действительно отправилась.

2. И — я!

Ночью я приехал в бельгийский городок Льеж. С моим тогда небогатым знанием французского языка добрался я до квартиры семьи Двиняниновых. Сам Двинянинов, человек немного постарше моего возраста, эсер и террорист, был женат на сестре нашего товарища Серого. За границу Двинянинов бежал с вечного поселения.

Неудачно я к ним попал: в эту ночь жена Двинянинова собиралась родить. Меня с места в карьер послали за доктором: как раз с моим приходом у молодёй женщины начались предродовые схватки.

Когда я на автомобиле искал по незнакомому, чужому городу доктора, сам только-что с поезда, только-что из темной России, где меня на каждом углу могли схватить и отправить в ссылку, мне казалось, что я действую в состоянии какого-то сомнамбулизма, во сне, в бреду. Все делалось отчетливо и особенно отчетливо запоминалось.

На другой день Двинянинов, который был уже студентом льежского университета и готовился стать инженером, несмотря на свою семейную радость (у него родилась дочь, которой он дал имя Ия, что должно было означать: вот появилась и я), вступил со мною в спор.

Он говорил мне, что мы болтуны, недоучки, что мы лезем в борьбу, смысла которой не понимаем, что, губя себя, мы губим тех, кого ведем за собой. Я думал встретить одобрение своему побегу. Какое тут одобрение! Двинянинов кричал на меня (совсем так же и тем тоном и с теми же аргументами, как то делал бы мой отец).

— Ну зачем вы бежали? Зачем? Цель вашего головоломного побега?

Прежде всего я удивился, почему это головоломного, а потом добавил, все еще не понимая, с какого рода человеком имею дело:

— Бежал, чтоб стать ближе к революционной партийной организации и научиться революционному делу с тем,

чтоб потом возвратиться в Россию для дела.

В ответ на это Двинянинов уронил свою большую голову на свои руки, широко раскинутые по столу, и закатился веселым смехом.

— Позвольте, разве вы тоже раскаиваетесь в вашей революционной деятельности? — спросил я его.

— Несомненно, — ответил он. — Если бы не мое мальчишество тогда, я бы теперь был уже инженером.

Таков сидел перед мной революционер и террорист, о смелой и энтузиастической деятельности которого я столько наслышан был. Мне стало горько, не по себе, но, чтоб довершить свои сомнения, я еще спросил:

— Что же вы думаете нужно мне делать?

— Выбросить дурь из головы, держаться подальше от революционных лодырей и начать учиться и проситься, чтоб вас простили и разрешили бы вернуться в Россию.

Все, все исчерпано, все ясно. Передо мной человек, у которого в душе былые боги его опрокинуты вверх ногами. А впрочем во всем остальном Двинянинов был страшный добряк, симпатичный человек и даже хороший товарищ. Смотрел я на него и удивлялся, и никак не мог тогда еще отделить в нем хорошего человека от плохого революционера, от ренегата, дезертира революции.

Тогда таких дезертиров мы характеризовали словом «мещане», но это не вполне верно. Я в своей жизни впервые видел перед собою конкретного «мещанина». И смотрел на него и удивлялся его превращению, и с тоской вспоминал своих милых, хороших друзей: Дядю, Черного, Серого и др., тех, которые там, в темной России, не выбрасывая оружия из рук, борются, учатся, как победить врага.

Тоска, временами по ночам, в особенности тогда, когда я поселился уже самостоятельно в отдельной комнатке, сжимала сердце до того, что я вскакивал и ходил, чтоб от тоски не умереть.

Однажды такой ночью мне принесли телеграмму, что Черный выехал из Москвы и едет в Льеж.

Радости моей не было пределов.

* * *

Черный приехал в драном пальтишке, хотя всю дорогу как состоятельный человек ехал в первом классе, весь заросший длинными волосами, отчего смахивал на дьячка. Не даром же в Льеже за ним бегали мальчишки и кричали: «Кюре, кюре» — что значит «поп».

После долгих усилий я склонил Черного постричься. Он доставил наслаждение парикмахеру, который расспрашивал, правда ли, что в России все носят такие длинные волосы. Я же опять не без трудов убедил милого и упрямого Черного заменить невозможные солдатские сапожищи, в каких он явился за границу, обыкновенными европейскими ботинками. Опять мы немало удовольствия доставили хорошенькой брюнетке-продавщице. Эта милovidная бельгийка наклонилась, чтоб стащить его сапоги. Сначала она приняла их за обыкновенные ботинки, но, увидав длиннейшее голенище, которое нескончаемо тянулось из-под брюк, бельгийка пришла в восторг и удивление. Медным, звонким голосом она мигом скликнула других продавщиц и даже самого хозяина. Все смотрели на сапог, передавали его из рук в руки, щупали, чуть не нюхали и опять спрашивали, все ли в России носят такие чудные сапоги. Когда Черный не без гордости ответил, что очень многие, тогда продавщица с ужасом воскликнула.

— Как, и женщины?

Я поспешил ответить отрицательно, но мой приятель перебил меня:

— Что ты врешь, что не носят, а татарки-то у нас, вспомни?

Я признал правильной фактическую поправку моего друга. И из угла в угол передавалась эта новость: татарские женщины носят такую чудную обувь.

Много было с моим приятелем подобных курьезов.

Он записался на лекции в университет. Я сделал то же.

Но так как не университет являлся целью нашего пребывания за границей и так как перед нами грозным предостережением маячил духовный облик Двинянинова и других, многих ему подобных, которых мы теперь знали уже немалое число, то мы с Черным не осо-

бенно усердно занимались лекциями, а все время отдавали чтению социалистической литературы и посещению партийных собраний.

Тут на первом же партийном собрании я впервые услышал слово, которое потом не раз звучало в моих ушах, да и теперь раздается нередко, слово «склока». Это несомненно слово русское, но вконец исковерканное теми, кто стал делаться слегка чужаком русскому языку.

В партийной организации только и говорилось о склоке между меньшевиками и большевиками. Мы с Черным сидели прилепившись друг к другу, мы еще боялись вступать в спор, в склоку. Боялись не от того, что чувствовали себя слабее тех, кто выступает, — иногда там выступали с такой несуразностью, что нам становилось стыдно за выступавших, — нет, а просто нам непонятна была та особенная ожесточенность, с какой велись споры.

Мне, да и Черному казалось, что идейные споры нельзя вести, оскалив по-волчьи зубы, а тут именно с оскаленными зубами спорили. В особенности, когда принималась резолюция по какому-нибудь текущему моменту. Тут уже так подбирались слова, слова богатейшего, капризного и вместе с тем покладистого русского языка, словно важно было построить режущее глаз своей угловатостью словесное сооружение, а не то, что должно находиться в таком сооружении. Это и тогда и потом напоминало мне, как дети из мягкого, богатого, пушистого русского снега делают все, что угодно: и башню, и бабу, и пещеру, и город, но это никогда не башня, не баба, не пещера, не город, это всегда и неизменно только снег, рыхлый снег крепкой русской зимы. Снег—вода. Такими же казались мне и словесно-резолютивные здания, вырабатываемые подчас усердными комиссиями в бессонные ночи.

Приходилось нам слышать доклады уже известных тогда товарищей, приходилось бывать и на собраниях иностранных товарищей, в социал-демократическом народном доме. Собрания иностранных товарищей, их споры, их речи и доклады поражали нас своей бестеоретичностью. Был например такой слу-

чай на докладе известного бельгийского социал-демократа Трокле. Один из оппонентов — уже после доклада в частной беседе — стал развивать идеи Энгельса, философской части его «Анти-Дюринга». Трокле гордо приосанился и спросил, что это такое «Анти-Дюринг». Ему пояснили. Он недоверчиво посмотрел на оппонента и с наивностью, какая присуща только детям и европейцам, удивился: — Неужели у Энгельса есть такая брошюра?

На собраниях иностранных товарищей было много практического, и этому практическому мы могли поучиться и учились. Характерно отметить, что настроение более левым было у тех социалистов, которые были крепче подкованы в области теории. Так например в бельгийской социал-демократической партии левым был профессор литературы Домблон. Здесь, где борьба труда с капиталом проявлялась в развернутых формах, мы могли конкретно видеть, что слишком большое увлечение практицизмом неизбежно ведет к оппортунизму. Раньше об этом мы читали в книгах, но это не так убедительно, как если видишь своими глазами, так же отчетливо, как небо, тротуары, мостовую.

Я поддерживал переписку со своими родителями и имел от них некую помощь, в особенности родители надеялись, что я займусь здесь университетом.

К весне мы решили с Черным бросить и Льеж, и университет и отправиться на Капри, повидать там столпов нашей партии и в особенности конечно Горького, у которого на вилле была тогда школа и который держал наше литературное, художественное чутье в прекрасном плену своих удивительных Макаров Чудра, старух Изергиль и всех других своих сочных образов, так близких и понятных, так освежающих нас, так проклинающих мещанство, которое — мы чувствовали — как мох, как плесень обволакивает многие слои наших революционных организаций.

Весна. Солнце, молодость. И в перспективе Италия и остров Капри. Говорят, с вершины его видна Сицилия. И Везувий, и Средиземное море. Нет, все это надо было испытать после дождливого, мрачного, окутанного дымом и ко-

потью Льежа, после усидчивых теоретических занятий и всевозможных «склок».

И мы отправились.

* * *

Колеса опять застучали под нами. И ночью невозможно было сомкнуть глаз от волнения, — завтра мы увидим Париж. Я и Черный, мы испытывали чувство гораздо более сильное, чем то, что испытал я, под'езжая к Петербургу.

Сначала перед окнами проносились все заводы и заводские поселения, не поселения, а города. Кое-где, как разверстые щели земли, дышали пламенем доменные печи. На маленьких станциях поезд со стоном резал углы и завороты рельсов. От быстроты поезда казалось, что он ворвется сейчас в эти каменные дома. Потом пошли груды рельсов, потом порожняки товарных вагонов, потом опять фабрики, потом полустанки, потом горы черного угля, железнодорожное депо, потом пахнуло в окно свежей лесной струей. Мы около Шантильи, в лесу. Промчали лес. Опять депо, недостроенные железные дебаркадеры. Вереницы вагонов, потом паровозов, цистерн с бензином, и опять вагонов, и стрелки, и стрелки, и громыхание на стрелках колес, словно мы скользим в пропасть. Я начинаю думать, что машинист сошел с ума, и мы этак можем пролететь Париж.

И вдруг все потемнело. Я думал, что мы в тоннеле, ан нет, не совсем темно, видно людей, носильщиков, паровозы, вагоны. Виден наверху железо-стеклянный свод дебаркадера на Гар дю Нор. Мы приехали.

В Париже очень много мягкости. Солнечные лучи смягчены дымкой невидимых растворенных в небесах облаков. Я, втиснувшись в парижскую толпу, никак не мог ее ощутить как массу, я ощущал ее как собрание индивидуальных, самостоятельных особей, не как пучок жизней, а как скрещение и пересечение миллионов отдельных ниточек-жизней, из которых каждая имеет свое отдельное направление. Нет массы, есть человек. И от этого я явственно ощутил себя, себя настоящего, от этого мне показалось даже, что мне, настоящему, вовсе не зачем ехать на Капри. Ну за-

чем, в самом деле? Не лучше ли застать в Париже, в его гущу, в пролетариат, в физическую работу?

Но мой приятель Черный, стремительный человек, более цельный, чем я, не теряя времени устремился на Пляс де л'Опера в агентство Кука покупать билеты. Там мы наметили маршрут: Париж, Марсель, Монако, Монте-Карло, Ментона, Ницца, Вентимилья, Генуя, Пиза, Рим, Неаполь, Капри, Неаполь, Рим, Венеция, Флоренция, Милан, Люцерн, Берн, Лозанна, Париж.

Какие-то две высокие англичанки рядом с нами заказывали в том же агентстве себе другой маршрут: Петербург, Москва, Нижний, Казань, Симбирск, Самара, Саратов, Царицын, Астрахань, Баку, Тифлис, Батум, Константинополь.

От одного только упоминания милых, родных городов на чужом, холодном языке рождалось какое-то смутное опасение за свой дом: зачем туда едут англичанки? может быть, у них недобрые замыслы? Не вернуться ли и нам туда, спастись свое, чем обозреть без толку чужое?

Мысли одно, а дела другое. Восторженный Черный сунул уже мои билеты в руки, и мы отправились на вокзал. Черный шептал мне: — Подумай, через день увидим прекраснейшее море...

И действительно, лазоревый берег скоро открылся нашим глазам, как никогда незабываемая панорама. Столь велика была радость от солнца, от моря, столь сладкий и липкий был воздух, и на закате дня пурпур окрашивал так ярко небо, что исчезли все сомнения, и на какой-то миг показалось до физической осязаемости, что в мире нет виноватых. Опьянение от новизны, от небылости виденного достигло своей наивысшей точки, когда мы подъезжали к Риму. Тогда мы не сомкнули глаз всю ночь. Перед Вечным городом нас привело в трезвость появление в поезде неимоверного количества жандармов. Мы спросили их, куда они едут. Один из них, толстый, с ленивым лицом, с затекшими, медленно вращающимися глазами, сырым голосом ответил, что едут на усмирение забастовки.

Я по крайней мере раскаялся, что спросил. Как это так, около Вечного

города, где, страшно подумать, всякие Цезари, и Нероны, и Августы, и Цицерон, и Вергилий, и вдруг обыкновенная забастовка, и жандармы с усищами, черными и жесткими, словно сапожная щетка, тертая в ваксе. Надо и вопросы уметь задавать во-время и к месту. Классовая борьба, мы — активисты этой борьбы. Нет, мы не должны путешествовать; мы должны вмешаться в борьбу!

— Брось, — утешил меня Черный, — мы изгнанники именно оттого, что сделали и сделаем свое для рабочего класса.

Плохое утешение. Однако вступаем в музей, в Капитолий.

И конечно, конечно. После жандарма с усищами для меня не существует Рима как мифологии, как величественной сказки о прошлом. Мне хочется смеяться над торжественной фигурой Августа. Я спросил у гида, не страдал ли Август запором и какие тогда были средства против него. Мне хотелось плакать и рушить самый музей, когда я стоял перед изображением раба, залитого по пояс в горящую смолу. Глаза раба, видящие перед собой ужасный порог от жизни к смерти, поразили меня. Укрепляла настроение скульптура Микель Анджело, в особенности его раб, рвущий цепи.

Нет, нет, не усмирить жандармам забастовки.

Что же еще говорить о Риме? Так много написано о нем, так прекрасен он сам, что, нет, не мне повторять тут на плохой манер то, что другими сказано лучше. Пусть читатель в любой библиотеке возьмет каталог книг на сию тему. Может быть, спросит читатель, а как живут там рабочие? Об этом тоже есть книги, но их мало и истинного об итальянском рабочем в этих книгах читатель не найдет. Наши наблюдения кое-что могли бы дать, но и они недостаточны, потому что мы с приятелем слишком по-туристически отнеслись тогда к Италии. А она, особенно жизнь там рабочего класса, заслуживала бы с нашей стороны большего внимания.

Но нам не сиделось, молодое любопытство гнало нас дальше, дальше, на юг. И вот мы наконец в Неаполе, а затем и на острове Капри.

(Окончание следует)

ЛЮДИ И ФАКТЫ

1. БОРИС ГУБЕР. Неспящие. — 2. А. ПЛАТОНОВ. Порыв. — 3. Э. ВУЛЬФ. В еврейских колониях Кырма. — 4. К. ЧУКОВСКИЙ. Бобровка на Саре.

НЕСПАЩИЕ ¹⁾

Борис Губер

Жизнь центральной усадьбы замирает рано, вместе с сумерками. Так, по крайней мере, кажется на первый взгляд.

Ужин окончен, и толпа, весь день чернеющая перед столовой, постепенно начинает редеть. Расходятся по общежитиям и палаткам холостые, семейные плетутся в аул, в тесные казакские землянки, где живут они в ожидании лучших квартирных времен. Тяжелые тучи стоят над степью, предвещают непроглядную ночь, дождь, быть может, снег. Вдоль широкого проезда между хозяйственным двором и жилыми кварталами повисают тяжелые розовые шары фонарей. В прозрачном полумраке смутно белеют маленькие одноэтажные домики — они вытянулись правильными рядами, одинаковые, чистенькие, похожие на немецкую колонию. Тихо. Лишь гудит по аэродрому «Клейтрак», влачащий за собою длинный поезд тележек с семенами, да поют чуть слышно грустную песенку про любовь две девушки-подружки, гуляющие вокруг кооператива, — короткие черные жакетки, каких не носят в Сибири, выдают их, и каждый знает, что они «российские», приехали из далеких тверских или калужских мест.

Ночь наползает незаметно. В темноте, точно он только и дожидался ее, крепнет, густеет ветер. Из аула доносится вой собак. Гаснут фонари... Агроном Пешта, заместитель директора по производственной части, возвращается домой после объезда участков — его автомобиль беззвучно пронесится через усадьбу и останавливается напротив конторы. В директорском кабинете начинается бес-

конечное обсуждение посевных дел и прорыва, видного уже совсем явно; Пешта рассказывает о простых, о перерасходах горючего, о том, что и сегодня ни один из участков не выполнил нормы... Константин Григорьевич Косько, директор Борисовского зерносовхоза, молча слушает невеселый рассказ. Глаза его утомленно прищурены, электрический свет нестерпимо режет их.

— Ничего, выправимся, — говорит он. — Выправимся, Иосиф Иванович?

Пешта улыбается, зубы ослепительно сверкают на его обветренном запыленном лице. Зеленые глаза смотрят спокойно, чуть насмешливо — он уже много лет возится с сеялками, землей и пшеницей; он давно уже перестал волноваться, встречаясь с неудачами и трудностями, и спокойно, без суетливости старается преодолеть их одну за другой.

— Обязательно, — говорит он.

Его чешский акцент придает этому вязкому слову трезвую нерусскую твердость.

Ровно в час, как было условлено, я слышу сигнал автомобиля и выхожу на крыльцо. Усадьба спит. Директорский «фордик» пыхтит над длинной лужей пролитого в темень света, точно он пришел сюда на водопой.

— Спали? — спрашивает директор, пока я усаживаюсь рядом с ним.

Голос его глух, хрилое утомление звучит в нем как укоризна. Он опускает руку на рычаг. Автомобиль порывисто бросается вперед. Я смотрю с удивлением — всем известно, что Косько ездит обычно с самой педантичной аккуратностью. Но маленькая контрольная лампочка, вделанная в алюминиевый ши-

¹⁾ Глава из книги о Борисовском зерносовхозе «Этот человек — ты».

ток, погашена и лица его не видно. Он сидит прямой, неподвижный и молчит.

Слабый свет озаряет вдруг его затылок, кепку, бараний воротник шубы. В глубине кузова закуривает Копьев, ленинградский рабочий-двадцатипятилетиячник, изучающий в Борисовском тайны крупного хозяйства, чтобы применить их затем в своей колхозной практике.

— Курить хочешь? — кричит он и протягивает коробочку с махоркой.

«Форд» между тем выносит нас мимо котлована и гидростроевских землянок на большую дорогу. Это первая и пока единственная профилированная автомобильная дорога в районе. Она тянется на десять километров, прямая и ровная, не хуже гудронированного шоссе. Косью пахнет нагретым бензином, табаком. Темные поля несутся мимо; это лучшие не залесенные участки совхоза — Северный Джалтырский и Южный. Им полагается быть пустыми и безмолвными сейчас — утренняя смена начинает работу только перед рассветом... Но вот в темноте появляется какая-то светлая точка, за ней другая, третья, четвертая... Они плывут, как ночная эскадра в кильватерном строю. Из переднего судна вырастает яркий луч, прорезает ночь и меркнет. «Катерпиллары!» Только у них такие сильные фонари... Значит мы едем мимо колонны Эбейтинского участка — ее машины помогают Южному Джалтырю.

Косью поворачивается ко мне:

— Каждую ночь так... должны кончать в двенадцать, а возвращаются к двум. Не могут рассчитать. Гоны длинные, пока туда дойдешь, да пока обратно...

Запоздавшие тракторы остаются позади, их уже не видно. Позади и озеро Джалтырь, на миг белесо обозначившееся своими сухими камышами среди черных пашень. До районного села Борисовки остается не более трех-четырех километров.

Наша машина одолевает их в пять минут. Село большое, в роде среднерусского уездного города, и похоже на Омск — так же неумеренно раскидисто, так же изобилует какими-то пустырями, косягами, площадями... Впрочем, сейчас всего этого не видно. Все сливается с темнотой. Мы сворачиваем направо, по-

том налево, опять направо — и никак не можем вырваться на свободу.

Наконец, мы все же за селом. Косью останавливает машину.

— Туда ли еще заехали, — бормочет он, — нужно посмотреть...

Он ходит перед автомобилем, в пятне неподвижного света, нагибается к самой земле, разглядывая следы. Пятно резко обозначается на степи. Между ним и передними колесами мертвое пространство, полоса темноты... В сильных лучах фонарей видно, что шуба Косью не по росту длинна, с низкими борами — это делает его коротконогим.

— Как - будто правильно, — говорит он, — следы наши.

Он возится с рычагами и педалями. Пятно света бежит вперед по дороге. Я слежу за ним, за серой, как асфальт, землей, за кудрой травой по обочинам... Вдруг что-то желтоватое с белыми подпалинами мелькает у самых колес.

— Тушканчик, — говорит Косью.

Да, это он, маленький степной кенгур. Он скачет перед автомобилем, очарованный внезапным сиянием, не в силах свернуть в сторону и уйти в ночь. Он мчится широким зигзагом, панический бег его неровен и беспорядочен, как полет бабочки. Автомобиль медленно и неуклонно настигает его... Зверок начинает метаться еще испуганней, зигзаги становятся все круче. Сейчас он будет под колесами. Косью инстинктивным движением шофера трогает руль — свернуть, обехать... Но свет уже обогнал зверя. Тушканчик попадает в узкую полосу, за которой несется обутая в резину смерть, и очарование сразу кончается: прыжек в сторону, и его уже нет, он скачет, ошалелый, по степи, шевеля ушами и раздувая ноздри.

Постепенно становится светлей. Или это только кажется мне?.. Я оборачиваюсь; Копьев спит, свесив голову, а в окошко за его спиной светит луна, одиноко блуждающая в серебряной пустыне... Машина идет ровно, на мгновение загорается лампочка, и видно, что спedomетр показывает сорок пять километров. Озаренный луной проносится справа жилой вагончик, наполовину скрытый голыми березами, плуги, водовозка, широкозадый, комолый «Фордзон»...

Это стан коммуны «Искра». Мы совсем недалеко от границы Москаленского участка.

Чистых, не заселенных мест Джалтыря нет и в помине. Поминутно перед нами вырастают отдельные деревья, заросли кустарника, березовые рощицы, тотчас срываются, уступают нам дорогу, и их сменяют новые. Иногда видны запущенные, до сих пор не вспаханные полосы — единоличники все еще не приступили к работе... Затем из-за колка наплывает чистый черный клок. Мы снова на совхозной земле.

— Здесь где-то стоял наш табор, теперь его перебросили, — говорит Косько. — Я уже позабыл, целую вечность тут не был.

Он поворачивается назад и кричит:

— Эй, Копьев, как нам ближе проехать?

Копьев прикреплен к Москаленкам и должен знать. Он просыпается и спрашивает сердито:

— Чего тебе?

— Как на колонну ближе проехать?

— На какую?.. На нашу или на шестую?

— Все равно... Сначала хоть на нашу. Какая ближе?

Копьев устраивается поудобней, прислоняется к спинке сидения и протяжно зевает.

— Не знаю, которая отсюда ближе. Валяй прямо... Все один чорт, через... через аул... нужно.

Последние слова сливаются с непонятным бормотанием. Он опять спит. В окно за его спиной видно, как среди холодной зеленоватой пустыни длинное облако, похожее на удава, медленно пожирает луну.

Автомобиль сильно встряхивает. Мы попали на след тракторов, они изрыли дорогу глубокими колеями. Приходится сворачивать. Косько берет в сторону — и тотчас сбоку возникает огонек.

Огонь тусклый, красный — тракторные фары не могут так унижительно тлеть, это костер... До него всего несколько сот метров, но проехать напрямик нам не удастся. Мешает сначала пашня, потом колки и солонцы, в которых вязнет наша машина. Провозившись напрасно минут двадцать, мы снова выбираемся на дорогу.

Опять желтое пятно света бежит перед нашими глазами. Над солончками слоями висит туман. Какая-то огромная птица с грохотом срывается из-под колес... Степь живет своей ночной потаенной жизнью, и только мы нарушаем ее безмятежное бытие.

— Сейчас аул, — говорит Косько, — вон уже кладбище видно.

Казакское кладбище надвигается на нас справа. Начинает светать, и можно разглядеть, что оно обнесено аккуратной оградой. Высоко торчат шпиль, увенчанные полумесяцами, сквозят решетчатые беседочки, грузно темнеет надгробие, сложенное из дерна — жалкое подобие мавзолея... Во всем видна заботливость, внимание, терпеливый и постоянный уход. В этом внимании к мертвым есть что-то почтительное, патриархальное, и странно, что казаки, даже в Омском округе еще недавно кочевавшие все лето, так заботятся о кладбищах. Быть может, это потому, что могилы были до сих пор их единственной настоящей оседлостью?.. Откочует казак чуть ли не к самой Голодной степи, — глядишь, почему-нибудь и застрянет там, выстроит себе новую убогую зимовку, а все-таки приедет в положенное время проведать давно истлевшего и во все ненужного ему родителя, поправит шпиль над узорной решеткой, раскрашенной в самые немыслимые зеленые, красные и лиловые цвета...

Борисовскому зерносовхозу немало пришлось повозиться с этой досадной сыновней любовью. Казакские земли были предназначены под распашку, и для аулов отвели новые угодья за межей совхоза. Гидрострой копал на новых местах колодцы и котлованы, земельные органы оплачивали расходы по переезду и возведению новых построек — и все это казаки одобряли. Но вспомнив о могилах, вновь и вновь начинали упрямыться:

— Не могу переезжать. Здесь мой дедка лежит, а ты пахать будешь. Не могу, как без дедки? Обида ему будет.

Борисовцам пришлось уверять, что кладбища останутся в полной сохранности, что никто их не станет распахивать... Зато совсем иначе относятся к могилам русские, особенно новоселы. Нигде мне не приходилось видеть тако-

го пренебрежения к мертвым, как в селениях Омского и Барабинского округов. Их кладбища напоминают свалки, вынесенные подальше от жилья. Никаких оград нет и не было, гнилые кресты торчат вкривь и вкось, на могилах падутся коровы... Я долго размышлял над причинами столь равнодушного отношения к предкам, пока, наконец, один из местных крестьян не объяснил мне:

— Что ж нам о мертвых беспокоиться? Да и времени нету. Мы сюда на привольную жизнь метили, а она большой работы требует. А которые, например, обратно в батраки попали, так у тех тоже настоящей зацепки в этой местности не бывает, сегодня здесь, завтра там... Погост-то с собой не понесешь.

Мы минуем кладбище и приближаемся к аулу. Здесь главная база Москаленского участка. Казаки отсюда уже выселены и в их заново отремонтированных землянках живут совхозники.

На в'езде, прямо под открытым небом, расположено нечто в роде машинного парка. Тускло мерцают лемеха плугов. Бочки с горячим навалены в кажущемся беспорядке. Тут же недалеко сложены в штабель и прикрыты брезентом мешки с семенной пшеницей... Из-за штабеля показывается неуклюжий темный силуэт. Это сторож. Он торопится нам навстречу, полы его тулупа развеваются на бегу. Но автомобиль пронесется мимо — Косько еле успевает приветственно помахать рукой... Пронзительный сигнал, толчок, крутой поворот — и аул.

Низкие приземистые «кстау», сложенные из пластов дерна землянки с плоскими крышами, рассыпаны как попало — нет даже подобия улицы. Наш «фордик» вертится между ними, свет его фонарей вырывает из предрассветного полумрака то кусок обмазанного глиной плетня, то круп пегой лошади, лежащей посреди пригона и как бы разрезанной пополам, то стену зимовки — и слюдяным блеском вспыхивают окна, чтобы сразу же погаснуть...

В конце аула мы останавливаемся. Здесь в одной из землянок живет заведующий участком Афанасьев. Косько идет к нему.

Позади меня шевелится Копьев.

— Приехали? — спрашивает он басом. — А директор куда подевался?

Но Косько уже возвращается.

— Спит, — говорит он, — только-что вернулся, я не стал будить.

Рассвет близок. Медлительный и тусклый, он ползет над землей, над голыми рыжими березами, над развороченной дорогой. Сбоку, на сухом дерне целины — следы гусеницы, точно здесь прошел танк: на Москаленках работает катерпилларная колонна Михайловского участка, который так же, как Эбейтинский, в нынешнем году не сеет, а «батрачит» у соседей.

Дорога вьется среди бесчисленных колков. Грязно — днем здесь деревья не пропускают солнца. Нам приходится все время переходить на вторую скорость, да и то мотор ревет, а колеса начинают буксовать.

— Вот наградили местечком, — ворчит Косько. — Тут одной корчевки на целую пятилетку хватит... А не корчевать, — втридорога все обойдется. Разве здесь трактор может развернуться? Ерунда.

Так незаметно мы под'езжаем к стану шестой колонны.

Из-за берез показываются вагончики, выстроенные на опушке в чинный ряд. Вагончики совсем железнодорожные, четвертого класса — нехватает только паровоза и вокзальной суеты. Напротив них белеет палатка, горит дымный костер. Неужели мы его и видели час тому назад? Сейчас огонь уже не красный, а по-дневному бледный, его не отличить от дыма.

У костра возится женщина в светлом платочке. Она не сразу замечает нас, — важно приближается, на ходу вытирает руки о фартук.

Мы вылезаем из автомобиля и ждем.

— Когда мою кухню привезут, товарищ директор? — кричит она еще издали.

Ее кухню, припоминается мне, временно отдали другому участку. Косько улыбается:

— Не готова еще кухня.

— Как не готова?

Она подходит к нам. На ногах у ней стоптанные спортивные туфли. Она поднимается на носках и заглядывает в лицо поочередно нам всем. Глаза ее смот-

рят смело и удивленно, точно она только-что родилась на свет.

— Врешь, врешь! — радостно и укоризненно кричит она. — Я сама на центральной была, видела...

И тут же, словно спохватившись, вспоминает, что она уже большая, важно добавляет:

— Мне без кухни никак нельзя. Попробуйте сами с костром-то.

Косько машинально продолжает улыбаться.

— Смена позавтракала?

— Давно уже. Работают... Может, вы хотите?

Но завтракать некогда. Мы возвращаемся к автомобилю и слышим за собой звонкий ребячий голос поварихи:

— Чтобы была кухня!.. И мужика моего сюда переведите, а то, смотри, и меня здесь не будет.

Из вагончика, спускаясь по крутой лесенке, выходят две трактористки. Они в стеганых штанах и телогрейках, бедрастые, неуклюжие в этой мужской одежде, и чем-то похожи на водолазов.

— Встали, девочки? — встречает их повариха.

Водолазы неуклюже переваливаются, спешат к ней, и все трое, хохоча, вприпрыжку бегут к костру, к палатке...

В поле серый немощный полусвет. Черная пашня с обеих сторон примыкает к дороге. Дорога глубоко исцарапана боронами — тракторы волочили их не останавливаясь, с одной стороны на другую.

Ровный, не опадающий гул плывет со всех сторон, и мы видим, как движутся в разных местах двойные темные пятна. За ними тянутся длинные космы пыли. Это тракторные упряжки.

Две из них идут вдоль дороги впереди нас. Мы догоняем первую. Сквозь пыль эмалево блестит зеленый сакковский ящик. Сеялка прицеплена к трактору, и кажется, навеки приросла к нему. Трактор — «Интернационал» 10—20.

«Интернационал»... Это самая милая машина из всех, какие я знаю. Мне понятна любовь к ней рулевых, заправщиц и бригадиров и преданность их, и нежность, с которой произносится даже простое ее имя... Ее формы радуют глаз простотой и законченностью пропорций:

страшен тяжеловесным величием своим траурный «Ойль Пулл», по-городскому комфортабелен и нежен «Клейтрак», а «Интернационал» уместен и прост в степи, точно он родился тут и вырос на подножном корму. Он демократичен, как лошадь. В нем нет изысканности сочетания серых и красных цветов, которой кичится «Катерпиллар», и нет нахальной пестроты «Джон Дира» с его зелеными и желтыми красками, достойными попугая... Свинцового цвета, скупое и неяркое сверкающая темной, как бронза, позолотой, эта машина передает дух металла, нефти и движения, которое порождают они в своем сочетании. Она передает самый дух индустрии, вторгшейся в девственное лоно степи, так, что невольно мнится, именно для этого вторжения и предназначена степь... Это — машина, но в то же время есть в ней что-то домашнее, ручное. Она уже вошла в быт. К «Катерпиллару» рулевые относятся со страхом, с почтением и нескоро привыкают к нему. Их пугает не сила, заключенная в этом гиганте, — пугает внешность его, неприступность, умолимая властность поступи. А «Интернационал» — свой брат. С ним можно есть из одной тарелки и спать на одной постели. Рулевые относятся к нему почти фамильярно и называют на «тЫ».

Вот мы на самом тихом ходу движемся наравне с ним. Управляет им женщина. Баба. На ней нет даже комбинизона или брезентового плаща — неременной прозодежды тракториста. Она в старой ватной кофте, голова ее повязана темным платком, на который закинута предохранительная очки. У ней курносое сорокалетнее бабье лицо — сколько лет работала эта бездомная батрачка на чужой земле, сколько раз выезжала с маленькой пароконной сеялкой на хозяйскую полосу? Я не знаю. Но я вижу, как спокойно сидит она в седле, как привычно держит свои черные руки на ободе рулевого колеса... Ей, сорокалетней женщине, должно быть, зазорным кажется надевать мужские штаны. Но в ней «Интернационал» — свой брат. Похоже, что она знает его с детства, и сейчас скажет ему какое-нибудь ласковое слово или стегнет кнутом.

С дальнего конца поля, заведя нас, прямо по пашне шагает человек в долго-

полом дождевике. Косько прибавляет ходу, чтобы сократить ему дорогу, и мы перегоняем вторую упряжку. Ходок, поденщик-колхозник, стоит сзади сеялки на доске. Он поворачивает к нам безусое, покрытое пылью лицо и улыбается негритянской улыбкой. Сеялка покачивается на косогорчике, плохо смазанные диски ее визжат. К ящику прикреплен кривой березовый шест в белой коре, еще, кажется, не утративший живой прохлады степного леса. У него совсем не машинный вид, у этого самодельного маркера... К концу шеста на длинной веревке привязана чурка в роде полена — она волочится по земле, оставляя за собой неглубокий след. Колесо идущего позади трактора должно держаться этой борозды.

Мы останавливаемся. Человек в дождевике подходит ближе. Я узнаю его — он инструктор, выдвигенец из рулевых. Черные глаза блестят на худом лице пересохшим лихорадочным блеском.

Косько опускает стекло и пристально смотрит на него.

— Ты когда лег вчера? — спрашивает он строго.

— В двенадцать, товарищ директор.

— А встал когда?

— На заправку встал, в час.

— Что ж так?

— Да уж так выходит.

— Так ты бы лег сейчас. Наладил работу, чего же еще?

— Ну, сейчас какой сон, если и ткнешься, все равно разбудят... Разве их тут одних оставишь?

Он показывает рукой. Пашни изрезаны колками. Дымчатые рощицы — как островки среди черной воды, и странно, что они не отражаются в ней. Кое-где выпадают такие тесные кривые заливы, что даже единоличнику совестно бы работать на них со своим жалким инвентарем.

Косько смотрит на эту огорчительную, отлично знакомую картину и молчит.

— А все-таки спать нужно, — говорит он, наконец. раздумчиво. — Нужно спать...

Инструктор, улыбаясь, отвечает:

— Ничего, еще дней на пятнадцать силы хватит...

И, сразу меняя тон, озабоченно хму-

рясь, заговаривает о другом, о том, что СПА ушел на станцию за горючим и не на чем подвезти семена.

— Вы бы нам хоть полуторатонку еще дали, — говорит он угрюмо, — мы бы с ней в самый раз обошлись...

Уже совсем светло. На сером облачном небе проступают голубые и желтые прожилки. Трактора жужжат не умолкая. Я смотрю на Косько. На скулах его отчетливый, как у чахоточного, румянец, у глаз прибавилось за ночь много морщин. Он говорит глухим однообразным голосом, и я вспоминаю его вопрос: «Спали?» Он сам не спит уже третьи сутки, с тех пор, как стал намечаться прорыв в посевной.

Неожиданно из-за спины инструктора показывается морда лошади. Лошадь рыжая, с светлой гривой — идет бочком, неприязненно косясь на автомобиль. Я вижу только ее да ноги всадника в толстых чугуновых голенищах, как у памятника Александру III. Приходится нагнуться, чтобы увидеть тучное туловище и веснучатое, заросшее двухнедельным красным волосом лицо Афанасия Ивановича, помзава Москаленским.

— Что же вы норму не вырабатываете, товарищ Малыгин? — говорит Косько.

Лицо Афанасия Ивановича наливаются кровью и становится совсем малиновым.

— Все околки проклятые, — бормочет он, и в голосе его отчаянье, — гоны по сто метров, вертисься, вертисься...

— А на сдельщину почему не перешли? Тоже околки?.. Перейдете, тогда узнаете, что вам мешало... Расценки получили?

— Получили. Вот проработаем на производственном совещании...

Косько нетерпеливо перебивает:

— О чем же вы раньше думали? Мы не на волах работаем, товарищ Малыгин, а на тракторах... Если с завтрашнего дня не пустите сдельно, отдам в приказе.

Афанасий Иванович не отвечает, тяжело, обиженно сопит. Его большие пухлые руки, тоже испещренные веснушками и волосатые, перебирают поводья. словно он собирается уехать прочь.

— Посеяно-то у вас на сегодня сколько?

Рыжие руки вытаскивают из кармана мелко сложенный кусок голубой кальки. Не сходя с седла, Афанасий Иванович разворачивает план, перечисляет номера клеток, подсчитывает их площади. Затем он начинает жаловаться на поломки сеялок... Затеваётся долгий хозяйственный разговор о запасных шестеренках, о семенах, о бороньбе, о том, что горючее никуда не годится — в керосине много воды и из-за этого рулевым иногда раньше срока приходится бросать работу и уходить на заправку... Тракторы в последний раз пылят мимо. Уже далеко от дороги белыми молниями сверкают шпоры на их колесах, и один за другим уходят они в узкий пролив между березовыми островами на соседнюю черную заводь.

За тот час, что мы стоим здесь, они засеяли гектаров десять... Я смотрю им вслед и стараюсь припомнить, как работали в старых совхозах двадцатого или двадцать второго года. В те времена где-нибудь в Тверской или Смоленской губернии десять-двадцать десятин составляли весь яровой посев. А сколько дней и сил отнимали они!.. Бывало давно уже отсеялись крестьяне, возят навоз на пары, и полосы их уже нежно зеленеют первыми всходами, и уже полетному томительны и жарки дни, и облетает серый пух с переспелых одуванчиков, а все еще бьются на сорных, только весной вспаханных полях чесоточные клячи с тяжелой сошниковой сеялкой, и часами валяются под кустом, бросив работу, отчаявшиеся, безразличные люди, лениво клянут свою нудную жизнь... На мгновение меня всего обдает горячим дыханием прошлого, и жарко вспоминаются далекие дни, когда и я, нерадивый совхозный рабочий, валялся под кустом у недосеянной десятины, дожидаясь обеденного звонка... и иные дни, когда я уже заведывал совхозом и тщетно пытался выжать из слабосильных коней и единственной дряхлой сеялки лишний час работы... Грустные годы, жалкие и немыслимые рядом с этим вот «Фордом», «Интернационалом», точными планами и нормами,—грустные далекие годы, как милы вы все же моему сердцу!.. И каждому должны быть милы они — тверские совхозы, осевшие нищими предтечами будущего на остатках барских

усадеб... Я вспоминаю лиловые от старости срубы построек, ржавые конные грабли, забытые на мураве двора, заросли крапивы на провалившейся крыше погреба, худых разношерстных коров... О, нищета, нищета!.. И уже стынут мимолетные воспоминания мои, я смотрю на черные поля, слушаю отдаленное — точно высоко над нами пролетает эскадрилья — жужжание тракторов, и так хорошо вернуться ко всему этому, что не веришь в прошлое, — да полно, было ль в самом деле оно?

— Вы пока на малом «Интерере» подвезите, часа на два хватит, — слышу я сегодняшней голос Косько и понимаю, что речь идет все о том же грузовике, который ушел на станцию и до сих пор не вернулся.

— Слушаюсь, — отвечает Афанасий Иванович.

— Обратите внимание на тщательную смазку сеялок. Диски у вас скрипят.

— Слушаюсь.

Обо всем уже переговорено. Афанасий Иванович отмечает что-то в записной книжке и засовывает ее за голенище. Веснушчатые короткопалые руки его перебирают поводья. Косько докуривает махорочную крученку, рассеянно смотрит воспаленными, не знающими сна глазами куда-то в даль.

— Семья ваша здесь? — неожиданно спрашивает он.

Афанасий Иванович неловко улыбается.

— Нет, Константин Григорьевич, в городе... У меня, знаете, дети учатся.

Косько передвигает рычажки зажигания и газа, нажимает педаль стартера. Легкая дрожь охватывает корпус автомобиля.

— Ну, всего.

Через четверть часа, мы под'езжаем к табору шестой колонны.

Он разбит на тесной неудобной лужайке. Четыре вагончика жмутся друг к дружке среди низкорослых обветренных кустов. Голый по пояс парень в стеганых штанах умывается перед цинковым баком, под ногами у него мыльная лужа. Другой сидит на бочке из-под горючего, уткнувшись в книгу. Ещё двое молча наблюдают за кузнецом, работающим у переносного походного горна.

Мы поднимаемся в вагон, занятый под канцелярию. Делать нам, собственно, здесь нечего, мы просто провожаем Копьева. Он живет тут вместе со всем «начальством» колонны — счетоводом, инструктором, бригадирами.

В вагоне почти темно от дыма. У дверей топится круглая чугунная печь, и дым непрерывной струйкой тянется к потолку как голубой шнурок.

— Фу, чорт! — сердито бормочет Копьев. — Подумаешь, замерзли...

Он оставляет дверь открытой, и постепенно из сизого тумана возникает убогое таборное жильё — два яруса железнодорожному складных полок, огромный, с пол-человеческого роста керосинокалильный фонарь, свисающий с вентилятора, стол, заваленный бумагами, заставленный банками какао, бритвенницей, грязной посудой, медными гильзами от охотничьего ружья... На двух койках, с головой завернувшись в одеяла, спят тутошние жильцы — счетовод и бригадир второй смены.

Копьев садится к столу. У него какая-то кожная болезнь — с переносицы на щеку ползет сине-багровое шершавое пятно.

— Давайте, ребята, чай пить, — предлагает он.

От табаку и бессонной ночи у меня горько во рту — о чае или еде тошно вспомнить. Косько тоже отказывается. Ся берет со стола рапортчку за вчерашний день, бегло просматривает ее и говорит:

— Поехали?

На дворе тепло, день разгуливается. Сквозь реденькие облака сочится жидкий солнечный свет... Мотор работает почти беззвучно, машина легко катится по сухому, обросшему белобрысой прошлогодней травой межнику. Нужно еще заехать к Михайловцам — и домой.

За длинной узкой полосой кустарника начинается участок, на котором движут «Катерпиллары». Они работают далеко, и подехать к ним невозможно. Бросив автомобиль, мы идем по полю, по грубым толстым пластам, насквозь пронизанным белыми корнями трав.

Это поднятая в прошлом году целина — древняя земля, впервые познавшая отточенную сталь плуга. Волны до-

исторических морей катились по этой земле, тысячи лет вырастали, цвели и гибли на ней цветы и травы, жили люди, рождались и гибли звери, а она лежала нетронутая, и бранные останки живущего безвозвратно растворились в ее буром степном черноземе. Первобытные племена, быть может, проходили по этим глухим местам — легендарные ари-мапы, в существование которых не верил даже Геродот, и уйсюни, обреченные, гибнущие голубоглазые люди, отступавшие вниз по Иртышу под натиском все новых и новых народов, никому неизвестных досель. Они возникали из исторического небытия, эти выходцы востока, и упорно двигались на запад, сея повсюду гибель, вытаптывая славянские нивы и разрушая белые каменные города Европы. Безудержная алчность кочевников влекла их вперед, побуждая на великие походы; они смотрели на весь безбрежный мир как на пастбище, достойное их коней. Их было много — гунны, уйгуры, печенеги, торки, джунгуры. Сотни лет шли они с востока на запад, тесня и уничтожая друг друга, — и все было так, будто время не двигалось вовсе: те же юрты, те же стада, те же кобылицы, роняющие капли молока на опаленный солнцем ковыль... Потом появились в этих прииртышских степях другие люди. Хищные, грубые, бесстрашные, они шли обратным путем — с запада на восток и точно мстили кочевникам за былые нашествия, — их влекла та же алчность и они тоже смотрели на мир как на добычу. Они «разведывали землю», воевали, обманывали, грабили и, наконец, повели казачью горькую линию от крепости Омской к редутам Оренбурга... Ковыль легко и послушно стелился по ветру; с севера наступали на степь березовые кустарники; тушканчики, раздувая ноздри, приседали среди трав, прислушиваясь к железному крику гусей, тянувших над синими солеными озерами. Бородатые сибирские казаки слонялись по степи, киргизы пасли своих коней и баранов, проезжал на тройке осанистый чиновник в форменном кителе, медленно тащились обозы переселенцев... Эти хилые, изголодавшиеся люди, бросившие за Уралом насиженные дедовские надежды, искали здесь «привольную жизнь»,

пытались жалкими сошками и плужками одолеть целину; за каждую пядь побежденной земли они платили тяжким трудом, горьким потом батраков, — а степь точно смеялась над ними, вновь и вновь сшибала их с ног недородами, засухами, буранами, безводьем, тучами прожорливой кобылки... Тысячелетия прошли над землей, и все так же лежала нетронутая целина, как в небывалые времена аримаспов. Но была в беспрестанном течении времен и людей скрыта разумная неотвратимая сила. Обманывая, поработывая друг друга, лелея вечную ненависть поработанных к поработителям, люди сами сложились в эту силу; она создала города и машины, породила губительные войны и великие революции, — и она привела человечество от азиатских кочевий к иным временам, к новой неведомой эпохе, перед которой ничто все потрясения былых столетий. И только сейчас покорила закаменевшая в веках земля — стальные ножи взрезали древние покровы, обнажая черную девственную плоть, и вот властно попирает ее серое стальное, почти разумное существо... Оно надвигается на нас медленно, как нечто равное векам и победившее их, и хочется издалека уступить дорогу и смиренно приветствовать это создание мудрых человеческих рук... Оно проползает мимо, сотрясаемое мерным дыханием мотора, победно звенит десятками дисков, бегущих за ним, и позади пролегает широкая полоса измельченной, изрезанной земли: это все, что осталось от былого, от тысячелетней Азии.

Косько шевелит продискованные пласты носком сапога и говорит:

— Еще два следа зигзага и хватит, можно сеять.

Лицо его, как всегда, внимательно, скуласто. Он думает сейчас только о себе, о работе, о плане, который нужно выполнить во что бы то ни стало... Слово целина тоже знакомо ему. Для него это те клетки, что будут, в отличие от старопахотных участков, засеиваться не «Цезиумом», а «Кубанкой». Для него это земля, требующая больших усилий для обработки — ее приходится не только боронить, но и дисковать, а норма пахоты падает на ней для «Катерпилара» с 8,24 на 6,24 га в

день, а для «Интернационала» — с 3,52 га до 2,4... Еще знает он, что целинные земли сулят обильный урожай, и значит нужно готовиться к уборке загодя, терпеливо, предусмотрительно... Ему некогда думать о людях, прошедших по той земле, которую он должен засеять сейчас как можно лучше и точно в срок. Он не думает ни о гуннах, ни о разрушительных их кочевьях, и он прав, этот внимательный человек, в нескладной, точно на вырост сшитой шубе и серой ленинградской кепке.

Он поворачивается из стороны в сторону, считает тракторы, ползающие по участку, и спрашивает под'езжающего бригадира:

— А пятый где?

Бригадир сидит верхом на худом пунуром мерине. Из-под брезентового плаща ярко синее в первый раз надетый комбинезон, заправленный в сапоги. Он молод, похож на давешнего инструктора. Это тоже выдвигенец из рулевых.

Он сразу понимает, о чем спрашивает директор, и отвечает:

— Борона сломалась, пришлось отставить.

Косько еле сдерживает раздражение. Он знает, что, снимая трактор с работы, бригадир поступил правильно — даже одна выбывшая из строя борона уже нарушила рассчитанную мощность упряжки. Но он встревожен и раздосадован: каждый час простоя обозначает несколько гектаров, которые могли бы быть закончены сегодня... Не слушая объяснений бригадира, он возвращается к автомобилю, и мы катим обратно в аул.

Ветви берез низко висят над дорогой, и хоть знаешь отлично, что переднее стекло надежно предохраняет тебя, не можешь удержаться — жмуришься и кланяешься, словно ветка может стегнуть по лицу.

— Вот, малость, пустяк, нет запасной обороны, — сердито говорит Косько, — не предусмотрели, что может случиться поломка... И спокойны — ведь всего один трактор стоит. А что, если бы на лошадях работали и сразу бы сорок лошадей остановилось? Психология... Глупо!

Голый рыжий прут хлещет по стеклу, он жмурится, кланяется и поправляется:

— Преступно.

Аул. Сейчас, при дневном свете, он выглядит особенно убогим, неприглядным. Среди зимовок часто попадаются развалины — одни земляные стены без крыш, без оконных рам и дверей; они расплылись под дождями, осели, почти сравнялись с землей... Груды мусора, хворосту, сухого навоза навалены где придется, под самыми окнами жилищ... Странно видеть среди этого варварско-становой новенький иссиня-серый кузов трехтонного итальянского грузовика — на мгновение мне кажется, что я вижу его во сне. Это тот самый СПА, о котором было столько разговоров сегодня.

Из ворот зимовки, перед которой мы останавливались ночью, выходит Орлов — лучший слесарь и механик совхоза, командированный сюда для капитального осмотра тракторов. Он ездил на станцию и только-что вернулся.

Косько говорит ему о бороне.

— Знаю. Посылаем, — отвечает Орлов и ведет нас через тесный изнавоженный дворик, со всех сторон окруженный земляным валом, плетнями, обитаемыми камышевыми навесами... В комнате Афанасьева пусто, он уже на участке.

Орлов, вяло жестикулируя, рассказывает о грязной дороге, из-за которой опоздала машина. Лицо у него молодое, горбоносое и совершенно измученное; на щеке и на лбу высохшие брызги грязи. Слова беспорядочно, как-то сами по себе, срываются с его обветренных губ, и похоже, что он заснет, не докончив фразы.

— Ты помнишь, товарищ Орлов, что тебе нужно сегодня с Тейлором в Ново-Уральский? — спрашивает Косько.

В зерносовхозе Ново-Уральском назначена на завтра пробная сборка комбайнов. Туда едутся инструктора-американцы и механики-комбайнеры окрестных зернотрестовских совхозов, чтобы окончательно подготовиться к массовой сборке на местах.

— Помню, — недовольно отвечает Орлов.

— Так вот, приезжай с первой попутной машиной... Может, с нами поедешь?

Орлов отрицательно качает головой и вдруг говорит:

— Не к чему все это... Что мы без них не соберем, что ли?

Косько удивленно смотрит на него, но он уже спит, неловко по-детски склонив голову на плечо.

Я не узнаю ночного пути. Как все непохоже! Вот то место, где мы пробовали свернуть и пробиться напрямик. Вдали, за перелесками, виден дым костра и вагончики — как просто попать к ним и как слепо тыкались мы самыми неудобными, непроезжими местами!.. Вдоль дороги быстро бежит на длинных ногах кроншнеп, подпускает нас на десять шагов и шумно взлетает — он не боится нас...

Земля Москаленок кончается. Стан «Искры» возникает среди деревьев. Вагон не зеленый, как у борисовцев, а желтый. В стороне пашут колхозники. Три пары волов лениво тащат плуг, отмахиваясь хвостами от хворостины погонщика.

— Сколько колхозов граничит с Борисовским? — спрашиваю я.

Косько отвечает односложно:

— Девяносто четыре.

— А сколько вы будете помогать в этом году?

— Двадцати пяти.

Он молчит, сидит горбясь, внимательно смотрит вперед — неспящий человек! Молчу и я. Стрелка спедометра прочно стоит на 35. Мы уже проехали Борисовку, и великолепные джалтырские пашни окружают нас. Клубочки пыли отмечают неторопливый ход сеялок... Солнце полыхает над черными полями, и нагретый воздух дрожит вдали легкими прозрачными миражками.

Объезжая мост, перекинутый через русло высохшей степной речонки, мы с трудом выбираемся на дорогу — «форд» неожиданно виляет, предательски сползает левым колесом в канаву и кренится набок.

— Устал, — виновато ежась, говорит Косько, — машина и та не слушается.

Но впереди, сквозь приусадебные рощи, уже розовеют крыши домов. Мы сворачиваем на дамбу, огибающую котлован — целое искусственное озеро, обнесенное колючей проволокой... Усадьба

встречает нас дневным деловым движением. Толпа чернеет на террасе столовой и перед кооперативом. На постройке дробно стучат топоры и слышен чей-то истощный торжествующий крик:

— Митька-а, прораб зовет!..

Автомобиль останавливается напротив конторы. Косько медленно поднимается на крыльцо. В конторе, в тесноватом директорском кабинете, его уже давно ждут — несколько раз наведы-

вался главбух, тщательно выбритый, никогда ничего не забывающий человек, заходил предрабочкома, приезжали и уезжали запыленные люди с участков, звонил по телефону со станции зернотрестовский агент Дранько... Десятки дел и людей ждут директора. Они наваливаются на него со всех сторон и они опять до самого вечера не дадут ему уснуть.

Хутор Кайдула. 24 июля 1930 г.

2. ПОРЫВ

Очерк

Алексей Платонов

На аварию я выехал из Устюга с начальником сплава Плешковым. Моторка «Сторожевой» ударно рванула с места. Она на всех скоростях понесла нас к Шамбурову острову, за которым на мели стояла лотовка: огромный плот, самосплавом отправляющийся в Архангельск.

Промчалась мимо Гледена. На высоком, обрывистом берегу с остатками древнего крепостного вала, девять столетий назад охранявшего средневековый Устюг от набегов, в зелени белел богатый некогда монастырь, облитый весенним солнцем, точно высоко взнесенный на цепях лучей в синеву.

У берега на километры раскинулся плотовый лес, пригнанный к окорочной бирже. Здесь, на отлогом берегу, сезонники строгали баланс, окоряли пропсы, — рудостойки, идущие на крепление шахт, — отбирали лучшее на сырье для шелковых фабрик заграничным заказчикам. У окорочных козел, как игрушечные деревянные молотобойцы, издавна потешающие детей, над бревнами мерно раскачивались, сгибаясь и выпрямляясь, люди, и девушки обливали труд песнями. Тяжелый допотопный труд: вручную срезать кору с деревьев, непомерно закрепших в воде. Над механизацией его бьются долгие годы за рубежом и у нас. Дешевый товар — еловое сырье, из которого на фабриках будет выделан нежнейший шелк, — сегодня ломит спины людей, ломит руки, обрекает на рабские темпы, на адскую трату времени.

Но ровные, один к одному, уложенные штабелями тоже на километры, оголенные пропсы и балансы веселят глаза чистотой, нежной телесной свежестью нагого дерева, игрой срезов. Штабеля срезов при взгляде издали напоминают сотовый мед, только-что выбранный из колоды, сверкают смоляным, тоже точное медовым отеком. Ложку в руку — и пить бы с ним чай!..

На «Сторожевом» едет с нами инспектор ВСНХ, наблюдающий за сплавом на этом участке.

— Коля Брагин! — представил его Плешков. — Что надо парень, хилват только малость. Боюсь, не бревном ли его где пришибло. Придется, кажется, скоро на похороны расходоваться...

Хилватый Брагин не по поездке в ботиночках, в кожаной легкой тужурке. Рука забинтована марлей, лицо в черной окантовке по глазу, щека под марлей и ватой, — инвалидная выставка жертв мировой бойни. Участиво спрашиваю, пожимая его левую руку:

— Где вас разделало?

— Надоело рассказывать, — отзывается он голосом, настолько глухим и хилым, будто и голос у него подшиблен и забинтован. — Поживете в Устюге — и вас тут в три счета оборудуют за милую душу. Прохода от пьяных нет. Второй раз попадает мне ни за что. Шел по Красной улице днем, милиционер торчал в десяти шагах, а избили, как ночью не избыют в лесу беглые. Сдал я их милиционеру, да толку мало. Сводки в ВСНХ писать надо, а

чем писать? Попиши, когда рука отнялась...

— Ему завсегда влетает, — хладнокровно сообщает Плешков. — У него вид какой-то зовущий. Кто и не думал бы, а Брагина Колю увидит, непременно походя руку свою к сему Коле, с подлинным верно, приложит...

Охвостье острова, покрытое полой водой, образовало длинную мель, на которую нарвалась сплывавшая с юга лотовка № 8. Она была не одинока в своем несчастье. До революции север не знал лотового сплава. Лес сплавляли паромами, небольшими плитками, потом составляли из них мелко сидящие плоты, буксировали их пароходами, и так вели до Архангельска.

На таких плотах бревна укатывались в полтора ряда. Двина и притоки ее мелководны в межень, и дноуглубительные работы здесь поставлены с заданиями меньшими, чем например на Волге. Сплав лотовками (или, как его называют, ветлужский сплав, волжская сплотка, лотовые плоты) требует значительной глубины, потому что плоты вьжутся в три, четыре и пять рядов бревен, так сказать, пятиэтажно.

Особенно грузно сидит в воде кичка и кошевая часть. Кичка сложное сооружение, — на ней сосредоточены механизмы управления плотом. Нужно большое мастерство, чтобы хорошо ее срубить и связать. И вообще лотовка, по сравнению с примитивными формами сплава на Севере до революции, настоящая техническая революция сплава.

Работники Севера оспаривали ее применение здесь, пророчили неуспех, грозили напрасной тратой сотен тысяч рублей. Но лотовка, плывущая самосплавом на волочащихся по дну чугунных грузах — лотах, не требует топлива и буксирных пароходов, которых на северных реках мало. Одной лотовкой можно сразу сплавлять десяток тысяч бревен. Поэтому лотовка стала неизбежной на Севере. И кроме того...

Если пустить сплав по-старому, при революционном размахе наших лесных заготовок реки сплошь покрылись бы лесом. Они не смогли бы пропустить всей заготовленной древесины. А к концу пятилетки Север должен будет дать около двухсот миллионов бревен —

в три с половиной раза больше, чем в этом году. Уложенные в одну линию, эти бревна тридцать шесть раз окружили бы земной шар по экватору. К тому времени нужно будет предпринять многое: углубить реки, еще больше развернуть лотовый сплав, научиться размаху и технике у Запада в деле механизации сплава.

Запад знает уже паровые и моторные плоты. На бревнах, механически связанных в особых сплочных станках, правда требующих при сплотке много железа, которым мы еще не располагаем, он ставит двигатели, и механизированный плот в десятки тысяч бревен проходит путь сплава, как сквозь парад, в три, в четыре, в пять раз скорее, чем наши ползущие на лотах плоты. Оборудование передается после использования на новую партию, что делаем и мы в отношении, в сущности, допотопных снаряжений — якорей, такелаж, лотов. Но мы дико неповоротливы. Даже за такую оборачиваемость примитивного снаряжения у нас нужно вести свирепую борьбу, как пришлось вести ее и за применение лотовок на Севере.

Люди вросли в старые формы работы. Они во власти изжитых веков, дерекранных тысячами изобретений. Новое пугает людей, новое вышибает их как неумелых с насиженных мест. Потому что оно приводит с собой людей, знающих новое дело, либо не боящихся ему научиться. И старье вступает с новыми людьми в бой за рутину, за каторжную, окаменелую, но привычную жизнь, за работу, требующую удесятенных усилий, литров пота, но к которой успел человек притерпеться.

С Волги, с Ветлуги на Север поехали инструкторы, кичечники, лоцманы, инженеры. Их встретили здесь сначала в штыки. Но передовой Север, люди нового Севера отстояли революционное дело. И если сначала, напуганные приемом, десятки волгарей и ветлужан убрались в родные места, где их ценят и любят, то теперь Двина с ее притоками кишит пришлыми, как кишела Россия «неметчиной» при Петре.

На лотовке № 8 был волгарь лоцман и волгарь кичечник из татар. На кошевой — жилой части плота — вы-

сились три нарядных избы. Над ними свеже выстроганная господствовала дозорная вышка лоцмана. Издали, розово-золотая от солнца, лотовка казалась парадной, казалась сказочной, — будто остров Буян, стояла она среди спокойных вод, украшенная дворцовыми теремами, сигнальным флажком под досчатым зонтом, с колоколом на высоком шесте. Кичечные сооружения — три ворота, на шпилях которых канатами подымают якоря и лоты, стройно огораживали дворец, как крепостной часток. Рей, управляющие ходом лотовки, крамбалки и снасти довершали замысловатое сооружение.

У лотовки уже работал аварийный караван. Два парохода около пяти часов бились над нею, пытаясь стащить лотовку с мели. Лотовка засела крепко. Плешков, бывший чекист, привык к отчетливой, расторопной работе. Команда, измученная дневным авралом, с новой силой забегала вокруг рей, шпилей, пеньковых концов — канатов, спорящих толщиной с бревнами.

Но работа попрежнему не вязалась. Властью начальника сплава Плешков остановил проходивший мимо пароход «Пережат». Три парохода — «Шера», «Пережат» и «Свердлов» — вступили в борьбу, быть может, с несколькими десятками (может быть, с сотнями) бревен, которые засосала намываемая вихрящейся водой мель.

Стравив длинно буксиры, они брали лотовку и рывком — на-степка, и исподволь. Лоцманы охрипли, подавая команду в жестяные рупоры за полкилометра, на конец лотовки, подгоняя ленивого командира «Шеры» и осаживая чересчур торопливого «Свердлова». Нужно было добиться, чтобы все три парохода работали согласованно, но добиться этого как раз и не удавалось, несмотря ни на что. Точно были они в ссоре, эти три командира потрепанных, слабосильных буксиров.

Только-только яро возьмет «Свердлов» — «Шера» ляжет на слабину. Подтянет «Шера» — «Свердлов» уже расходует «степка», эжкится на цинковом канате обширной кормой, точно лежень ленивым задом. «Пережат» путался между двумя, не помогая обоним. Он метался между пароходами, напоми-

ная уличную собаку, задирающую у каждого столба ногу. Со стороны их работу можно было принять за игру, задача которой — оставить лотовку № 8 на месте.

Работа реями, игра на якорях и лотах оставались безрезультатными. Вслед за лоцманами разрасходовал горло Плешков, потом я. Коля Брагин даже не пытался расходиться. Мы не заметили, как нам изменила погода: зло ударил о воду быстрящий холодный ветер. Он бил нам в лицо, щипал десны. Управлять авралом стало еще труднее. Ветер сгребал крики в горсть, швырял их за наши спины пригоршнями неразрасходованных, давших осечку патронов. Мы не стреляли, мы чадили, и головы уже разболелись от чада такой бестолковщины и неумения.

Брагин перемену погоды заметил первый. Он посинел, побагровел от холода, точно под кистью ехидного и старательного маляра. Закоченев, он принялся, как мог, помогать команде на кичке, чтобы согреться. Большая рука поборола его азарт, — помощь осталась воображаемой, она не смогла его отогреть. И тогда Брагин дезертировал в кошевую к сердобольной волгарке — лоцмановой жене, к кипятку, которым она его сострадательно угостила в банке из-под консервов. Так лишилась лотовка одного из героев этого требовательного геройского дня. Сидя в кошевой, Коля Брагин краснел, сознавая, что постыдно ускользнул от работы, от будничного геройства, которым жила этот день лотовка.

На лотовке не геройствовать было нельзя. № 8 была слажена особенно грузно. Она была пятирядной, сидела глубоко, хотя на севере большинство лотовок строили в три ряда. Работа над ней требовала много труда. Часы труда накапливались в телах команды, как сосны копят смолу, и светлая смола пота выкипала из тел, повисая на бровях, на ресницах. Команда в изнеможении не владела губами, люди с трудом подымали веки. Они геройски лезли к расшатанным пароходами бревнам, проваливались в воду, — мокли их ноги, кусал мокрые руки ветер.

Оледенелыми руками брались они за железо, тяжелое, как тяжел труд, кото-

рый вложили в железо человеческие усилия на рудниках, у доменных печей, на заводах. И если бы не ругань и песни, которыми взгривала себя команда, они железо не стащили бы с места.

Плешков едва согласился на получасовый перерыв.

— Загоню всех, дьяволы! — метал он крики в людей, и крики снарядами рвались над кичкой. — Это работа! половина лотовки осыпалась. По всей Двине бревна гуляют до моря. Работа!

Лоцман относился к несчастью спокойнее. За десятки лет сплавной жизни он видывал и не такое. Быть может, прибудет воды, — похолодало, обложило тучами небо. У лоцмана ныла спина, голени, — непременно должен быть дождь и, может быть, ливень...

— Мы, ежели что, разнимем челени от кошевой, а кошевую от кички. Челени все на плыву, кошевой полегчает. Это не шибко времени займет много. Малость передохнем за обедом, и враз все дело управим. А потом подтянуть челени — пустяк.

(Челени — мелкие плитки, из которых составлен весь плот, кроме кички и кошевой).

Он угощал нас похлебкой с треской, в которой не плавало ни звездочки. Я видел, как треска эта мокла между бревнами в воде Двины. Там она походила на мочальный моток, которым моют в деревнях посуду. Здесь, в похлебке, она не казалась лучшей. И мочальной бородой тряс над похлебкой лоцман, крикая вслед каждой ложке, точно глотал стопку за стопкой горькую.

— Разнимем плот, да по частям и снимем с мели, чай не впервой. Беда, начальство, фарватера вашего, плеса не знаем. Вы нам сопроводатого даете на рейс, а мы понимаем так, что они, здешние старики, против волгарей хлопочут. Народ ваш с пристрастием. Им выгоды от нас мало, бояться, места с'едим. А нам хоть сегодня домой на Волгу. Вашим бы взять нас с подглядкой, мы сюда больше бы и не сунулись. А они норовят на мель волгаря подвести, думают — отменяют тогда лотовки...

Двина взъярилась еще исступленней. Разыгрывалась смелая репетиция шторма. Покачивало плот. Челени одну за другой приподымало по очереди, точно

каждая через головы остальных норовила заглянуть в свое будущее. По Двине плыли бревна, отрываемые от плота ветром. Ветер швырял их неотступно, озлобленно. Точно утопленники ныряли они в волнах, крутясь, исчезая и вновь появляясь глазу.

— Трави шлакты! — взрывая ветер, метал ядры приказа Плешков, согласный с выдумкой лоцмана: разнять плот по частям. — Трави, сколько хватит. Пошевеливай реи, пойдет!

«Пережат» исчез. Он дезертировал во время привала команды лотовки, когда сидели мы в кошевой, подтрунивая над Брагиным, превратившимся из багрового во что-то зеленоватое. Плешков грозил «Пережату» расправой. Снова с нечеловеческими усилиями команда принялась за работу. Парни и девушки, двадцать пять человек обитателей лотовки, трудились над тем, чтобы стравить шлакты, вязавшие отдельные части плота. Пароходы растащили рывком кичку и кошевую. Теперь попасть с одной на другую было возможно только на лодке.

Тогда обнаружились новые неудачи, постигшие нас. Кошевая, которую подерживали более легкие челени и кичка, осела наискось, по откосу мели, в глубокую воду. Срубы, где ногами ютились в невозможном тряпье на деревянных нарах команда, вповалку мужчины и женщины, затопило так, что вода подобралась к нижним нарам вплотную. Команда шагала по бревнам кошевой вброд, как по острову, затопленному половодьем. Люди спешили перебросить убогое барахло с нижних нар на верхние, и парни, подкидывая вверх сундучки, шутили, намекая на вшей:

— Спасай мясо, братва, не то уплывет наше мясо в Архангельск. Жди, когда новое наплодим!

— Столько бревен от кошевой оторвало! — удивился Брагин. — Сколько же надо леса порастерять, чтобы ей так отяжелеть и загрузнуть. Теперь и вовсе не стащить с мели. Стоять ей тут, как приколдованной...

Он сновал между всеми вновь багровый от холода, но в кошевой пристанища получить было уже невозможно. Там в ботинках пришлось бы попросту плавать. Лучше было страдать на кичке,

багровея и ежась от зубастого, разъяренного ветра, грызущего щеки, губы, затылок.

Теперь лотовка напоминала все, что угодно, только не плот. Люди метались по обломкам ее, как в час гибельного кораблекрушения. Челени отплыли далеко. Они изогнулись под ветром и течением Двины, как коралловый остров, — там людей не было, остров был необитаем, жил первобытно во власти ветра, и вокруг него ослепленно и ярко вредительски бушевала Двина.

Больше надеяться было не на что. Так попадают в капкан неудачи изобретатели. Вначале они убеждены, что стоят на верном пути. Все подсчитано, приведены в соответствие материалы, достигнуты определенные температуры. Комбинации следуют за комбинациями. Они накапливают верные сведения, суживают круг попыток, замыкают путь исключений способом отталкивания от неудач. Границы круга смыкаются неотвратно, как стеклянное скользкое горло воронки. Остается один решительный опыт, последняя, определенная всем путем поисков комбинация. Но, наперекор всему, в модели обнаруживается неточность, изобретение не удастся. Путь оказался ложным. Ошибка скрыта где-то вначале, скрыта как мина, которая взрывается, когда цель казалась достигнутой. Взрыв рушит упорство изобретателя, — он отказывается не от пути, который завел его в ложный тупик. Отказывается от изобретения, от идеи, о которой пылко мечтал, и в мечтах видел ее уже завершенной. Уже крутились зубчатые передачи. По тонким, струнным, блещущим проводам шел ток. Узкие трубки подавали горючее без отказа. Каскад искр окружал новую помощницу человечества — машину, точно нимб, сверкающий вокруг тучки, за которой бьется взъяренное агонией заката солнце. Но модель не работала, изобретение не удалось.

Так было с нами. Мы сами ухудшили положение. Плешков негодовал, бешовался. Его гнев передался команде, их телам, взъяренным работой и неудачами. Люди на кичке и кошевой в тон Плешкову налились негодованием, превращенным в материальную силу. Она вагнетала человеческие тела, точно бал-

лоны, по формуле давления атмосфер: десять, двенадцать, пятнадцать атмосфер давления газа, — сказали бы мы про наполненный кислородом баллон.

Люди, забыв обо всем, с удесытеренной силой принялись передвигать тяжести. Они швыряли их, будто воздушные тюки хлопка. Перемещали в пространство бревна, чугуны, чудовищный пеньковый канат. Над ними ядрами взрывались крики команды, — ядра швыряли Плешков, лоцман, командир кички. Но крики, казалось, взлетали не от них, а возникали сами по себе — от усилий мускулов, от негодования на неудачу, спрессованного в атмосферы. Негодования, уже отделенного от людей и ставшего самостоятельной силой.

И тогда родилось повиновение материала и тяжести человеку. «Шера» повернула корму, трос натянулся. «Свердлов» дал «степка» цинку, укрепленному на носовых кнеках «Шеры». На двойной тяге заработали две пары колес. Плицы колес молотили воду, — они гребли, рвали, сталкивали ее широкими лопастями, квадратом, равным негодованию, умноженному на волю и мускулы парходных команд. Они швыряли под кошевую и кичку сотни тысяч добавочных литров воды, гонимой человеческим гневом и нетерпением. И люди на кичке и кошевой ставили наперекор воде глубокие щиты рей, чтобы создать плотины и возмущением своим вздуть непокорные воды, задержать их, взбросить их высоту до грани, когда бы они оторвали бревна от засосавшей их мели.

Решающим оказался якорь, весом свыше четырех тонн. Такими якорями крепить бы в океанах материки. Его нужно было завести на досчанике, кинуть в Двину за семьдесят метров от кички и, накручивая шпиль ворота, в помощь парходам, на канате брать к нему плот. Четыре тонны нужно было усталым людям взять на руках, сбросить тяжесть такую на борт досчаника и свалить затем в семидесяти метрах от кички, проделав все это без обычных приспособлений — талей, кронбалки, лебедки, тросов! Конечно в Америке на паровом плоту все это было бы делом минутным, простым и легким.

— Пошел! — закричал Плешков, командуя к якорю, и сам бросился к его рогу, похожему на гарпун.

Якорь лежал мертвецки. Так тысячами на склоне горы мертвецки лежит валун. Плешков не остановился перед ним даже на миг. Мгновенная нерешительность, даже мгновение задержки с тем, чтобы удобнее выбрать точку упора, могли бы нарушить движение вихря, образованного его стремительным перемещением в среде команды. Тогда никто не поверил бы его порыву, и команду не подхватил бы окрыляюще вихрь.

Я очутился у плеча взбешенного Плешкова. Высоко взнесенный рог якоря вломился в небо. Надо было выломать его оттуда, хотя бы с глыбой ожесточенной, крушительной синевы, грозившей обрушиться на наши головы, неимоверной глыбой стали.

Команда яро и злобно навалилась на якорь, точно с размаху брошенная к нему непреодолимой силой магнита. Дикая мощь обуревала людей. Я слышал, как тяжело дышало, подаваясь, железо якоря. Так дышит на стрелке компаса магнитная аномалия. Мы ворочали окостенелыми мускулами глыбу железа, и она мстила нам электрической бурей сопротивления, ломила наши тела, сводила мышцы нечеловеческой судорогой.

Но ярость команды, окрыливший людей порыв одолели все. По наведенным к судну скользким, неверным и мокрым бревнам люди струнули якорь, точно тушу тюленя, сволокли к досчаннику и сбросили его на борт завозни меньше чем в пять минут, потому что в десять минут этого сделать было бы уже невозможно. Сила железа сломала бы растянутую на долгие десять минут нашу силу. Мы вдвое потеряли бы в ожесточении, в напоре, в рывке.

Свалить затем якорь в воду, за борт досчанника, было делом сравнительно легким. Мы выполнили его без труда, дружно навалившись на якорь — кто грудью, кто ломом. Сброшенный с борта, якорь рванул воду рогом, точно свирепым клыком морской бык, и плюхнулся тяжело на дно, взметнув к небу фонтан ледяной картечи. Но водяная картеть была нам уже не страшна. Мы без того давно вымокли до костей.

Пароходы не переставали остервенело работать. Их слабосильные дровяные топки еще никогда не подымали в котлах такого давления. Это было нашим спасением. Оставшиеся на плоту, чтобы работать у ворота, почувствовали явный толчок. Кичка, освобожденная вдобавок от грузной тяжести якоря, бодро качнулась. Под нее хлынули посылаемые плещами паровых колес яростные гребни волн, жестко покрытые пеной, как известью. Рей держали упор исправно, удесятерили их силу, их бешенство. И кичку вновь колыхнуло. Ее потащило с мели, ее даже рвануло на ход, и лоцман остатком горла испуганно закричал, чтобы крепили стравленные шлахтовы, ведущие к кошевой, потому что могло на свободных концах вынести кичку к чорту. Тогда кошевая осталась бы одна на мели, ее разбило и разнесло бы вдребезги, неувязанную снастями.

Вихри, столкнувшие нашими руками якорь, еще владели командой, — доживали последние токи порыва. Новое несчастье было предотвращено. Канаты, укрепленные на бабках, — столбах, вмурованных в плот, — повели кошевую за кичкой, за пароходами. Сорвать ее, последнюю помеху, с мели удалось без особых усилий. За кошевой плавно потянулись, выравниваясь на ходу, плитки челеней. Пароходы вывели нас на стрежень, слегка завели за остров в полый, чтобы дать в тихой воде подтянуть шлахтовы, подобрать и построить заново караван.

Но людям нужно было основательно передохнуть перед новой зверской работой, грозившей затянуться еще на сутки. Миссия нашей бригады была окончена.

— Напишешь? — спросил Плешков меня уже на «Сторожевом», обратно мчавшем нас к городу.

— Напишу! — твердо пообещал я и вспомнил все пережитое. — Напишу, как взяли мы на буксир плот и буксиры, как нужно ломить стихию волей большевиков, как не щадила себя в работе команда.

— Здорово придумал ты с якорем, — сказал рулевой «Сторожевого» Плешкову. — Здорово облегчил плот. Смахнул с него больше четырех тонн. Нето

прокрутились бы мы там до конца пятилетки.

— Американцы! — прищурился Плешков, взглянув на Колю Брагина, синевшего возле захлебывающегося маслом мотора. — Чем не американцы? Не обмани, смотри, напиши непременно...

Я тоже взглянул на Брагина. Мои губы невольно свела улыбка. Брагин пытался согреться у знойных трубок мотора, точно у жаркой груди красавицы. Даже в сумеречной мгле вечера было видно, как обильные черные брызги разукрасили его унылое лицо смачной пунктирной татуировкой. Так работают художники «припорохом», передавая на

плакате гранит или другой подходящий по фактуре материал: бетонную стену дома, россыпи зерна в элеваторе.

— Американцы! — повторил Брагин за Плешковым убито. — Верно сказано. Ты, Плешков, молодчага. Если бы мне руку не повре... ди...

— Нет! — перебил его я, едва ворочая застывшими от холода губами. — Американцы — только упрямая и бездушная техника: сталь, электричество, уголь. Мы не американцы. Мы ломим сталь голыми мускулами, электричеством нашей воли калим эпоху, а когда в топках пятилетки нехватает угля — сжигаем в топках собственное дыхание.

3. В ЕВРЕЙСКИХ КОЛОНИЯХ КРЫМА

О черк

Э. Вульф

Когда приходится агитировать за вступление в члены ОЗЕТ, то неизменно наталкиваешься на стереотипный и на первый взгляд невинный вопрос: «А вы сами видели? видели ли вы своими глазами, как евреи, это самое... обрабатывают землю?» О месте водворения евреев в Крыму, как райском уголке с виноградом, вином, курортами и купанием в Черном море и т. д., об этом все реже и реже говорят вслух. Большинство же вопрошающих осторожны и дальше невинных вопросов не идут, своего мнения не высказывают. Стоит ли говорить о том, что в подавляющем большинстве случаев этот вопрос включает в себе все отрицательное, что есть в психологии известного толка обывателя. От этого веет и антисемитским духом, и недоверием к советской прессе, дающей положительную информацию и не раз указывавшей на известные достижения в этой области.

Всякий ревностный поборник грандиозного начинания чувствует однако, что ему недостает действительного знания жизни евреев в Крыму. Надо видеть эту жизнь своими глазами; иногда же просто необходимо рассеять некоторые сомнения и неясности. Поэтому то так важно непосредственное ознакомление

с колонизацией, встреча с глазу на глаз.

Еврей-колонисты не пользуются ни морскими купаниями, ни ультрафиолетовыми лучами солнца. Они находятся далеко на севере от моря, от Евпатории. Основной массив колонизационных фондов отделен от моря раскаленной, сожженной лучами солнца степью, тридцатикилометровым расстоянием и девственным бурьяном.

Если бы во время уборки хлеба была даже 8-часовой рабочий день, то такое расстояние, разумеется, не преодолеть тому, кто захотел бы после работы освещиться в синих волнах Черного моря.

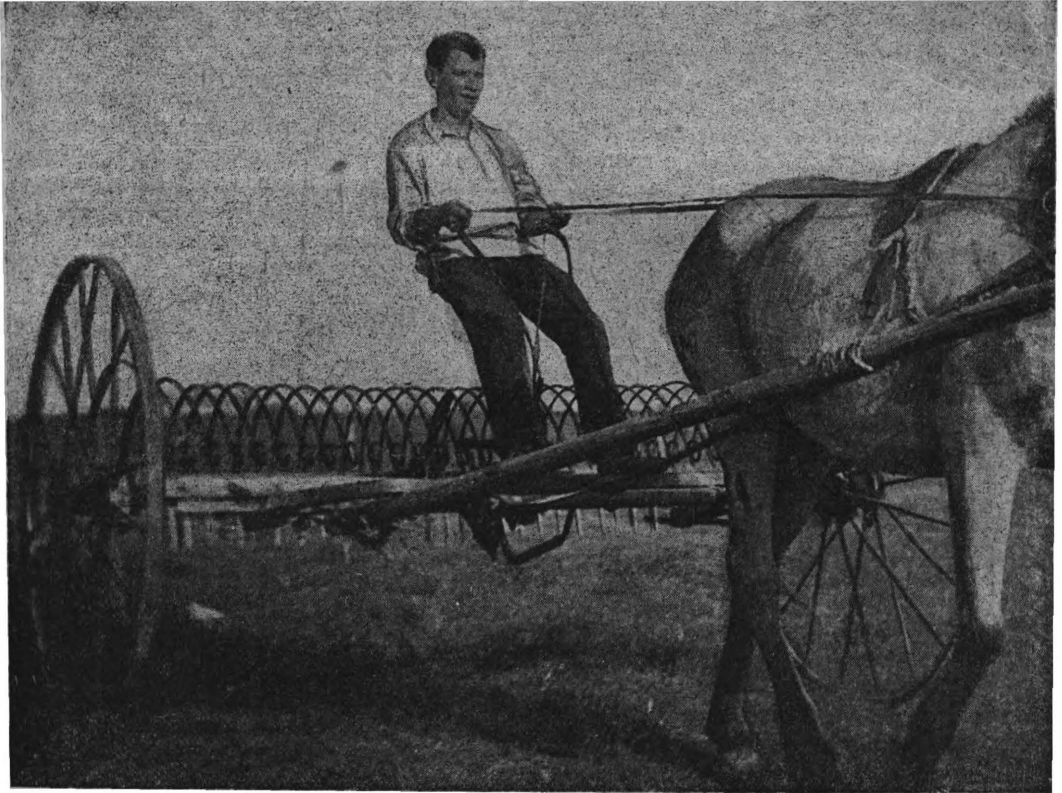
На окраине города есть дом ОЗЕТ. Там останавливаются приезжающие в город по всяким надобностям крестьяне-евреи из участков.

Обширный двор заставлен неуклюжими дрогами, называемыми мажарами, на которых сидят истомленные и загорелые еврей-крестьяне. Лица очень загорбелы. По недоношенной одежде еще можно узнать в них вчерашнюю местечковую деляческую брагию воздуха и нищеты.

Одни перекусывают, перед ними большая коврига домашней выпечки хлеба и груда купленных на рынке помидоров и огурцов. Другие просто беседуют и обсуждают свои дела, исключи-

тельно земледельческие. Среди них пожилые женщины. Может быть, у этих женщин есть и мужья, и зрелое потомство, но по разговорам видно, что брады правления в их семьях принадлежат им. Это право еврейская женщина вывезла из местечка, где она заправляла и лотком, и хозяйством, и мужем.

всего занимает. Внимательно они прислушиваются к приезжему, и готовы вести беседу весь вечер, всю ночь. По одному и тому же вопросу — разнообразнейшие взгляды, мнения, настроения и идеология. В одном только сходятся: обратно нет пути, надо преодолевать затруднения.



Предсельсовета на работе.

Для всякого крестьянина обычна практичность, граничащая с хитростью. Она уже хорошо освоена и еврейскими крестьянами. Прежде всего они должны познакомиться с вами лично: не кодок, не переселенец, не исследователь ли вы, по какой причине зашли, зачем, почему и т. д. Удовлетворив полностью и чистосердечно их любопытство, можно завладеть их расположением. Они с необыкновенной общительностью и радостью вступают в беседу, перебивают друг друга, чтобы лучше, но по-своему разъяснить положение дела и свести разговор к тому, что их самих прежде

Откуда разногласия? Среди колонистов имеются представители хотя и нищенских, но различных социальных оттенков в прошлом и различной успеваемости в настоящем. Переселенцы первых лет отличаются от переселенцев 1927—28 г. и позднейших годов своим благополучием и закаленностью. Среди тех и других есть колхозники, созовцы и единоличники, есть представители отдаленных от городов (75 километров) и более близких колоний; все это кладет чувствительный и разнообразнейший отпечаток на быт и настроения переселенцев. Энтузиастов и оптимистов

немало среди переселенцев и притом такого толка, что даже самый непосвященный скажет, что за них можно быть спокойным, — они своего добьются. Но есть и нытики. Чтобы разобраться во всем этом, надо поехать на места.

Следующий день моего пребывания в Крыму совпал с приездом американской рабочей делегации. Вечером торжественно открывался новый еврейский сельсовет в деревне имени Смидовича. Мы поехали вместе. Сначала были голые степи, бурьян, ковыль, сменявшиеся местами бутом, голыми камнями. Потом показался первый, второй и третий — на большом расстоянии друг от друга — тракторы. Ими управляли молодые парни — сыновья еврейских крестьян 21 участка, выходящие из Гомеля и Бердичева. Они радостно отвечали на наши приветствия, но не отрывали своего взора от взнузданных ими стальных коней. Солнце давно зашло, уже темнело, а они еще работали. И были рады, что знойный день давно окончился (было 45°), а сейчас веет прохладой южных ночей. Это было в субботу. В былые годы и дни эти самые парни вместо здорового загара имели бы восковые лица и сидели в душевной синагоге, олицетворяя собой фантастическую праздность гетто, созданную вековым религиозным укладом.

Приветствовать открытие нового еврейского сельсовета пришли, кроме переселенцев, председатель соседнего татарского сельсовета и председатель и секретарь русского сельсовета, обслуживавшего до последнего времени колонистов этого участка. Их простые и сердечные выступления говорили о том, что антисемитизм в этих местах не известен, что братские взаимоотношения между трудящимися крестьянами разных наций, в том числе и евреев, — не дерзкая мечта, а реальная действительность.

Выступавшие американцы, — Тибот, Элштейн и другие, — объездившие до этого момента весь Джанкойский район, подчеркивали, что они наблюдали везде наряду с громадными достижениями нечеловеческие трудности, которые приходится преодолевать переселенцам.

Они говорили: когда новому президенту САСШ задали вопрос, что он думает об американских рабочих, он ответил (буквально): — Бог им поможет! Сейчас мы в лице наших организаций Икор, Прокор, Агроджойнт и др. помогаем вам, беднякам, нашим братьям, но мы надеемся, что близок день американской революции, когда вы возвратите нам долг свой и поможете нам своим революционным опытом закрепить у нас советскую власть.

Еврейский поэт Добрушин при свете лампы, стоявшей на столе, за которым заседал президиум, прочел свой новый рассказ «Серп и молот»; в нем он показал борьбу комсомола в поселке со старым ортодоксальным поколением.

На переднем фасаде избы, в которой старики устроили «минен», 16-летний комсомолец нарисовал колоссальный серп и молот; этим завершилась борьба: евреи перестали ходить туда молиться. «Когда вступают в борьбу бог с Лениным — победит Ленин, я в этом убедился и потому больше не пойду молиться, да и в полевой работе настала жаркая пора, еду в поле» — так сказал один из молящихся, за ним последовали другие.

Выступавшая вожатая, 13-летняя пионерка Хана, трогательно, с редкой горячностью благодарила поэта и выразила ему от имени молодежи свою признательность. Кстати некоторые мелочи о пионерах: в какую вы колонию ни придете, вы найдете беспокойнейший, кипучий пионеротряд, принимающий по мере возможностей активнейшее участие в хозяйственной и общественной жизни колонии. Но ни один отряд не имеет полагающегося ему по штату барабана. Ребята грустят по нем. Было бы хорошо, если бы столичная комсомолия и пионерия, а также и озетячейки собрали бы мелочишку для скромного, но вместе с тем богатого для ребят подарка.

Теплые проводы всей колонией, от мала до велика, произошли при фонарях, почти перед самой зарей. Прощальное слово произнес председатель нового сельсовета, столичный рабочий, двадцатипятилетний. Такого оживления деревня, может быть, ни разу еще не переживала за свой 5—6-летний «век».

* * *

Присоединившись к ленинградской рабочей бригаде, мы об'ехали три колонии: Икор, Перецфельд, Фрайдорф. Шла уборка полей, молотья и загрузка силосных башен. Мы не раз переходили от одной группы хлеборобов к другой, от владения одного колхоза к другому, от колхоза к единоличникам и обратно. Полуобнаженные, почти обугленные,

ланную работу и определить, сколько еще можно сделать до захода солнца, если приналечь хорошенько, — эта манера напоминала украинских крестьян.

Перед нами 65-летний старик. На высоком лбу не по летам тонкие борозды, над глубокими серыми глазами нависли жесткие, густые брови, лицо окаймлено длинной, как у патриарха Авраама, седой бородой. Он работает в поте не только лица, но и всего упорно борю-



Прополка кукурузы.

обливающиеся потом, работали все, начиная от 10-летних мальчуганов и девочек и кончая 70-летними стариками.

Только там, на поле, можно было увидеть обнаженных колонистов, снявших с себя замасленные жилеты и тряпки, которые некогда назывались манишками (еще и теперь напяливаемые на себя некоторыми переселенцами при посещении города); только там можно было увидеть настоящих крестьян, их особую манеру прерывать свою работу, чтобы глотнуть холодной воды из кувшина или покурить, окинуть взглядом проде-

щегося со старчеством тела. Работает в колхозе, куда он вступил первым, подает пшеницу к молотилке, убирает солому и старается не отставать ни от людей, ни от машины. Через час, когда понадобилось срочно подвозить копны к скирде, его заменили две женщины, а он запряг вола и взялся за подвозку.

Вечером мы сидели с ним на скамейке около его пятистенной избы. Невестка, дав ему чистую рубаху, шепнула: «Тут чужие, а завтра на работу опять надеете старую». Как видно, это была роскошь. Сын взял себе из коллектива

на ночь сбрую, чтобы починить, внуки пошли в избу-читальню почитать и побалагурить с девчатами.

В хозяйстве старика, еще до вступления его в колхоз, разводились уже свиньи. Он сам за ними ухаживал наравне с остальными членами семьи.

Мне показалось странным: старик еще не порвал окончательно с религией, и когда не было работы, т.-е. в ненастную погоду, он «от нечего делать» молился. И вот он не только участвует в разведении «запретных» животных, но и доволен тем, что сын и внуки временно лакомятся кусочком засоленной или поджаренной свинины. Меня заинтриговал этот процесс совмещения, так сказать, «двух начал». Захотелось досконально узнать, что это — слепое подчинение необходимости или же ясно осознанный подход к вопросу, который вначале вероятно был мучительным. К удивлению, оказалось последнее. Старика не возьмешь голыми руками. Он, я бы сказал, философ-эклектик от богословия и самой жизни. Все сомнения он, не смущаясь, разрешал исчерпывающим образом: «Когда люди заняты тяжелым трудом, их священное право быть сытыми. Я лично, на закате своих лет, не меняю свою пищу, живу с горем пополам постной или молочной пищей, иногда лишь вкушаю свою домашнюю птицу, не употребляю свинины, но они — молодые, от них и больше требуется, и кровь у них живее, и желудки настоящие, и работают они побольше и напряженнее меня. Они поступают правильно, когда принимают все меры, чтобы быть сытыми, в том числе я считаю и употребление свинины. Бог... ведь он есть для тех, кто так воспитан, кто воспитан в вере, но его нет для тех, кто воспитан иначе. Бог есть, когда нет у нас надежды, опоры, особенно в прошлом, когда нас окружало горе и беспросветная тьма. У них же теперь, у молодых, в настоящем и будущем разумная, трудовая, свободная жизнь, и весь их путь, не удивляйтесь, даже путь без бога, я оправдываю». Сказал и созерцательно улыбнулся в свою аршинную пеньковую бороду и чуть-чуть прищурил свои ясные, бездонные глаза.

Несколько слов о смене смен. Труд пионерии протекает в колхозах органи-

зованно, прилежно и образцово. 12-летняя Лиза, назначенная старостой рационального птичника, — остроносая, худенькая, необыкновенно живая девочка, но совершенно лишенная детской сентиментальности. На «дело» смотрит очень и очень серьезно. Другая девочка 9-летняя Ривочка — цыганенок от загара, с глазами-угольками, ходит почти нагишом, до того изношено, излатано платьице. Они водили нас по курятнику, давая самые пространственные объяснения по куроводству. Нас сопровождал еще мальчишка, тот самый черномазый оборвыш, который на наших глазах несколько часов тому назад вымолил у взрослых для выполнения данного ему поручения разрешение съездить верхом на стоявшей тут же неказистой кляче.

— От них отбою нет, — жаловались взрослые, — настоящие казаки, так и гардовали бы верхом весь день и всю ночь.

В своих детских головках мои спутники-птицеводы лелеют мечту о «производственном» идеале, о завершении своего хозяйственного «промфинплана» — во что бы то ни стало накопить средства на инкубатор. Им очень долго придется производить «первоначальные накопления». Некоторые деревянные приспособления мастерски сделаны для птичника секретарем сельсовета, он бывший столар из Минска. Много было сообщено по истории курятника и его заманчивых перспективах, при чем все сообщалось с захватывающим интересом; эти оборвыши такие энтузиасты, такие беспокойные муравьи, у них чистые, жгучие угольки-глаза. Нельзя писать о них без волнения. Совершенно ясно, что эти дети, выросшие в бедных крестьянских семьях, — новые дети нового мира. Они вырастут и будут верной опорой советской власти, лучшим человеческим материалом для грядущей жизни нашего государства.

Что собой представляет еврейская деревня на сегодняшний день? Как правило, она резко расслоена на три основных группы: колхозы переселенцев 1924—28 гг., колхозы из новых переселенцев 1928—30 гг. и наконец единоличники. Колонисты «старшего» колхоза, физические и материально обжившиеся, живут

лучше «молодых» и вызывают у вторых зависть, но, с другой стороны, толкают на усиленную деятельность членов «молодого» колхоза, всячески стремящихся «догнать и перегнать» стариков. Костяком «старшего» колхоза является середняк, «младшего» — бедняк, недавно прибывший или вновь прибывающий переселенец. У «молодых» мало опыта, они физически и материально еще мало

дуть в преимущества коллективизации. Пока-что они знают наперечет все достижения и промахи того или другого колхоза, и можно быть уверенным, что не пропустят случая войти в колхоз.

Что касается лишений и трудностей, то их очень много. У новых переселенцев наблюдается большая нужда. Животноводческий кризис ни на ком, может быть, так тяжело не отражается,



Юный колхозник Ноким едет на работу

устойчивы, но зато они большие энтузиасты, их не засосала еще трясина крестьянской, мелкособственнической расчетливости, консерватизма и т. д., которые нередко обнаруживаются у «стариков». И наконец одиночники, все крепкие середняки, они слишком большое значение придают своему индивидуальному почину, слишком дорожат своей инициативой и ценят автономию своей хозяйственной ячейки. Но все же после беседы с ними вы придете к заключению, что они не фанатики своего индивидуализма, их можно убе-

как на поздних колонистах. Корова играет всепобеждающую роль, но с коровами вышло то, что с постройкой одной каланчи в Сибири (у Кропоткина в «Записках революционера»): смету посылали на утверждение в Петербург, утверждение продолжалось 3 года, а за это время материал и рабочие руки дорожали и приходилось составлять и посылать на утверждение новую смету, которую постигала та же участь. Так продолжалось около 50 лет. Почти аналогичная картина теперь: Агроджойнт отпустил кредит на корову в 100 руб-

лей, пока приступили к покупке, корова стоила 200 рублей, Агроджойнт не утвердил этой цены, когда же он решил эту сумму, цена подскочила до 400 рублей, сейчас цена коровы 700 рублей. Большая вина в этой непредусмотрительности лежит на уполномоченном евпаторийского комзета.

При корове можно как-нибудь прожить, можно работать, отсутствие же ее — угроза для жизни детишек, верное истощение работников, недавних горожан, на плечи которых взалена тяжелая и непривычная ноша крестьянского труда. Необходимы энергичные шаги, чтобы выйти из этого положения. На овощи не приходится рассчитывать. Земля свирепо огрызается, не признает овощной культуры. Не успев взойти или достигнуть фазы цветения, овощ сторает до гни. Впрочем переселенцы не жалуются на землю, у них сложилась меткая и горькая пословица: земля в Крыму не плохая, но небо некудышное. Оно бессердечно сжигает то, что земля готова дать в изобилии.

Вновь прибывшему переселенцу приходится часто с семьей валяться под худой крышей неуютного полутемного сарая. Мельницы расположены далеко от многих поселков, и это затрудняет своевременный помол. Ближайшие почвенные пласты лишены родников. Устройство колодца — дело сложное и дорогое, один, два колодца обслуживают все село. Когда обрывается трос или получают неполадки с другой частью механизма, тогда затруднения увеличиваются в несколько раз.

Но все это ничего. Переселенец видит, что более ранние колонисты, такие же, как он, бывшие бедняки и люди воздуха, уже оставили позади неизбежную полосу лишений, значит и он переживет горькую нужду и выйдет на дорогу. Дома для вновь прибывших, хотя и не с максимальной быстротой, но на их же глазах и при их же участии строятся.

Даже средний урожай вдохновляет крестьянина, открывает перед ним заманчивые перспективы на ближайшее и отдаленное будущее.

Сбор зерна в большинстве случаев стал достигать контрольных цифр, кон-

трактация выполняется на все 100 проц., а местами — на 150—200 проц.

Вот одно из замечательных достижений советской власти: государство получает сотни тонн хлеба от крестьян, вчерашних лотошников, людей воздуха, городских люмпенов. Государство получает хлеб, выращенный непривычным, но упорным трудом горожанина, ставшего волею Октября деревенским муравьем.

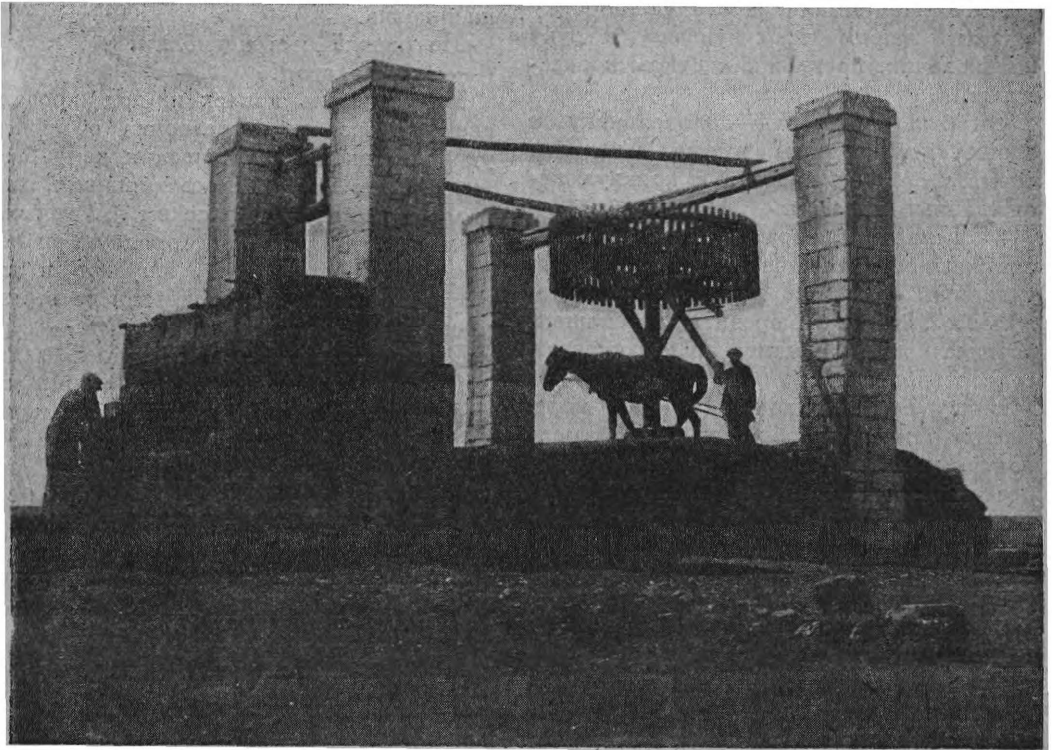
Проезжая через немецкую колонию, по пути из Перецфельда мы познакомились и побеседовали с немецкими колонистами. Очень хотелось знать, каковы у них взаимоотношения с еврейскими крестьянами. Взаимоотношений к сожалению почти совсем нет, — соседи редко сталкиваются и почти не имеют связи. Но немцы настроены дружелюбно к евреям, как к «коллегам по оружию». Однако критикуют их во всю. Критикуют без вражды, но серьезно. По их мнению, еврейские колонисты делают часто грубые земледельческие ошибки и почти никогда не обращаются к ним, немцам, за советами. Очень например критиковали они медот и время, выбранное для силосования. Конечно таким земледельческим методистам и хозяйственным педантам, как немцы, трудно угодить, но все же еврейские колонисты должны у них учиться и держать курс на «немецкую технику и немецкое отношение к вопросам земледелия». Секретарь фрайдорфского сельского совета, дельный парень, пользующийся симпатиями населения, подтвердил это положение, но тут же добавил, что мы мол «сами с усами». Принимая во внимание, что агропомощь слишком недостаточна — всего несколько агрономов на 80 колоний, этот факт нельзя причислить к положительным явлениям еврейской деревни.

Потребовалась однажды для обмола та кукурузы особая перестановка двигателя молотилки. Для этого был приглашен немец, земледелец и механик из упомянутой немецкой деревни. Нужно отдать справедливость, что за всеми его движениями переселенцы, особенно молодежь, следили, как самые прилежные ученики.

Бывают случаи, когда предсельсовет за неподчинение, нарушение порядка

вызывает из рика милиционера и штрафует своей властью. Один хлебороб не хотел дежурить у колодца с своей лошастью, несмотря на то, что пришел его черед. Он был оштрафован на 5 рублей и, кроме того, его заставили дежурить на следующий день под угрозой некоторых лишений и двойного штрафа. Вечером того же дня произошла встреча этого самого преда с упрямым. Заку-

Приготовлена земля для хлопководства и виноградарства. В некоторых местах уже не за горами плоды от этих начинаний, однако есть и тут отрицательные явления: обслуживающая агрономия не сумела достаточно заинтересовать крестьян этим видом хозяйства. Простой факт: водивший нас по плантажам председатель колхоза не мог дать ответа на некоторые вопросы, не мог



Шахтный колодезь в колхозе Фрайдорф.

рили друг у друга, даже подшучивали, как-будто ничего и не произошло между ними. Это уже не местечковые, а здоровые производственные нравы.

В области возделывания и культуры хлебных злаков есть уже огромные достижения и победы. Однако ряд засух и неурожайных лет в прошлом поглотил слишком много сил, и колонисты решили серьезно заняться постепенным и параллельным переключением энергии в другие области: животноводство и птицеводство, хлопководство и виноградарство, технические и лекарственные культуры.

дать элементарного объяснения, зачем например потребовалась четырехметровая «полоса отчуждения», тянущаяся на протяжении всего виноградного плантажа (свыше 10 га).

Культура винограда, начиная с поднятия нови, требует много больше тяжелого, непривычного труда, чем обычное полеводство. Но крестьяне верят, что здесь меньше придется воевать с непобедимым пока небом, с которым прошлые годы велась неравная борьба. Пока еще нет результатов, но есть уже данные, что будущий год запишет в дебет плоды новых усилий еврейской колонизации.

4. БОБРОВКА НА САРЕ

К. Чуковский

I

Председателя уложили в постель и крепко прикрутили веревками, чтобы он не мог шевельнуться.

Потом привязали к его подбородку тяжелый кирпич и, сунув ему в руку колокольчик, предложили открыть заседание.

Он был очень рад колокольчику и звонил дольше, чем нужно. А потом спрятал его под кровать и крикнул неожиданным голосом:

— Товарищи, пора изжить безобразное жвачничество! Не забудьте, что мы, ударники, обязались хорошо есть и лежать и главное искоренить из нашего корпуса жвачничество. Мы объявили соцсоревнование!..

Внизу было теплое и доброе море. Вверху теплое и доброе небо. По горизонту, как сумасшедший, бежал миноносец, и все следили за ним с восхищением. Но председатель позвонил и спросил:

— Что же делать с теми, которые — жвачки?

Рыжий, тоже связанный, крикнул свирепо:

— Кто жвачничает, того в изолятор!

И со всех сторон наперебой:

— Протащить через газету!

— На черную доску!

— В изолятор! В изолятор!

Но застенчивый и еле слышный голос:

— Дать им на исправление два дня...

— Два дня? — переспросил председатель. — А если они не исправятся?

— Кормить их с ложки, чтобы им было стыдно!

Очень слабый голос, почти полушопот, но все услышали его. Он исходил от гражданки, которая, подобно председателю, была привязана к постели веревками. Ее предложение было одобрено большинством голосов. Верно, верно! жвачникам дается два дня, а потом их, как младенцев, кормят с ложки, чтобы они сторели от позора.

— Секретарь, запиши в протокол:

если к послезавтраму они не исправятся...

— Исправимся! — закричали испуганные жвачники хором. Очевидно, кормление с ложки — здесь жесточайшая казнь.

Но рыжий был неумолим:

— В изолятор!

Председатель извлек из-под кровати свой колокол и затрезвонил с явным удовольствием. Я подошел к нему ближе. То, что мне казалось кирпичом, оказалось увесистым плоским мешочком, привязанным к его подбородку при помощи каких-то блоков, шнурков и тесемок. К кровати он привязан не веревками, а очень широкой тесьмой, — вернее: фитилями для керосинных ламп, да, да, фитилями для ламп, — привязан туго, крест-накрест, десятью большими узлами. Я, кажется, и минуты не мог бы пролежать в такой позе, а он, видимо, не испытывает никаких неудобств и весь поглощен заседанием. Вздрыгивая фальцетом кричит он, что в первом звене есть достижения в еде и молчанке, но третье и четвертое работают средне. Кроме того, звеновые...

Тут начинается бурный галдёж. Звеновых уличают во всевозможных вредительствах:

— Звеновой второго звена Коведякин лучшие карандаши берет себе, а нам дает те, что похуже.

— Звеновой пятого звена Федосеев не дает мне «пионера-строителя». Я хотел построить трактор, а он...

— Звеновая Тамара Сергеева говорит, что я жвачка, а я не жвачка, она сама жвачка, а на меня говорит, что я жвачка...

Председатель объявляет заседание закрытым. Но никто не вскакивает, не бежит к дверям, не толкается. Да и как им бежать, если ноги в колодках, а туловище в гипсовом ящике. Случись пожар, они и то не шелохнулись бы.

Деловая программа кончилась. Я выхожу на середину площадки и убитым голосом читаю вслух стишки; они ка-

жутся мне слишком веселыми для этого грустного места, и я читаю их почти против воли. Вдруг меня прерывает хохот. Предо мною смеющиеся детские рты. И зубы, которые сверкают на солнце. Такого хохота я давно не слышал. Я шел сюда к озлобленным калекам, которые корчатся от обиды и боли, а они — весельчаки, хохотуны, радующиеся всякому вздору! Это было для меня большим сюрпризом, и долго впоследствии не мог я привыкнуть к тому, что, когда подходишь с берега по каменной тропе к той площадке, на которой они лежат день и ночь, еще издали доносятся веселые крики, словно из цыганского табора.

А между тем кому и грустить, как не им, этим горбатым, безногим, парализованным детям с изъеденными туберкулезом костями?

Стоит только пройти по той узенькой улице, которая образовалась между двумя рядами их коек, чтобы понять, какая страшная с ними случилась беда. У одного туберкулез позвоночника; он лежит уже четыре года, весь замурованный в гипс. У другого туберкулез глаза, у третьего туберкулез почек. У четвертого и то, и другое, и вдобавок несколько гнойных свищей в тазобедренном или голеностопном суставе. Тот только-что перенес трепанацию черепа, у этого парализованы ноги.

Кто же сделал их такими жизнерадостными и отвлек их от тех сосредоточенно-мрачных, мизантропических мыслей, которые свойственны тяжело больным и калекам?

II

Я решил посетить их еще раз, чтобы внимательнее всмотреться в их быт.

Живут они в Бобровке, на Саре, в роскошном саду, между Симеизом и Алушкой, среди кедров, мимоз, кипарисов, глициний и пальм, под защитой Ай-Петри, которая, как добрая летучая мышь, распялила над ними свои широкие крылья, чтобы уберечь их от северных гриппозно-тифозных ветров.

Бобровка — санаторий для детей имени профессора Боброва, отделение ялтинского тубинститута.

Место благодатное, у самого моря,

которое как огромный рефлектор рассеивает в воздухе столько лучей, что дети даже осенью, даже лежа в тени, загорают здесь, как цыгане.

Да они и вправду цыгане: живут табором, на воздухе, чуть не в шатрах и, как это ни странно, кочуют.

Их кровати помещаются на открытой площадке, под тентом, и лежат они на сквозняке нагишом, а рядом с площадкой есть здание, или, вернее, коробка из тонкой фанеры с широчайшими, вечно раскрытыми окнами, куда их переносят лишь глубокою осенью, лишь в особо холодные дни. Даже в ноябре они с утра до вечера живут на ветру, только к ночи переселяются в свой коробочный дом.

Этот дом называется: «Корпус имени десятилетия Октября». Построен всего три года назад и являет собою немалое достижение здешней строительной техники, так как он антисейсмичен, то-есть в случае землетрясения останется цел и никого не раздавит. Чистота в нем голландская, демонстративно-чрезмерная, архитектор нарочно не оставил ни щелей, ни карнизов, где могла бы скопиться пыль. Даже воробьи обижаются: они влетают сюда целыми стаями, но на полу ни соринки. Должно быть еще сильнее бывают обижены всякие бактерии и микробы, не находя здесь ни малейшей поживы. К тому же этот черноморский сквозняк так закаляет детей, что они забронированы от всякой инфекции. В корпусе нет печей. Дети проводят всю зиму в нетопленной деревянной постройке, и хоть бы кто чихнул или кашлянул. В том и заключается один из методов здешней «лечебы»: в закалке больных организмов, в повышении их сопротивляемости.

Другие здания в том же саду разнообразны и разнообразны. Тут и каменные двухэтажные дома, тут и деревянные помосты в роде открытых эстрад. Два корпуса имени Семашко для младенцев трехлетнего возраста, а морская деревянная веранда — для усатых и бородатых подростков, у которых лица обветрены, как лица матросов. В корпусе имени Крупской — ходячие дети, с неблагоприятными железами и бронхами, а в корпусе имени Изергина — дети лёгочные.

То заседание, которое я сейчас описал, происходило на октябрьской площадке, то-есть на полянке, прилегающей к корпусу имени десятилетия Октября. Там, в этом корпусе, около полусотни девятилетних детей, школьников первой ступени.

Чуть только я прекратил мое чтение, они принялись играть. Мне с непривычки было жутковато смотреть на их игры.

Лежит мальчишка, весь в гипсовом панцире, как в скорлупе, ноги тоже в гипсе, сам крепко прикручен к кровати, и играет в мяч, то-есть подбрасывает мяч на полвершка и ловит его скелетно-худыми руками. И счастлив:

— Смотрите, футбол!

А рядом девочка бинтует ногу своей кукле. Такая мода у здешних детей, чтобы их куклы были тоже калеки, парализованные, туберкулезные, горбатые, с натёчками, гнойными свищами. И замечательно, что куклы всегда выздоравливают! Для того и болеют, чтоб выздороветь. Девочка положит куклу в гипс, и через день уже просит соседку:

— Сделай моей Але костыли, она у меня уже стала ходячая.

Другая популярная игра — состязание улиток. Два мальчишка, лежащие рядом, кладут на маленький столик двух очень мелких улиток и целыми часами следят, которая скорее доползет до лежащего впереди карандашика. Но этот спорт доступен лишь для тех, кто может повернуть голову набок. Остальные сажают улиток в коробочку, кормят их листьями, заставляют высовывать рожки и тихо радуются, глядя на них.

— Дяденька, достань мне улитку, я посажу ее на кукольный диванчик! — крикнула мне очень красивая девочка со скрюченными омертвелыми ножками.

— И мне, и мне, я надену ей бантик голубенький!

Я достал им в саду полдюжину улиток, они стали ласкать их и гладить.

Все игры принимают здесь характер эпидемий, стоит затеять игру одному, как она становится всеобщей. Улиток недавно заменили волчки из катушек: каждый требовал себе катушку от ниток, разрезал ее пополам, протыкал половинку коротенькой палочкой и начинал вертеть на дощечке или на собственном

гипсовом панцире. На смену катушкам пришли колечки от тента, на смену колечкам — круглые серые камушки с берега, на смену камушкам — сочинение стишков.

До сих пор здесь был один общепризнанный и так сказать официальный поэт, горбатый Володя Б. Он быстро изготавлял каждый месяц необходимое количество строк в стенгазету, и больше никому никакой поэзии не требовалось. Но вдруг началась эпидемия поголовного стихотворства.

Лена Берковская, у которой разрушены три позвонка, а поражены туберкулезом восемь, подозвала меня с хитренькой бабьей улыбкой:

— Дядя, я песенку выдумала!

И сказала мне какой-то несладный куплет. Куплет был подслушан лежащими рядом — и через пять минут было выдумано столько стихов, что я не успевал их записывать.

Меня поразило то, что во всех этих стихах ритмы оказались плясовые, задорные. Все они были построены по одному и тому же канону — дразнильной, сатирической частушки:

На октябрьской площадке
Есть Матвеев Юрий,
Днем и ночью он читает,
Набирает дури.

Это про мальчишку, которого в 12 часов ночи накрыли за чтением Жюль Верна.

А вот про Петю Ржанова, который умудрился нелегальным путем получить от няни три веревочки вместо одной:

На октябрьской площадке
Петушинник скряга,
Три веревки он забрал,
Ай да молодчяга!

А вот про Сережу Дальцмана, который не дал товарищу какой-то игрушки:

На октябрьской площадке
Есть кулак Дальцуха,
Ничего он не дает,
Хоть кричите в ухо!

Словом, каждая частушка — обличительная. Каждая клеймит нарушителя

установленных законов общежития. Эти поэты-сатирики сочли своим долгом встать на страже интересов всего коллектива.

Впрочем, они не пренебрегают и прозой для искоренения антиобщественных зол. Девятилетний украинец Ваня Коваленко подал мне такую записку:

«На октябрьской площадке есть вридитил Боря. Он рвоту плакаты и примавивает (приговаривает): — Я казённого не берег и не буду берегти; когда б оно было мой, то я б бережал».

III

Такая забота о «казённом», коллективном, неличном сказывается здесь на каждом шагу. Вообще личная жизнь доведена здесь до минимума. Всякое я течет в мы, всякое мое превращается в наше, и когда я подарил одному из больных несколько почтовых марок для коллекции, он тотчас же сказал мне, что это будут их общие марки, «марки всего звена», даже не допуская и мысли о каком-нибудь личном имуществе... Так сильно развито чувство гражданственности у здешних ребят, что на этом чувстве зиждется здесь вся педагогика. Коллектив — единственный верховный судья всех правонарушений, учиненных детьми. Только при его постоянном воздействии удается здешним педагогам достигнуть таких чудес дисциплины.

Вспомним хотя бы заседание, посвященное ж в а ч н и ч е с т в у. Это грозное слово означает весьма ординарную, но неприятную привычку некоторых вялых детей — растягивать свою трапезу на бесконечно долгое время. В семьях такие медлители — горе. Вся семья хором уговаривает их не цепенеть над тарелкой, не делать столь продолжительных пауз между двумя ложками супа и обещает им за более ускоренный темп всевозможные награды и лакомства. Но ребенок пребывает в столбняке, словно издеваясь над всеми усилиями.

Несколько таких злостных медлителей появилось и в Октябрьском корпусе. Они недавно попали туда. Их матери, привезшие их в санаторий, заявили медперсоналу, что их медлительность — не баловство, а болезнь, что искоренить эту болезнь нельзя, а нужно снизить

к детской слабости... Но педагоги не вняли материнским мольбам. Они поставили ж в а ч е к под контроль коллектива, и «болезнь» исчезла в два дня.

Таким же путем была достигнута абсолютная тишина во время м е р т в о г о ч а с а. Так же добились педагоги от своих о к т я б р и с т о в той сверкающей чистоты и опрятности, которая поражает всякого при входе в их корпус. Старшая и младшая группы больных об'явили друг дружке соцсоревнование по части соблюдения чистоты, и после этого никто не осмеливался бросить на пол бумажку или виноградное зернышко.

Когда впоследствии я посетил Сестроредкий санаторий для костных больных, я увидел, что при всех добрых желаниях санкома чистота еще не достигла там такой высоты, как в Бобровке. Но и там ее вводят путем коллективных усилий. Сами дети борются с неряхами, о чем свидетельствуют хотя бы такие частушки, недавно сочиненные детьми:

1.

На работу наш санком
Как в поход собирается,
Горы мусора у нас
Между тем валяются.

2.

Придется скоро об'явить
Соцсоревнование:
Кто получше разовьет
Мусоробросание.

Вскоре я заметил, что их «мы» — не только коллектив санатория, но необ'ятно больше и шире.

Вначале я никак не мог понять, почему педагоги, подготавливая их к октябрьскому празднику, предлагают им для пения такие например явно неподходящие строки:

Наши мускулы упруги,
Наши плечи, как скала.

Мне казалось, что подобные стихи должны больно уязвить этих больных, давая им с особенною остротой почувствовать всю их слабость и непригод-

ность для жизни, но потом, услышав во время спектакля, как гордо и даже заносчиво поют они именно эти стихи, я понял, что для них слово наши выходит далеко за пределы их личных биографий и болезней.

Со стороны было невесело слушать, как связанные и замурованные дети поют:

Мы вольные птицы,
Нам чужды оковы!

Но в том-то и дело, что ни один из них не заметил всей скорбной иронии, заключавшейся в этих словах... С заразной страстью они выкрикивали со всех своих коек:

Мы наш ветер свободный посеем,
И весь мир нашу бурю пожнет.

И конечно ни один из них в ту минуту не чувствовал своей инвалидности, своей непригодности для сеянца советского ветра... А это самое главное: отвлечь больных от мыслей о болезни, внушить им такие тревоги и радости, которые лежат далеко за пределами их больничного мира. Здесь коллективизм является не только воспитательным фактором, но и мощным медицинским средством, ибо давно уже признано, что для борьбы с туберкулезом, кроме солнца и воздуха, больным необходима жизнерадостность. Мнительный ипохондрик, у которого костоеда не только в костях, но и в мыслях, который самовлюбленно прислушивается к каждому ее малейшему шагу, скорее станет ее жертвою, чем тот, кто забыл о себе и поглощен личными делами.

Поэтому здесь не только воспитатели, но и врачи усиленно хлопочут о том, чтобы дети вычеркнули из своей психики все, что относится к их личному горю. И дети очень рады поддаться такому гипнозу, так как на то они и дети, чтобы инстинктивно отталкивать от себя все неприятное и какими угодно способами возвращать свойственный им оптимизм. Даже самое слово **б о л ь н о й** здесь изъято из их лексикона. Они были бы весьма удивлены, если бы кто-нибудь обратился к ним с кличкой «**б о л ь н ы е**», как это принято в других санаториях.

Необходимо отметить, что, когда из Алупки я попал на север, в Сестрорецк, к таким же туберкулезным ребятам, и у них мне бросилось в глаза столь же повышенное социальное чувство. Там во втором павильоне пропели мне такую частушку:

Катя с Колей меж собой
Капустою кидаются,
В Ленинграде же ребята
Капустою нуждаются.

Таким образом даже минутную шалость двух малых детей они оценили с точки зрения интересов обитателей цедло города.

Там же я услышал такую характерную песню (пара фраз известного стихотворения Д. Бедного):

Как родная меня мать провожала,
Тут и вся моя семья набежала:
«Ты лечись там, паренек, поправляйся,
Докторов там и сестер послушайся.
По рецепту принимай все лекарства,
Чтоб не тратилось зря государство!».

Последние две строки изумительны: у таких малых детей такая жгучая забота о сбережении общенародных финансов. Оказывается, они и выздороветь стремятся не только ради личных своих удовольствий, но и ради государственной пользы, чтобы не обременять государство слишком большими расходами.

IV.

Основана Бобровка лет тридцать тому назад известным московским хирургом Бобровым. Но Бобров скончался вскоре после ее основания, и тогда во главе ее встал врач Изергин, из московского губернского земства. Врач был неопытен, но горяч и талантлив, и конечно Бобровка поглотила его всего целиком. Он отдал ей двадцать пять лет своей жизни. Мне еще в Питере рассказывали о нем чудеса: будто ходит такой тихий апостол между койками болящих детей и источает из себя евангельский свет. Все это к счастью оказалось легендой. Изергин человек крутой и неласковый, отнюдь не склонный к апостольской тишости. Дисциплина у него в Бобровке

железная, и расхлябанности в работе он не простит ни себе, ни другим. Работает он с утра до ночи, торопливо и нервно,—ведь у него на руках триста сорок больных (до революции было всего сто шестьдесят). Брови у него насупленные, взгляд неприязненный, но стоит в Алушке или в Симеизе назвать его имя, и самый хмурый татарин просияет лицом:

— Ызыргын! Ызыргын!

Потому что в течение двадцати пяти лет этот сердитый человек на виду у всей здешней округи делал «великое дело любви». Вся округа знает, что когда Крым голодал и дети умирали чуть не тысячами, у него в Бобровке не пострадал от голода ни один человек: он сам ходил пешком в отдаленные места полуострова и добывал для детей провиант и, когда вез его по глухим бездорожьям, никакие бандиты не смели отнять у него эту добычу. Он говорил им сердито:

— Это мое, — возьмите! А это детское, — не дам.

Санаторий не закрывался ни на час за все эти катастрофические годы. Ни «Гебен» и «Бреслау», ни Врангель, ни землетрясение, ни голод не приостановили его упрямой работы. Тотчас же после окончания гражданской войны Севастопольский совет прислал в Бобровку своего представителя. Потом пришел на подмогу Курупр. Теперь Бобровка в ведении Тубинститута. Наркомздрав оценил многолетнюю работу Изергина по заслугам: его именем назван один из корпусов санатория.

Кроме всех прочих занятий, Изергин занимается также скульптурой. Неподалеку от Семашкинского корпуса у него есть небольшое ателье, где он, засучив рукава, с жаром художника каждый день лепит из алебаstra всевозможные модели человеческих тел, чаще всего торсы и ноги. Знатки говорят, что в этой скульптуре он достиг большого мастерства. Изваяв ту или другую форму, он готовит по ней те наколенники, надбедренники, «кроватьки» и «лифчики», которые должны выпрямлять, укреплять и покоить искривленные больные суставы. В этом деле требуется максимальная точность: ошибка в один

сантиметр может сделать ребенка на всю жизнь калекой. Ведь цель всех этих изваяний заключается в том, чтобы создать покой для заболевшего органа и исправить порочное его положение. Работа здесь весьма кропотливая: снять форму с больного участка тела, залить ее алебастром, изготовить по этой форме модель и т. д.

Когда же пациент встанет на ноги, ему нужна другая скульптура: «туторы», «корсеты» и прочее — для разгрузки ослабшего органа от всякой излишней работы. Эти ортопедические аппараты — специальность Бобровки, которая делает их такими портативными, изящными, легкими, что я был готов поначалу считать их изделиями какой-нибудь лондонской фирмы. Знатки говорят, что в изготовление этой скульптуры Изергин внес немало своих собственных методов, которые нынче усвоены всеми, я же, в качестве профана, могу засвидетельствовать, что прочность этих изделий почти баснословная. Ветошка, оклеенная желатином, становится словно стальная.

Скульптуре этого рода придают здесь огромную ценность, так как здесь главную основу лечения видят не в оперативном вмешательстве, а в закалке организма на солнце и воздухе при условии полного покоя пораженных болезнью костей и суставов.

Изергин явился одним из пионеров этого направления в России.

— Смолоду, — говорит он, — я был слишком ретивым хирургом. Резал направо и налево. Но приглядевшись заметил, что гораздо плодотворнее другая система: предоставить организму такие условия, при которых он сам мог бы справиться со своею болезнью. Наша ставка — на силы природы. Мы пропагандируем круглосуточное, круглогодичное пребывание больных на ветру, на солнце, на морозе. У нас даже в лютую зиму 26-го года многие больные лежали день и ночь под деревянным навесом, и их лечение двинулось ускоренным темпом. Наша система имеет теперь много последователей. И Евпатория, и Геленджик, и даже Нижний-Новгород воспользовались нашим примером...

Должно быть, это неплохая система, так как нигде я не видел такого количе-

ства круглолицых детей. Каковы бы ни были их руки и ноги, щеки у них сытые и красные. Конечно, и здесь попадаютя тощие, но это в большинстве случаев те, которые прибыли в Бобровку недавно. Очевидно и вправду ставка на солнце и воздух — без проигрыша. То и дело приезжают родители и увозят отсюда детей, у которых процесс прекратился. «Привозим лежачих, увозим ходячих» — выразился один здешний извозчик...

Но тут к Изергину подошел доктор Добролюбов, врач Октябрьского корпуса, и сообщил ему радостно, что у мальчика Бухмана «горб уже почти совсем ликвидировался».

— То-есть как ликвидировался? — переспросил я с удивлением. — Разве горбы ликвидируются?

Мне стали подробно объяснять, что позвонки у Бухмана были «вот так», а теперь будут «вот так», и «даже сутуловатости не будет заметно».

Я знаю этого Бухмана. Он даровитый художник, и мне было больно смотреть, как он, лежа пластом на спине, прикрученный к постели фитилями, рисует плакат за плакатом в немислимой, почти фантастической позе. Он всегда казался мне одним из самых тяжелых больных. У него, кроме горба, был паралич. И неужели всё это бесследно исчезнет в ближайшие же три-четыре месяца?

Изергин, глядя на меня, только плечами пожал: для него такие случаи не редкость. Я попробовал порасспросить его вплотную, но он встал и на полуправе ушел. Он вообще вечно торопится — то на «рентген», то на заседание, то в местком, то в Семашкинский корпус. В его кабинете с утра до вечера широко распахнуты двери. Все, кому он нужен, входят туда, как в свой дом, и видно, что такая политика открыты х д е р е й уже не первый год практикуется здесь, что быть разрываемым на части для этого человека привычное и даже любимое дело.

Вернулся с «рентгена», присел на минуту, но только-что я попытался возобновить разговор, он вскочил и мрачно застонал:

— Ну, посмотрите, ну что они делают! Несчастные крупчата... посмотрите...

Я посмотрел, но не заметил никаких

криминалов: сестры вывели на прогулку розовощеких крупчат (детей из корпуса имени Крупской). Те чинно шествовали среди цветников по дороге, усыпанной серыми камешками.

Но Изергин негодовал, словно увидел злодейство. Оказалось, что дети одеты с излишнею тщательностью, отнюдь не способствующей той спартанской закалке, которой добивается Бобровка.

— Сейчас же раздеть их! Сейчас же... Вы бы им еще шубы надели!.. Ведь сколько раз...

Он ушел раздраженный, и я увидел, что нашему разговору не быть, потому что такие жгучие заботы о детях крупчат этого человека весь день.

Эти заботы доведены у него до такой интенсивности, что лет десять, двенадцать назад, когда из-за развала хозяйственной жизни дети были под угрозой тяжелых лишений, он отдал санаторию все свои деньги, чтобы дети не терпели нужды.

Об это узнали случайно, только в 27-м году, когда санаторий праздновал четвертьвековой юбилей. Узнали также, что в течение долгого времени он отказывался от жалованья, следуемого ему как директору: расписывался в получении, но денег не брал, отдавая их на нужды санатория. Узнали, что в голодные годы он на свой собственный счет прикармливал хилых татарских детей.

Для окрестных татар «Ызыргын» универсальный целитель: и педиатр, и акушер, и глазник. Когда в Алушке не было врачебного пункта, он заменял им целую больницу.

— Бывало, придет из Кореиза пешком, еле дышит, — рассказывал мне здешний старожил, — а его зовут в Симеиз. Он, не отдохнув, берет палку, идет. В горы, ночью, за несколько верст. А ему ведь уже за шестьдесят. И ноги у него не очень здоровые.

Но все же он не слишком похож на апостола. Есть люди, с которыми он на ножах. Это раньше всего — родители. В Бобровке на родителей смотрят как на какую-то сплошную ненужность и были бы очень рады, если бы дети появлялись на свет без родителей.

«В интересах здоровья детей посещение родителей ограничивается до ми-

нимума» — пишет Изергин в своих больничных правилах, и чаще, чем три раза в месяц, ни одной матери не допускает к ребенку. На этой почве происходит много раздирательных сцен, но Изергин закален в многолетней борьбе с родителями и остается тверд.

— Уверю вас, что ваш ребенок счастлив и не нуждается в свидании с вами, — говорит он плачущей матери и на все ее просьбы отвечает молчанием.

А потом повернется и уйдет «на рентген».

— Туберкулезным всякое волнение вредно, а я всегда замечал, что у больных от свиданий и расставаний с родителями сильно повышается температура, — пояснил мне один из его младших коллег, когда я рискнул заикнуться, что в иных случаях можно было бы, пожалуй, чуть-чуть пожалеть и родителей.

А Изергин так и сказал мне про одну московскую девушку, которая лет десять назад лежала у него в санатории:

— Вы говорите, что мы ее вылечили? Вылечили, но не до конца... А была бы совсем здорова, если бы не ее сумасшедшая мать...

V

— Итак, коллективизм как основа лечения?

— Именно. Это то, что необходимо больному ребенку... И матерям здесь вмешиваться нечего.

Поначалу я был на стороне матерей, но, всмотревшись, понял, что он прав, потому что в самой любящей, в самой дружной семье заболевший костным туберкулезом ребенок подвергается целому ряду страданий, которых не знает в Бобровке.

В качестве тяжело больного ребенок естественно делается центром внимания семьи. Все вокруг него только и говорят, что о его болезни, о его температуре, его самочувствии... Все это прочно фиксирует его мысль на том, какой он замечательный мученик. Чем больше жалуют и ласкают его, тем неотступнее от него эта мысль. Собственное эго разбухает у него до невероятных размеров и заслоняет всё остальное. Это сказывается даже в его подсознательной жизни. Почти все его сновидения бывают окрашены страхом перед идущей

на него катастрофой. Нервы у него в вечной тревоге, так как каждый приход врача является семейным событием, которое обсуждают потом целыми днями. А каково ему видеть здоровых детей, ему, лежащему пластом на носилках, в той самой роще, где эти здоровые дети бегают взапуски, ищут грибы, лазают по деревьям и каждую минуту напоминают ему, что они ему не товарищи.

Все эти невыносимые чувства почти мгновенно покидают его, чуть он оказывается в коллективе таких же больных, как он сам. Здесь он не монстр, а норма. Здесь никто не вздыхает над ним, не говорит с ним тем особенным голосом, каким говорят с безнадежно больными. Здесь он полноценный гражданин, равный среди равных, здесь он в течение первых же дней узнает, что ему нужно волноваться не своей болезнью, а, скажем, судьбами китайских кули и всемирным слетом пионеров, что на свете есть колхозы и тракторы и что вся его жизнь связана тысячью нитей с целым рядом таких явлений, которые не существовали для него в родительском доме. И чувство этой связи является для него целебным лекарством.

Это чувство деятельно внушают ему педагоги. Педагогов в Бобровке много, потому что Бобровка не только лечебница, но и школа второй ступени. Я присутствовал на нескольких уроках и убедился, как нелегко здесь учительствовать: раньше всего это тяжкий физический труд. Так как ученики неподвижны и не могут подходить к учителям, учителя должны без остановки шагать между рядами кроватей, наклонясь поочередно над каждым больным, чтобы оценить его работу: по самым скромным вычислениям каждый из них исхаживает в течение учебного дня от семи до десяти километров.

Но они несут это бремя безропотно. Даже хромяя и седая «Брониславочка» с помощью своего костылька молниеносно прыгает от больного к больному и так темпераментно проводит уроки, будто безножье не тяготит, но окрыляет ее.

В павильоне для маленьких столь же энергична знаменитая «Фаня» — кудластая, очкастая и до такой степени быстрая, что иногда кажется, будто вся

палата наполнена Фанями. Не даром она заменяет сорок матерей для сорока малышей. Я зашел к ней в палату накануне октябрьских праздников, когда ее трехлетние дети наклеивали на длинную веревочку бумажные флаги, она носилась по палате, как трамвай, следя, чтобы они не совали разноцветных бумажек в рот, не лакомились бы клейстером, не дергали бы мокрую веревочку, натянутую струной, над кроватями, не приклеивали бы флагов к матрадам, — и я в сотый раз убедился, что педагогическая работа в Бобровке требует не только душевных, но и физических сил.

Впрочем о педагогах когда-нибудь после. Они в сущности ничем не отличаются от других наших шкрабов, а это большой комплимент, хотя, признаюсь, мне, словеснику, порою хотелось бы, чтобы они уделяли больше внимания литературному развитию детей, чтобы стенгазеты были немного живее и ярче, а детская библиотека богаче.

Но все это легко устранимые мелочи. Есть в Бобровке изьяны и более серьезные.

Первый: санитары перегружены свыше сил. Так как дети ежедневно кочуют из палаты на площадку и обратно, то каждого нужно носить на руках по два раза — туда и сюда, а кроме того в уборную, в ванную, на рентген, в перевязочную. И мне всегда горько смотреть, как переутомленные, худые, понурые люди носят, и носят, и носят — тридцатого, пятидесятого, сотого. Нужно бы ввести сюда тележки, такие, как например в Сестрорецке, или расширить хоть немного персонал. Ведь при такой нагрузке эти люди не могут быть так приветливы к детям, как того требует здешний устав.

Другой весьма серьезный изьян: отсутствие помещения для взрослых, приезжающих с больными детьми. Ведь иные только-что проделали несколько тысяч километров и прямо с поезда по костоломной дороге сюда! Так как поезда обычно в дороге запаздывают, то смертельно усталого, больного ребенка привозят, скажем, в семь или в восемь часов. Взрослые выгружают его, несут на руках в Бобровку, но там им объявляют очень вежливо, что они должны

удалиться и взять с собою своего больного, так как прием новопоступающих лишь до пяти. А у ребенка температура тридцать девять и пять, а местность кругом незнакомая, а вблизи ни гостиницы, ни жилья, ни извозчика.

— Позвольте посидеть до утра хоть в саду.

— Вас попросит удалиться ночной сторож.

Недавно подобный случай был с одним детскосельским врачом, который привез сюда сына, перенесшего трепанацию черепа. Этот врач в письме ко мне выражает свое возмущение подобной «необъяснимой жестокостью». Жестокость конечно вполне объяснимая. Бобровка, оберегая своих пациентов от заразных болезней, проводит всех новоприбывших через изоляционные камеры. Но изолятор и тесен, и мал, прием больных в нем только до пяти (из-за недостатка персонала), и в нем нет отделения для взрослых. Все это необходимо изменить, ибо нельзя же бросать на дороге измученного и больного ребенка, привезенного сюда из-за тысячи километров.

Еще недостаток, который к счастью теперь устраняется. В Бобровке есть целая группа великовозрастных ребят, которые, выйдя отсюда, окажутся непригодными к жизни, так как из-за многолетней болезни не могли изучить ремесла. Отсюда их уныние и ропот. И вот по их собственной инициативе, при содействии их врача Люси Цвангер в корпусе имени Крупской идет работа по созданию «Дома подростка», где излечившиеся пациенты Бобровки будут проходить по программе фабзавуча общеобразовательный курс в размере нормальной трудшколы и получать квалификацию по тому ремеслу, к которому они наиболее пригодны, согласно медицинским указаниям.

— По окончании школы, — говорит Изергин, — наш питомец выйдет в жизнь образованным квалифицированным мастером.

VI

Я простился с детьми и ушел из Бобровки в горы, и там, высоко в горах, Бобровка дала мне свой последний урок.

Там находится колхоз Кокенеиз. Бобровка состоит его шефом.

Каждую декаду туда ездят бобровские медики врачевать подшефных колхозников. Об этом я расскажу когда-нибудь более подробно, а сейчас—лишь один эпизод.

Я бродил по колхозу, и вот, случайно войдя в школьный зал, вижу густую толпу татарских детей, а в центре бобровскую дантистку Дидзуль, вооруженную большими щипцами. Зал слишком тесен для этой толпы, и толпа переплеснулась на улицу. В дверях милиционер— для порядка.

Дидзуль чувствует себя как на сцене. Все неотрывно глядят на нее и сопровождают каждую ее операцию громким одобрительным гулом. Видя, что ее талант оценен, она работает с удесятеренной энергией. Открытые рты мелькают один за другим. Зубы так и сыплются в ведро, стоящее у того эшафота, на котором она дергает их. Движения ее вдохновенны и быстры.

Пациенты, вначале робевшие, теперь уже так осмелели, что у них установилась манера подходить к своей гильотине с хихиканием.

Девочка лет двенадцати только бледнеет, когда Дидзуль сообщает ей громко:

— Удалить четыре коренных!..

Улыбка сохраняется у нее на лице даже после того, как в ведре исчезает ее четвертый окровавленный зуб.

Вскоре даже крошечные дети начинают щеголять удалством и полным презрением к боли.

— Садись! Садись!

— Ну что же, и сяду! Думаешь. не сяду, вот и сел!

И выплевывая зубы в ведро:

— Ты думаешь, больно? Нисколько!

И тут я вспоминаю, как происходит та же операция с такими детьми, которых приводят к дантисту родители: по-

целуи, мольбы, обещания, а ребенок брыкается, вопит, как зарезанный, изводит и себя и других, и вся процедура тянется в десять раз дольше, чем нужно, и боль кажется мучительнее в тысячу раз. Куда веселее над общим ведром, за компанию с другими пациентами!..

Глазеющие с улицы мальчишки встречают веселыми криками каждую новую жертву. Жертва строит рожи, подмигивает. Так и ждешь, что зрители не выдержат и после особо удачного номера заплодируют вдохновенной дантистке, а та раскланяется перед ними, как актриса. Этого конечно не случилось. Дантистка была весела, но серьезна. Когда к вечеру она прекратила работу, ее провожали такими овациями, как в былые времена примадонну. Я нес за нею ее саквояж с инструментами и чувствовал, что даже на меня, недостойного, падали лучи ее славы.

— Приезжай опять!— кричали ей и ловили ее на ходу и разевали рты перед нею, и показывали ей—уже на улице— черные, больные, дырявые зубы (которые вообще у татар очень плохи).

И я понял, что даже зубами страдать и то гораздо лучше в коллективе, ибо самую тяжелую боль легче переносить на миру, и лечиться нужно тоже с о б о р н о, особенно маленьким детям. И мне вспомнилось, как в Сестрорецком санатории детвора окружает товарищей, которые только-что подверглись операции и в беспамятстве лежат на носилках. Сейчас они очнутся от наркоза, почувствуют боль и заплачут. И вот этой минуты ждут такие же калеки, как они, чтобы сообща облегчить их первую, самую острую боль. И я видел, как те, у которых только-что вырезали бедро или коленную чашку, постовав и поплавав, геройски справляются со своими страданиями только потому, что вокруг них товарищи, перенесшие такую же беду.

Литература и искусство

1. АРК. ГЛАГОЛЕВ. Заметки о журнальной беллетристике. — 2. ЕВГ. КНИПОВИЧ. История одной дружбы. — 3. Я. ФРИД. Сюрреализм — 4. А. СМИРНОВ-КУТАЧЕСКИЙ. „Чапаев“ Фурманова и современность.

1. ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛЬНОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКЕ

НА ПУТИ К ОТРЕЧЕНИЮ ОТ „НАСЛЕДСТВА“

(Л. Славин. — „Наследник“. П. Слетов. — „Заштатная республика“).

Арк. Глаголев

Несмотря на не особо уж большую стремительность нашего журнального потока, в журнальной беллетристике истекшего года можно найти ряд новых имен, ряд небезытересных литературных начинаний, свидетельствующих о зачатках довольно значительного художественного мастерства. Журнальная беллетристика удостоверяет несомненно общественно-художественный рост нашей пролетарской и революционно-крестьянской литературы.

Роман Льва Славина «Наследник» (напечатанный в «Красной нови» истекшего года) выявляет несомненное художественное дарование его автора, отличаясь весьма характерной художественной «физиономией».

Перед нами предстает образ «наследника» старого буржуазно-интеллигентского мира, носителя его «рафинированной» психологии, сына чеховского Иванова, приходящего после долгих и тонких размышлений и переживаний к осознанию необходимости «отречения» от «наследства», к объявлению «характера Иванова выморочным», к переходу от «золотой молодежи» к большевикам, к пролетарской революции.

«Я типичный герой нашего времени (дореволюционного), буржуа-рантье, буржуа, по выражению Маркса, уже не накопляющий, а только потребляющий, паразит...» — такова верная самоаттестация героя романа Л. Славина. Он выходит из того слоя буржуа-рантье,

для которого уже не существует жизненных будней, борьбы за существование. Неучастие в социальной практике, полное отсутствие жизненных реальных интересов, пресыщенность, незаметно, но упорно надвигающееся внутреннее загнивание, социальное разложение характеризуют социально-психический облик того общественного слоя буржуазной интеллигенции, к коему во многом следует причислить и героя романа Л. Славина.

«Ужасная бездеятельность» целиком владеет славинским «наследником». Он неподвижен. «Я всегда мучаюсь, когда мне надо выбирать. Я не имею мнений. Где достать их? Вещи не рождают во мне отношения к ним. Я остаюсь неподвижным». Абсолютное отсутствие всякого намека на участие в социальной практике выбрасывает «наследника» из социально-действенного мира, из реальной действительности. «Я не знаю, что хорошо и что плохо. Я не знаю сравнительной ценности вещей... У меня нет мировоззрения. Кровь с бесполезным шумом бежит по моим жилам. Я в стороне от мира, перед закрытыми дверями...» Иванову остается лишь один «испытанный» и возможный род «деятельности» — углубление внутрь себя, самоанализ, кропотливое разложение своего поведения на мельчайшие атомы, чем он и занимается.

Этот стиль облика героя романа определяет и стиль самого романа Славина.

Методику автора «Наследника» характеризует тяготение к тонкому и тщательному анализу. Романиста интересует не столько разворачивание сюжета, не столько изображение внешних событий, сколько наблюдение внутренних «движений» эмоционально-интеллектуальной жизни героя своего романа.

Внешний реальный мир дается сквозь призму восприятий и ощущений центрального (и единственного) героя повествования. «...Все события совершались за стенками моего черепа, на небольшом плацдарме мозга...»

Лев Славин проявляет себя острым и беспощадным аналитиком того духовного и вещного мира, в атмосфере которого живет его герой, достигая в этом подчас большого художественного мастерства. Славинское искусство художественного воспроизведения психоидеологической специфики своего героя нередко поднимается на большую высоту. Внимание художника к отдельным деталям ивановских восприятий мира, к разнообразным «ассоциациям», возникающим внутри «стенок черепа» героя романа, — исключительно напряжено. Вместе с этим анализы Л. Славина весьма далеки от того психологически образного примитивизма, которым столь усердно угощают нас многие наши беллетристы, живописующие трафаретные интеллигентские «рефлексии». С примитивным «описательством» и «изображательством» наших «психологизирующих» бытовиков психологизм Л. Славина не имеет ничего общего. Славинские анализы свежи, остры, интересны, хотя это разумеется абсолютно и не значит, что роман Л. Славина беспорочен. Специфическая тематика обусловила и ряд специфических дефектов.

Славин смело и четко «анатомирует» психологический мир своего героя. Уверенной рукой он делает хирургически тонкий «разрез» этого мира. Перед нами предстает причудливая смесь самых разнообразных желаний, стремлений, ощущений и переживаний, анархия которых заменяет Иванову отсутствующее у него мировоззрение. «На небольшом плацдарме мозга» Иванова «разыгрываются авантюры и заговоры, блестяще выигранные судебные процессы, открытия стран и планет, незабы-

ваемые услуги человечеству, побития рекордов, самоубийства...» и прочее, и прочее. Многочисленные фантастические ивановские проекты способов избавления от «скуки» пресыщения и ничегонеделания — необычайно пестры. «Я мечтал о многих профессиях. С пятнадцати лет последовательно мне хотелось стать путешественником, солдатом иностранного легиона, купцом, стивадором, международным авантюристом (типа Арсена Люпена), астрономом, социалистическим агитатором (Лассаль), адвокатом».

Неожиданные переходы мыслей, чувств и ощущений следуют непрерывно. «Чувство виноватости», ощущения «собственного ничтожества», полной внутренней «раздавленности» сменяются «чувством превосходства», самовозвышением, стремлением к героизму. «Разброду чувств» соответствует такой же «разброд» идейных увлечений. Дэндизму, «пижонству», тяготению к «золотой молодежи» и обстоятельному анализу своих взаимоотношений с таковой, «эстетизму, индивидуализму, скептицизму и мистике» сопутствует увлечение анархизмом, — «штудирование Прудона, Бакунина, Теккерта, Маккая, Кропоткина и Сореля», — мечтания об «индивидуальном терроре». Анархизм чередуется с социализмом, марксизмом, даже большевизмом. От увлечения «тонкостями французской литературы», от «поклонения» «Стендалю, иогам, психоанализу», к жажде «жизни, исполненной теоретических (политических. — Арк. Г.) споров, подложных паспортов, побегов из Туруханского края». Герой может мгновенно «обнаружить в себе любовь к «Искре», к явкам, к маевкам, к минскому съезду 1898 г.», может мгновенно «почувствовать себя доподлинным социал-демократом», «приверженцем тезисов Циммервальда и Кинтала».

Но этот «вихрь» эмоций и мыслей порожден не социальной динамикой, а статикой. Это — не вихрь, а мозаика, «светящая» чужим, отраженным светом, тем, что герой называет «книжностью».

Эта «книжность», литературный интеллектуализм — один из характерных элементов «стиля» психоидеологии Иванова, воспроизведение какового принад-

лежит к числу одной из специфических, оригинальных, отнюдь не книжных, не трафаретных стилистических особенностей романа, придающей ему свой собственный «аромат».

В десятках художественных деталей проявляется эта «книжность» «наследника», жизненный путь коего отягощен «тысячами прочитанных книг». Она в его биографии, в его «паспорте», он ведь, — «сын людей, выведенных в литературном произведении», она в его «классическом образовании», «ежеминутно выдающем себя цитатами из классиков». Бесчисленными «литературными реминисценциями» сопровождает Славин восприятия Иванова. «Начитанный мальчик», Иванов, не может обходиться без имен Тартюфа, Гарпагона, Макбета или Лафарга, Вейнингера, Дюма, Карамзина, эго-футуристов и многих иных. Книги сопровождают каждый жест «наследника»... «Между приемом цианистого калия и смертью я успел бы вероятно еще пожалеть о недочитанных книгах». Даже например столь простое и некнижное дело, как дача взятки взводному унтеру для получения пропуска на выход из казармы, сопровождается обильными «литературными реминисценциями»: «У меня было чисто теоретическое представление о взяточничестве, я жалел, что у меня под рукой нет книг, Салтыкова-Щедрина например, о вороватых чиновниках, или «Итальянских хроник» Стендаля». Этот литературно-книжный, рафинированно-интеллектуальный метод восприятия действительности приобретает подчас чрезвычайно острый по своей специфике характер. Вот как например герой Л. Славина принимает одно из «заседаний» студенческого социалистического кружка, посвященное организации революционной пропаганды в царской армии: «Я уносился до того, что настоящее уже видел как прошлое, как картинки в журнале «Былое», я видел, как нарастает литература на этом еще не происшедшем восстании, полемику ученых, письма, комментарии, среди которых мои будущие мемуары занимают центральное место». Так из чисто внешнего, биографического отличия Иванова (что еще не позволяло бы нам говорить об этой «книж-

ности» как об особом, оригинальном приеме художника) она переходит в характерный элемент мировосприятия героя романа, специфицируя самый стиль повествования Л. Славина.

Молодость Иванова-сына однако совпадает с великими историческими событиями нашего века, — с империалистической войной, с пролетарской революцией, с полным социальным крушением всего мира, воспитавшего Иванова. Это вносит целый ряд изменений в психический облик «наследника».

«Начитанный мальчик», он, несмотря на свой социализм, встречает начало войны, как и почти все в своей юности, книжно и литературно, он вспоминает «батальные сцены из Виктора Гюго с акварельными атаками профессора Самокиш-Судковского, которые давались бесплатным приложением к журналу «Семейный досуг». Книжность и литература не оставляют героя Славина и в армии, на фронте, в окопах. «Так вот оно, мародерство! — восторженно думал я в первый день похода, волнуемый литературными реминисценциями, и неясно воображал себя участником наполеоновых походов, ординарцем Даву, Фабрицием под Ватерлоо». Его сравнения и определения пахнут попрежнему книгами: «Мы как муравьи, о которых Фабр говорит: «Они пронизаны экзотикой, рожденной книгами», Куриленко «валяется на земле в позе пресыщения, как альпинист, взобравшийся на вершину Гауризанкара». Встречу с австрийцами на братании Иванов начинает «фразой из хрестоматии Глезера и Петцольда».

«Мир армии» однако в целом оказывается глубоко отличным от родственного «наследнику» «мира штатских». Иванов остро ощущает их противоположность. Законы «штатского», «книжного» мира неприемлемы для «мира армии». В последнем своя «геометрия», свои «аксиомы», свои «интонации», перед коими наш эрудит и психолог со «всей своей образованностью», «изучением геометрии», «знанием батальных романов» оказывается совершенно беспомощным. Методы мышления рафинированного, глубоко «штатского» интеллигента и методология «взводных» николаевской армии решительно не совпадают. «Часовой, — говорит Куриленко

быстрым, деревянным голосом (и я понимаю, что эта деревянность голоса здесь ценится так же высоко, как у нас в гимназии ценилось богатство интонаций), — часовой есть лицо неприкосновенное, поставленное на пост, чтобы никому ничего не отвечать... подарков не принимать... Меня поражает бессмысленность этой формулировки. Это неверно. Атрибуты определены как цель. Грубая методологическая ошибка. Но я бессилён объяснить это взводному. Я бессилён спорить с уставом... Я не знаю, можно ли здесь, как в мире штатских, завить о своем незнании, можно ли проявлять любознательность, скептицизм, или это карается дисциплинарным батальоном». В сознании Иванова глубоко врезывается все различие родного ему мира «знаний, книжности, понимания причин» и «дикости и одинаковости» «нового (солдатского) мира», где «древность», «физиология, помноженная на сотни и тысячи». Этот рафинированный городской интеллигент «задыхается» и «теряет себя» при созерцании первобытной «физиологии», при виде картины «чудовищного луга, на котором взойшли крупными розовыми плодами сотни обнаженных ягодич» «оправляющегося» полка. В сознании Иванова его «книжность» вступает в яростную борьбу с этой «физиологией», бессильно однако уступая перед мощным напором последней. То, что ранее для Иванова было только «картинкой из Элизэ Реклю», теперь становится могучим реальным фактором, непосредственно воздействующим на все его поведение. «Наследник» капитулирует перед «физиологией», постигая ее «тайну». Он, удивлявшийся отсутствию в этом «мире армии» «салфеток», постигает тайну голода и с великим мастерством овладевает «искусством наматывать портянки», «таскать крестьянских кур», «как будто бы не было в жизни поклонения Гегелю, прелюдов Шопена, теософии...»

Более того, он объявляет решительную войну своей недавней «книжности». Он начинает чувствовать «всю противную ложь книг». Единственное исключение он готов сделать только для книг, не избегающих «физиологии», где будет описываться «решительно все, что про-

исходит с человеком», где рядом с «описанием ощущений влюбленного человека от созерцания любимой» не будет замалчиваться например «непобедимое желание (влюбленного) съесть горячий пирожок с мясным фаршем в близлежащей кондитерской, заторможенное боязнью показаться смешным в глазах любимой...» Впрочем особо долго разыскивать такие книги Иванову не придется: его собственная исповедь, обработанная Львом Славным, вполне отвечает этим требованиям.

«Физиологизм», сгущенный и своеобразный натурализм, переходящий в зачатки материалистического реализма так же, как и «книжность», — специфический элемент художественного стиля «повествования» Сергея Иванова и романа Льва Славина, существенно отличающий его от примитивной методики некоторых наших «психологистов».

Этот «физиологизм», натурализм, зачатки даже материалистического восприятия мира, — не освобождающие еще, разумеется, психоидеологию Иванова от субъективного идеализма вполне, — острое внимание к конкретным, реальным деталям, к миру вещей (хотя и без постижения их «сравнительной (объективной) ценности»), склонность к обратному, конкретному мышлению («...способности к отвлеченному мышлению... я в себе не находил...») были характерны для «стиля» его мыслей, для стиля его «дневника» — в обработке Л. Славина — и ранее¹⁾.

Психологический анализ в романе не носит схематического и отвлеченного характера. Рационализм и интеллектуализм сопровождаются сенсуализмом. «За мыслями литератами» всегда следуют «картинки». «Я думаю путаницей домов, лицом Гуревича»... — характери-

¹⁾ Острое внимание Иванова к «вещам» например выпукло иллюстрирует его «привязанность к Катиным вещам», изошренные анализы таковых и их «власти над собой», власти, исчезающей только после «отречения» Иванова от «наследства» (см. гл. гл. VIII и XIV). Славинское мастерство воспроизводства чувственной формы явлений, материалистической реальности мира проявляется например в изображении той «сцены» на «балу», где Иванов и его друзья занимаются «игрой» в «отгадывание» по «одним ногам» «возраста и положения» танцующих. Получилась предельно конкретная передача «бала».

зует свой метод мышления «наследник». Его «подспорные мыслишки» и «ассоциации» носят не только чисто интеллектуальный, «книжный» характер, но и конкретно чувственный, остро натуралистический. Высокий «психологизм» — «генеральные мысли о самоубийстве» — подается в сугубо реалистическом окружении «ряда подспорных мыслишек». Она например сопровождается обсуждением пригодности «подтяжек» в качестве «орудия смерти» («...Я в сущности не мог воспользоваться подтяжками... Становясь юранием смерти, подтяжки перестали исполнять свое прямое назначение, и штаны скатились бы по ногам, обнажая на потеху зевакам самые стыдные части тела...»), или «мыслишками» и «о том, что не забыть бы завтра взять деньги у дедушки и, правда ли, что из-за бессонных ночей можно облысеть... Я обнаруживаю, что во мне самом думаю не только я, но спина моя, ежась под взмокшей рубашкой, самостоятельно тоскует по свежести крахмальных простынь...». «Физиологии» в самоанализах Иванова всегда уделяется — и до бунта против книг — немалое внимание: «Я извлекаю из кармана руку и с интересом разглядываю ее: она шевелится, как зверь, пальцы вытягиваются в ночь, — быть может, они мечтают о кольцах, о маникюре, о ковырянии в носу, — чорт его знает, о чем могут мечтать пальцы!» и т. д. «Мир армии», фронт, война лишь усиливают и углубляют эту «физиологию». Во многих местах своего повествования Л. Славин с большим художественным мастерством, почти блестяще передает ивановское восприятие «физиологической» стороны жизни. «Мы не шевелимся. Мы не разговариваем. Ноги мирно колышутся под небом, поворачивая ветру свои подпаренные опухолы, прелости, фурункулы. Ноги дышат».

Фронт, оттолкнувший «наследника» от «книжности» и обративший его в сторону «физиологии», вышедший теперь за пределы «домашних» вещей, приносит в его «сознание» «мир, тишину», «ясность». «Сознание огрубело, оно уже не раздираемо противоречиями».

Если до фронта у Иванова было чисто «книжное» представление о войне, если ему тогда при всех его «социали-

стических» увлечениях и «штатском» отращении к «военщине» были все же свойственны тяготения к «форме» и мечтания о «георгиевской ленточке» («мне нравится форма», «мне хочется на войну»), то после того, как «по нежным доселе тканям сознания проехался фронт всеми колесами своих табарей, последний все более четко ощущается как «фронт-насильник», «фронт-убийца», Внутреннее приближение к революции, процесс «отречения» от «наследства», усиление действия психологического «революционного» подполья («...должно быть, в каждом человеке есть революционное подполье» — размышляет Иванов) активизируется в «наследнике». Февраль и Октябрь значительно видоизменяют внутреннее поведение Сергея Иванова, приносят «убыстрение» его жизни.

Если раньше «страшный шум и драка внутри стенок черепа» Иванова сопровождалась внешней неподвижностью, если раньше поступки «отставали от мыслей», то теперь первые начинают «опережать» последние. «... Теперь события происходили вне меня, по собственной воле, комментарии отпали... Теперь выступал огромный, грубый и неразборчивый текст жизни. Это случилось после революции, которая оказалась также революцией во мне самом...» «Мысли «начинают не мешать» поступкам» («... Мысли нисколько не мешают мне выдвинуть один из наших пулеметов до Незлобинского театра и искусной стрельбой заставить умолкнуть юнкерский бомбомет у дверей отеля «Метрополь»). Если ранее «поступки» тормозились «мыслями», то сейчас в эпоху революции — «рассуждать» было некогда. «Поступки» начинают почти целиком определять поведение Иванова. Динамика начинает торжествовать над статикой. В XIII и XIV главах романа, обрисовывающих «наследника» в дни октябрьского переворота в Москве (в рядах большевиков), весьма ошутимо показывается эта власть поступков над «мыслями» Иванова. Отныне «движение» кладется Ивановым в основу теории познания жизни и методологии ее строительства. «Я... догадывался, что причины их («перемен», происходящих во мне) надо искать, наблюдая не только

людей, не только вещи (это ведь проделывалось, при том весьма изощренно, «наследником» и ранее.—Арк. Г.) и даже не только действия, а наблюдая движение людей, вещей и действий...» «Движение» «поступков» приводит к «отречению» от «наследства». Поступки «приводят» «наследника» к новым мыслям, к новому сознанию. Каждый новый «поступок», каждый новый выстрел белых юнкеров, каждая новая улица Москвы, очищенная от последних, очищает сознание «наследника» от «наследства»... «К тому моменту, когда мы перешли наконец мост и обложили осадой Смоленскую школу прапорщиков, я окончательно пришел к убеждению, что то, что мы сейчас делаем, — это есть процесс ликвидации всего «чеховского»... «Я методически слал пули не только в юнкеров, в панике забаррикадировавших окна шубами, салопами, пуховиками, коврами, но и самый институт частной собственности, банки («прицел 400!»), в скуку, в безыдейность, в ипотеки, в продуголь, во французский капитал...» Герой Л. Славина категорически утверждает свой отказ от «благородных страстей интеллигента» (недавно столь кровно близких ему: «меланхолии, епiци de vîte, гуманности, иронии во что бы то ни стало, позы одиночества, интересничанья, чувства превосходства...» и т. п.), принимая за основу своего внутреннего поведения совершенно иные «качества»: «тенденциозность, работу вместе с другими, земное счастье для бедняков, беспощадность врагу».

«Поступком» Иванова и завершается повествование Славина: его герой записывается в отряд, отправляющийся «на Украину для борьбы с белыми».

Но можно ли считать внутреннее перерождение Иванова-сына состоявшимся окончательно? Перестал ли «наследник» быть таковым? Достигло ли его «сознание» полной и бесспорной «ясности»? Осталась ли окончательно и невозвратно в прошлом его психологический «декаданс», его «чеховщина», его оторванный от движения объективной реальной действительности (связанными со статикой «домашнего» вечного мира) «книжный» интеллектуализм и индивидуалистический психологизм, вовлекавшие Иванова в душную сферу суб'ек-

тивного идеализма? Обрели ли его «мысли» и «поступки», его психоидеология и его революционная практика диалектическое единство суб'екта и объекта? Стал ли Иванов подлинным революционером-большевиком?..

Роман Л. Славина не дает основания для исчерпывающего положительного разрешения вышепоставленных нами вопросов.

«Наследство» Ивановым полностью не преодолено.

Диалектическое единство суб'екта и объекта героем славинского романа еще не достигнуто. У Иванова еще нет подлинной психоидеологической связи с пролетарской революцией. Целый ряд существеннейших деталей выразительно свидетельствует об этом.

Иванов еще далеко не обрел тесной и органической социально-психологической спаянности с рабочими большевиками, соучастником и товарищем которых он был по борьбе с белыми юнкерами в октябрьские дни в Москве. Буржуазно-интеллигентский индивидуализм еще довольно крепко гнездится в Иванове. Старое «чувство превосходства» продолжает волновать Иванова и в октябрьские дни. «Я быстро ухожу, я бегу—и не только от тянульщика (рабочего, ставшего незаметно «руководить» ивановским отрядом большевиков), но и от моего желания унижить его, свергнуть тянульщика с его пьедестала спокойствия, самоуверенности. Я чувствую в себе противное желание видеть тянульщика растерянным, без деловитости, без чувства превосходства над другими. Я ничего не имею против того, чтоб другие превосходили меня. Но для этого они должны быть... по крайней мере лет на десять старше. Этот срок—десять лет—я считал вполне достаточным, чтобы превзойти кого угодно». До единства Иванова с революционной действительностью еще довольно неблизко: «это была война, стратегии которой я не понимал... Мне не удавалось прославиться, я не мог опередить товарищей, я начинал уставать от войны, где не было никаких шансов сделаться героем. Мне казалось, что я стерся, что я обезличился в этом сражении, общего хода которого я не понимал. Это мироощущение (даже учитывая некий налет

самоиронии, что тоже впрочем весьма симптоматично) нельзя признать однородным с мироощущением основного кадра участников октября. Товарищам Иванова из числа последних не раз приходится «отмахиваться» от «рассуждений» Иванова. Зато «обольстительный» Гуревич, этот кумир Иванова в эпоху его «пижонства», оказывается, и в октябре еще не совсем потерял власть «опьянять» «наследника» «прелестной легкостью» своей жизни («...я проникся прелестной легкостью той жизни, которую вел Гуревич, всей ее обольстительностью, против которой тем трудней мне было бороться, что что же в сущности противостояло ей? обобществленные орудия производства? восьминедельный отпуск беременным?»¹). Иванову стоит немало внутренних усилий побороть в себе гипноз обаяния Гуревича — этой «обольстительной» улыбкой старого мира. Остатки стародавней «книжности» сохраняются в Иванове до самых последних дней, затрагиваемых его «исповедью». Даже последний «поступок» Иванова, коим заканчивается роман, сопровождается этой книжностью: свою запись в отряд, отправляющийся на Украину, он снабжает особым стилизованным «росчерком», который «выработал», прочитав в книге по графологии, что он «обозначает характер твердый, стальной и предвещающий славу». Да и в этом самом упоминании, — пусть, быть может, полуироническом, — нельзя не ощутить «наследства». Остатки такого все еще живы в Иванове и в дни революции. Он еще не освободился например целиком от своей «наследственной» тяги к утонченному эстетизму и к смакованию «рафинированных» проблем¹).

Словом, герой Славина еще только на пути приближения к пролетарской ре-

волюции. Процесс его освобождения от «наследства», субъективного идеализма и прочих «наследственных» болезней еще не закончен. Он лишь только в стадии «выздоровления». Однако и в таком состоянии герой Славина — поучительнейший общественный пример для всех своих социальных родственников из рядов «наследственной» рафинированной интеллигенции в лице например Кавалеровых («Зависть» Ю. Олеси), Бенедиктовых («Битва» В. Лидина), Никит Каревых («Братья» К. Федина) и прочих «наследников», все еще пытающихся в тех или иных формах отстаивать и защищать психологическое «наследство» старого капиталистического мира¹).

Подобно герою романа, коему еще предстоит большая внутренняя работа окончательного искоренения в себе еще неумершего всецело «наследства», и автор романа не должен считать себя свободным от дела дальнейшей своей художественно-методологической перестройки. Процесс художественного преодоления усложненной «чеховщины», преодоления доминирования в художественном внимании Славина «мыслей» и «вещей» над «поступками» его героя, статичности над динамикой, — наличие коего (процесса преодоления) нельзя не усмотреть в романе, — все же в целом еще не закончен вполне.

Художественная методика Л. Славина еще не свободна от остатка «наследства» старой эстетики.

Не должна быть оставлена без критического внимания и другая журнально-беллетристическая вещь, принадлежащая писателю интеллигентского сектора — «Заштатная республика» П. Слевцова.

Творчество этого художника особо нуждается в неослабном внимании критики.

¹) В боевые октябрьские дни Иванов например не может отказать себе в удовольствии просмаковать «пейзаж» Петровского парка: «...если говорить о пейзажах, то все это — и закат и перистые облака, смахивавшие на крылья врубелевских демонов, и японское трепетание сосен — казалось, было сделано рукой художника не бездарного, но... (и т. д.), — думал я, сожалея едва ли не впервые в жизни, что рядом со мною этот грубиян Степиков, а не человек поинтеллигентней, кто мог бы войти со мною в обсуждение этих проблем...»

¹) Не следует разумеется с этой субъективной, «психологической» («рафинированные чувства» (!), «благородные страсти» и т. п.) стороной буржуазного «наследства» смешивать его объективную сторону — всю буржуазную науку, культуру, искусство, от критического использования прогрессивных элементов коих пролетариат, как известно, не отказывается. В романе Л. Славина речь идет именно о первой — субъективной — стороне «наследства».

Подобно Л. Славину, П. Слетов обнаруживает задатки несомненной литературной даровитости. Он обладает уверенным художественным «почерком», он способен иногда дать также четкий и острый стилистический рисунок, ему нередко весьма удается мастерство художественной детали. Его творчеству не чуждо одно из сложнейших искусств — искусство композиции. Вместе с тем, это мастерство П. Слетова в его предыдущих вещах было далеко от подлинного служения задачам и целям нашей современной действительности. Общественно-ложные, регрессивные идеи, наполнявшие ранние вещи Слетова, — укажем хотя бы на безызывную повесть «Мастерство», — заставляли играть мастерство П. Слетова объективно определенно отрицательную роль. Автор «Мастерства» и «Смелого аргонAUTA» доселе мало задумывался о социальной функции своего мастерства. Вопрос «как» писать в творческом сознании П. Слетова несомненно доминировал над вопросом «для кого» и «о чем» писать. Эстетизм, подчинение — быть может, и не вполне твердо осознанное — формуле «искусства для искусства», губительное воздействие «перевальских» идеалистических, «моцартиных» «теорий» социально обеспоживали и омертвляли художественное дарование П. Слетова.

«Заштатная республика» в сравнении например с тем же «Мастерством» обнаруживает признаки общественного прогресса, хотя в целом говорить на основании только одного этого романа о сколько-нибудь вполне четко определенной творческой перестройке Слетова еще преждевременно.

Основой замысла автора «Заштатной республики» послужило намерение показать — на фоне уездной «заштатной» провинции первых лет революции, на фоне бунтующей мелкобуржуазной стихии, облаченной внешне в «революционные» одежды — «черный передел людей, душ, мозгов человеческих», намерение дать нам еще один пример социальной гибельности индивидуалистически-анархического пути — «своего чудного пути», отрывающего человека от революционного «воза». Свое наиболее ясное выражение этот замысел получил

в образе предучека Палаткина, не сумевшего во-время разглядеть подлинной социальной сущности кулацко-мелкобуржуазных, «самостийных» организаторов «заштатной республики», давшего «промашку» и оторвавшегося от «воза». Правдиво данный Слетовым образ этого Палаткина, свернувшего с правильного революционного пути, не осознающего трагичность своей судьбы и во многом остающегося субъективно честным революционером, а также образ Хворова, ликвидирующего «заштатную республику», — социально расширяют мир художественных образов Слетова и общественно актуализируют его творчество. Но не они, — образы Хворова и даже Палаткина — занимают центральное место в романе. Не «передел людей», а «заштатная республика» доминирует в художественном показе Слетова. Воспроизводству «заштатного» «колорита» всех оттенков и «нюансов» белоспасского быта и «психологии», а также воссозданию истории пребывания в сих «заштатных» краях неожиданно залетевшего сюда столичного «гостя», некоего Аркаши Пальчикова, уделяется особенное внимание. Именно этого Пальчикова приходится рассматривать центральным героем повествования Слетова.

Образ сего Пальчикова наводит на некоторые размышления.

Правда, к этому образу можно отнести очень просто, рассматривая таковой как выполнителя чисто технологической функции, как чисто композиционную скрепу отдельных зарисовок «заштатного» быта. Композиционное значение этого образа отрицать конечно не приходится. Но сведенный только к технологии, этот образ оказывается совершенно «безвредным» пустячком, безделушкой, хотя и сделанной ювелирно тонко. Тут тогда будет весьма обосновательные старые упреки Слетова в эстетизме. Но можно посмотреть на этот образ и на как весьма «вредный» для раннего Слетова, и весьма полезный для дела формирования того Слетова, коего мы хотели бы видеть на месте прежнего носителя «перевальского» «моцартианства». Мы строим такую «гипотезу»: не является ли этот образ первым знаком некоего художественного «отрече-

ния» Слетова (знаком хотя бы самой начальной стадии этого процесса) от «наследства» (например от той художественной апологии, или во всяком случае идеализации «итяковщины», которая объективно содержалась в «Смелом аргонавте»?).

В лице Аркаши Пальчикова мы несомненно встречаем старого знакомого. Это — как социальный тип — почти Дима Итяков («Листья») или во всяком случае его ближайший социальный родственник, перенесенный только в другую обстановку и подаваемый под иным «углом» художественного зрения писателя (об этом ином угле зрения писателя, являющемся фундаментом, на коем мы строим нашу гипотезу об «отречении», — речь ниже).

И Дима Итяков, и Аркаша Пальчиков принадлежат к тому же классовому слою, что и Иванов Л. Славина, — к деклассируемым буржуа-рантье, к тому, кого один из героев Алексея Н. Толстого (с коим творчество Слетова между прочим при многих отличиях кое в чем социально сближается) удачно аттестовал «папилонами» («...Существует какая-то Россия, пашет землю, пасет скот, долбит уголь... существуют люди, которые заставляют ее все это делать, а мы — какие-то третьи, умственная аристократия страны, интеллигенты — мы ни с какой стороны этой России не касаемся. Она нас содержит. Мы «папилоны»). Разумеется герои Слетова (особенно Пальчиков) не тождественны героям Славина и А. Толстого, они представляют более мелкую, захудалую, низовую, менее рафинированную и т. п. прослойку. Но социально родственные связи ощутимы: социальный паразитизм, ничегонеделанье, полная оторванность от реальной социальной практики, замкнутость от мира реальной действительности.

Пальчиков и Итяков особенно, как это надо подчеркнуть, социально близки. Аморфность психондеологического облика, перманентное «ленивое состояние», вялые ощущения, что «собственного дела нет, туманно оно», постоянная «нерешительность», общественно-социальная апатия, отсутствие чего-либо похожего на мировоззрение, — все эти черты в облике Пальчикова как соци-

ального типа весьма не чужды и Итякову, по крайней мере когда он переставал быть жрецом, священнодействующим в биллиардной, когда он превращался, так сказать, в «обычного смертного». Это сродство можно уловить даже и в отдельных деталях¹⁾.

Итяковскому ощущению «себя часто пустым местом в кругу собеседников, лишним спутником в случайной компании» можно найти и нечто параллельное в Аркашиных ощущениях «в кругу собеседников», например хотя бы в кругу белоспасских интеллигентов — Дыбовицкого, Балалаева и прочих (см. гл. XXII романа). Весьма легко представить, что общественно-политическое поведение Димы Итякова в белоспасских краях, если бы он попал туда вместо Пальчикова, не явилось бы существенно отличным, в смысле социальной типичности, от поведения Пальчикова. Всякие (социально-общественные) отличия знаменовали бы уже рождение нового Димы. Дима Итяков оставался бы в «заштатных» краях таким же пассивным, сторонним наблюдателем белоспасских событий, каким является Пальчиков.

Но параллель между Аркашей и Димой при известных условиях (они станут ясными из нижеследующего нашего изложения) можно продолжить, захватывая и Диму-«жреца». При апатичном отношении ко всему окружающему Пальчикова миру общественной действительности есть однако и у Пальчикова, подобно Итякову, родная, узколичная сфера, где он оживает, куда направлены его помыслы и стремления, где он ощущает себя «героем». Эта единственная область, где Пальчиков проявляет свою активность, заинтересованность, это — мир «донжуанских» походов, усердное коллекционирование своих побед над сердцами различных «девиц». «Донжуанский список» для Пальчикова — то же, что для Итякова биллиард. «Совершенно особые представления о «женщине», «хранящиеся» «нетронутыми никакими житейскими передрагами» где-то в глубине души»

¹⁾ Одинаковы источники их материального существования, — нечто в роде «пенты» деньги игроков для Димы, деньги «папаши» для Пальчикова.

Пальчикова, занимают в таковой такое же место, как в «душе» Димы мастерство биллиардной игры.

Но вот уже самый характер «жречества» Аркаши, характер той области, где Пальчиков — «мастер», совершенно ясно и недвусмысленно указывает на резкое изменение в художественном подходе писателя (в глазах его зрения, о чем мы упоминали выше) к тому социальному типу, выражением коего являются Итяков и Пальчиков.

Всякому прочитавшему эти два произведения легко заметить, что в образе Пальчикова Итяков, как социально-общественный тип претерпел значительнейшее снижение. Характеры отношений художника к Итякову и к Пальчикову в целом совершенно различны. Правда элемент некоей иронии в отношении к Диме со стороны Слетова можно усмотреть даже в самом названии повести «Смелый аргонавт», но эта «ирония» совершенно заслонялась апологией его «мастерства». Теперь же, в «Заштатной республике», ироническое, даже более — сатирическое, уничтожающе сатирическое отношение художника к своему герою очевидно.

Те психологические качества Димы, кои давались в повести вне сатирического плана, в «Заштатной республике» в образе Пальчикова сведены прямо к гротеску. Подобно Диме (и даже Иванову Л. Славина) Пальчиков весьма например не чужд «образного» мышления, подобно Итякову он также весьма склонен к «художественному» «воображению». Так например, пребывая в монастыре, он «не может воздержаться от того, чтобы придумать для себя историю послуха» некоей встречной монашенки. И дар воображения Аркаши оказывается не таким уж слабым и бледным: «...и спроси он ее, верно ли придумал, оказалось бы, что почти верно, что почти так и было». Но стиль, характер этой живо «придуманной» Пальчиковым «истории» ярко свидетельствуют о сатирическом отношении автора к герою (см. гл. XXV).

Пальчиков — полнейшее ничтожество не только как представитель известного социального типа, но, в отличие от Димы, и как индивидуальность. Его ничтожество отчетливо бросается в глаза всем обитателям «заштатного» края. Но не

только в реальной действительности Пальчиков оказывается абсолютным нулем, и в области своего «чистого искусства» он терпит полный крах — этот развенчиваемый Слетовым «жрец» обретает полное презрение и со стороны своих «девиц».

Итак формулируем окончательно наши итоги: 1) социально-типическое родство маленьких рантье Димы и Аркаши несомненно; 2) художественная сатира ирония в обрисовке Пальчикова несомненна в еще большей степени. Основываясь на сих выводах, мы и считаем возможным выдвинуть нашу гипотезу: не знаменует ли образ Пальчикова известное «отречение» от «наследства», от итяковщины, и далее, как неизбежный дальнейший логический вывод, от апологии «жречества», от художественной идеализации той социальной среды, на почве которой удобнее всего произрастать всяческим «моцартам», в будничной (... когда не требует к священной жертве Аполлон...) обстановке весьма легко могущим обернуться иногда в Пальчиковых.

Наша гипотеза остается гипотезой. В отличие от романа Л. Славина, в произведении Слетова нет четкой и ясной, недвусмысленной формулировки отречения от наследства. Весьма возможно, что субъективно П. Слетов весьма далек от нашего понимания социального смысла образа Пальчикова. Но, повторяем, таковая трактовка, сводящая значимость образа Пальчикова к анекдоту, а весь роман к простой коллекции отдельных, хотя и блестяще поданных деталей «заштатного» быта (ибо, подчеркиваем, «черный передел», образы Палаткина, Хворова художественно не развернуты, совершенно заслонены «заштатным», Пальчиковым), таковая трактовка социально выхолащивает, измельчает роман и мало сдвигает П. Слетова со старой «перевальской» позиции эстетства, «чистого» «мастерства» и прочего «моцартианства» (или, вернее, чистейшего «сальерианства», на что мы однажды и указывали Слетову).

Проблема «отречения» от «наследства» итяковщины и «моцартианства» (зачатки какового объективно можно усмотреть в «Заштатной республике») требует от Слетова своего быстрейшего и отчетливого разрешения.

2. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДРУЖБЫ

Евг. Книпович

I

1840 год был трудным годом в жизни Генриха Гейне. В этот год окончательно определились его отношения с реакционной, либеральной и радикальной Германией, в этот год порвались многие, казавшиеся нерушимыми старые связи и завязались новые, которым суждено было сыграть большую роль в жизни поэта. О литературных и общественных последствиях «самоопределения» Гейне нам уже пришлось говорить в другом месте¹⁾. Здесь нам придется вспомнить о т е н и общественной и литературной жизни тех лет, о сплетнях и сенсациях, которые, к сожалению, слишком часто возникают вокруг больших людей.

Тот *crime de lèse majesté* против либерализма, который Гейне совершил, издавая в свет книгу о Берне, принудил его не только к идеологической и принципиальной, но и к личной борьбе. Муж оскорбленной им в печати подруги Берне Жанетты Воль, доктор Штраус, устно и печатно стал распространять слух, что Гейне получил от него пощечину, после чего позорно бежал. Три фанатических поклонника Берне — Эдуард Колов, Теодор Шустер и Антон Гамберг, выдавая себя за очевидцев происшествия, усердно поддерживали эту версию в «Майнцской», «Новой гамбургской» и «Всеобщей лейпцигской» газетах.

Гейне не смолчал. «Всеобщая Аугсбургская газета»²⁾ охотно дала место опровержению своего давнего сотрудника.

В течение этой полемики выяснилось, что, во-первых, у «Майнцской газеты» (к которой был близок Штраус) под влиянием событий проявился дар пророчества, так как она сообщила о проис-

шествии за два дня до того, как оно случилось, во-вторых, что при встрече противников ни один из благородных свидетелей не присутствовал. Роль Колова, который пользовался в эмигрантских кругах репутацией «циника» и «эгоиста», в этом деле вполне ясна. Антон Гамберг вообще обессмертил себя только участием в этом деле. Но до сих пор остается непонятным, как мог замешаться в эту историю вождь левого крыла «Союза изгнанных» и автор «Мыслей республиканца» Теодор Шустер. Впрочем, к чести его надо сказать, что он первый разоблачил ложь Штрауса и Колова, отказавшись от своих первоначальных показаний и заявив, что ни он, ни двое других свидетелей при встрече противников не присутствовали¹⁾. Инцидент был исчерпан дуэлью между Штраусом и Гейне, которая произошла 7 сентября 1841 г. От остальных вызовов Гейне, который вообще относился скептически к такому способу восстановления «чести», отделался шуткой. Он смеясь заявил непрошеным противникам, что если им жить надоело, то они могут повеситься²⁾.

Все эти дрязги, имеющие к тому же почти столетнюю давность, можно было бы конечно и не вспоминать, если бы они не послужили поводом для первого печатного выступления одного лица, призванного сыграть очень большую и очень двойственную роль не только в личной жизни Гейне, но и в общественно-политической жизни Германии второй половины прошлого столетия.

25 сентября 1841 г. в «Бреславльской газете» автор, укрывшийся за буквой Ф., жестоко разделался и со Штраусом и с его тремя сообщниками. Он безоговорочно встал на сторону Гейне и настолько тонко и талантливо уязвил Штрауса и его свиту, что Колов прислал в редакцию «Бреславльской газеты» оскорбительное письмо, в котором

¹⁾ См. нашу работу «Генрих Гейне и Карл Маркс» «Кр. новь» № 8 1930 г.

²⁾ Кроме того, некоторые газеты перепечатали опровержение Гейне. Так например оно появилось в «Гамбургском корреспонденте» (см. письмо Ривера в «Гамбург. корреспонденте» от 17 июля 1841 года.)

¹⁾ См. письмо Юлия Зихеля к Гейне от 15 августа 1840 г. Hirth. II стр. 373.

²⁾ См. анонимную корреспонденцию из Парижа в «Эlegantной газете» № 8 за 1841 г

формально вызывал на дуэль дерзкого анонима¹⁾.

Вероятно, Колов был бы очень удивлен, если б узнал, что его язвительным противником был только-что покинувший лейпцигское коммерческое училище 16-летний мальчик Фердинанд Лассаль.

Этой небольшой заметкой²⁾ Лассаль доказал, что он был не только поклонником поэта Гейне, но и учеником публициста Гейне. Разобрав всю историю, Лассаль особенно высмеивает попытки триумвиров критиковать характер и поведение Гейне. Лассаль издевается и над наивностью противников Гейне, которых удивляет то, что в этом деле оказались скомпрометированными они сами. «Повидимому им неизвестны слова Гете» — замечает он.

Die Lüge trifft, ein abgedrückter Pfeil,
Versagend und von einem Gott gewendet,
Den Schützen selbst³⁾.

«Но довольно об этом, — кончает свою заметку Лассаль. — А то привыкшие к уловкам господ Колов, Шустер и Гамберг сделают вид, что приговор общественного мнения еще не произнесен. А он произнесен уже давно, и перед судом общественного мнения никакая апелляция уже невозможна».

Любопытно, что в конфликте между Гейне и сторонниками Берне на сторону Гейне встал и Маркс. Но Маркса интересовала принципиальная сторона дела — столкновение двух мировоззрений. Лассаль со всем присущим ему рыцарством встал на защиту обиженного в «биографической», личной, скандальной части дела.

II

Если в печати Лассаль выступил лишь как защитник самой личности Гейне, то в дневнике его сохранились и общие суждения о Гейне и о значении книги «Людвиг Берне» в его творчестве. Лассаль в ту пору был страстным поклонником Гейне, настолько страстным, что

почтенные педагоги лейпцигского училища попрекали его «гейневскими взглядами»¹⁾. «Я люблю его, этого Гейне, — пишет Лассаль в своем дневнике 8 сент. 1840 г.²⁾, — он — мое второе я. Эти холодные мысли, эта всеразрушающая сила слова! Он умеет чуть слышно лепетать, как зефир, лобзающий розы; он умеет пламенно и жарко изображать любовь; на его заклятие в нас встают и сладкая тоска, и нежная грусть, и необузданный гнев. Все чувства, все движения подвластны ему, его ирония так метка, так убийственна! И этот человек предал дело свободы! И этот человек сорвал с головы своей яacobинский колпак и покрыл благородные кудри роялистской шапкой с галунами! И все-таки мне кажется, что он издевается, когда говорит: «Я — роялист, я не демократ». Мне кажется, что это ирония, и наверное это так и есть». В последних словах несомненно сказалось не только литературное, но и революционное чутье Лассалья.

Этот период страстного поклонения Гейне закончился с поступлением Лассалья в берлинский университет. Всеми мыслями его овладел Гегель. «Философия подступила ко мне, — пишет он отцу 13 мая 1844 г., — одухотворила и возродила меня. Это духовное возрождение дало мне все: оно дало мне ясность самосознания, абсолютную силу человеческого духа, объективную сущность нравственности, разума и т. д.».

В свете этого «духовного возрождения» совсем иным предстал ему и Гейне.

В своей статье «Основные черты характеристики современности в особенной связи с гегелевской философией»³⁾ 18-летний Лассаль уже разбивает свой прежний кумир оружием этой философии. Гейне в этой работе посвящена целая глава. Совершенно правильно указывая, что творчество Гейне было реакцией против «трансцендентного идеализма» и «сомнамбулизма» немецких романтиков, Лассаль однако относит самое

¹⁾ См. G. Mayer «Lassales erster Schritt in die Öffentlichkeit». Breslauer Zeitung. 11. IV. 1925.

²⁾ Ferdinand Lassale. Nachgelassene Briefe und Schriften Bd. VI. Brl. 1925. Стр. 31.

³⁾ «Ложь, подобно пущенной стреле, отведенной от цели неким богом, поражает самого стрелка». Лассаль, как всегда, цитирует по памяти и неточно.

¹⁾ F. Lassale. Tagebuch des leipziger Handeschülers. Brl. 1918, s. 55.

²⁾ Там же, стр. 32.

³⁾ Статья написана в 1843 г. для первого номера рукописного журнала студенческого философского кружка. (Zeitschrift für die moderne Philosophie).

это творчество к категории «пустого или фривольного самосознания»; этому «фривольному» и «бессмысленному» все-разрушению Лассаль противопоставляет разрушающую силу Берне. «В Гейне, как и в Берне, — говорит он, — продолжает жить фихтевское я. Но разрушающая сила Берне направлена на практическое освобождение действительности ото всех гетерономий. Гейне же воплощает в себе внутреннее освобождение ото всех субстанций в себе, это я стесняющихся. Гейне — поэт иронии, но эту иронию он обращает не только против романтиков, но и против всего идеального, что возвышается над обыденным самосознанием субъекта». Приведя в качестве иллюстрации «низменного реализма» Гейне многочисленные цитаты из «Buch der Lieder», Лассаль заканчивает этот поистине страшный опыт литературной критики в гегелевских терминах¹⁾ следующими словами: «Итак, поэзия Гейне есть поэзия блуда. И таким образом Гейне борется против всего, что составляет самую основу поэзии — против субстанциональных сущностей. Поэтому Гейне — поэт непознчности, легкомыслия, дерзости. Его принцип есть эстетически безобразное. В нем нет содержания, и это бессодержательное, обыденное самосознание субъекта, есть та стихия, в которой он блаженствует».

Казалось бы, что этим самым приговором Лассаль покончил с Гейне навсегда. Так бы и было, если б приговор этот был объективнее и мягче. Но в отчаянных нападках Лассалья слышится не спокойный голос «безбожника», выметающего то, что для него умерло, а страстный крик «богоборца», нападающего на сущность живую не только для него, но и в нем самом. Выпады Лассалья против Гейне слишком напоминают войну самого Гейне против романтики. А Гейне незадолго до смерти признался, что «несмотря на мои опустошительные походы против романтиков, сам я всегда все-таки оставался романтиком».

Семь-восемь лет спустя, в письме к

¹⁾ Для русского исследования в этом истовом гегельянизировании слышатся очень знакомые ноты. Статья эта примерно в те же годы могла бы быть написана и в Москве.

графине Гацфельдт¹⁾ Лассаль в сокращенном виде пересказывает главу о Гейне из своей юношеской работы. Не только композиция статьи, но и все основные тезисы остались те же, однако точка зрения Лассалья изменилась совершенно, и соответственно этому изменились и его выводы. Оставляя нетронутым (если не считать изъятие философских терминов) характеристику немецкого романтизма, Лассаль о роли Гейне говорит уже совершенно иначе. «Неизбежная реакция должна была наступить. Вооруженный сияющим солнечным лучом насмешки выступил Гейне и прогнал эти ночные тени из жизни и литературы». Дальше Лассаль отмечает, что Гейне в начале своего творческого пути сам отдал дань романтизму. Лассаль находит, что эта ступень была для Гейне необходима. Познавая отраву, он научился с нею бороться и сумел противопоставить «схемам и фантазиям чувственное самосознание личности, плоть и кость реальной действительности».

Особенно любопытно (если сопоставить это с концом его юношеской работы) звучат заключительные слова Лассалья. Его часто находили фривольным, но фривольность эта была бесконечно живительной струей воздуха, которая несколько освежила загулествшую в немецких жилах кровь. Заслуга стихов его и их значение были поэтому огромны (épigme)²⁾.

III

Гейне — «король в изгнании» — окружил себя в Париже целым штатом. Здесь был и «маленький Вейль» — сотрудник бульварного листка «Corsaire Satan», радикальный журналист, и доктор Фердинанд Корэфф — переводчик Тибуллы и Овидия, автор романтической оперы «Окассен и Николетт», библиофил, авантюрист и прототип Винченца «Серапионовых братьев» Гофмана.

¹⁾ Nachgel. Briefe und Schriften. Bd. IV, стр. 12. Письмо не датировано. Г. Майер относит его к началу 50-ых г. г.

²⁾ Это письмо Лассалья оказало несомненное влияние на все статьи Меринга о Гейне (см. напр. «Гервег, фрейлиграт Гейне» или главу «Социалистическая лирика» в I томе «Истории германской социал-демократии»). В них есть высказывания настолько близкие к вышеприведенным словам Лассалья, что сходство это нельзя объяснить одной «конгениальностью».

Мажордомом этого двора был Фердинанд, рыцарь фон Фридлянд, «лейбшпион» и «лейбшут» Гейне¹⁾. По справедливому замечанию Густава Майера, рыцарь фон Фридлянд был, собственно говоря, рыцарем индустрии. «Кальмонису» (так Гейне звал его в честь придворного еврея Фридриха Великого) заведывал денежными делами Гейне. «В изгнании, — писал Гейне своему брату Густаву²⁾, — как заметил еще Данте в «Божественной комедии», мы принуждены вращаться в сквернейшем обществе, и этот Фридлянд служил мне средством для нейтрализации еще худших персонажей... Он — человек без всяких знаний, безо всякого здравого смысла, может быть, в сущности, даже и дурак, но у него природный талант к разноухиванию, почти инстинктивное понимание разнороднейших отношений и дар комбинирования; все это сделало бы его человеком значительным, если бы он не имел несчастья быть величайшим лгуном, способным обогатить себя еще сильнее, чем других. Он гадок, но не зол... Он воплощенное тщеславие, и как он ни хитер, надеждой на выхлопотанный орден его можно подвинуть на что угодно».

Ловкость Фридлянда действительно равнялась только его наглости. Так Вейль в своих воспоминаниях рассказывает о том, как Фридлянд убедил его (правда, при помощи 300 франков) написать в «*Corsaire Satan*» статью в защиту нового изобретения. Сущность этого изобретения заключалась в том, что Фридлянд решил добывать хлопок из сосновой хвои³⁾. Этот-то рыцарь индустрии и ввел в декабре 1845 года⁴⁾

¹⁾ Гейне познакомился с ним в 1839 г. через Людвига Вила (см. Karpeles. Heine auf seinem Leben und seiner Zeit. Стр. 204).

²⁾ Письмо от 21. I. 1851 г. «Heine-Reliquien», Brl. 1911, s. 65.

³⁾ A. Weill. Souvenirs intimes de Henri Heine. Paris. 1883. p. 65—67.

⁴⁾ Густав Майер в предисловии к I тому «Nachg. Briefe u. Schriften» (стр. 37) ошибочно указывает время приезда Лассалья в Париж (декабрь 1844 года). Соответственно этому он искажает датировку знаменитого письма Гейне к Фарнгагену (3 янв. 1845 г. вместо 3 янв. 1846 г.) «Nachg. Briefe u. Schriften». Bd. VI, стр. 410. Эта ошибка тем более непонятна, что Онкен, Бернштейн и П. Виноградская, с одной стороны, Кармелес, Губен и Гирт — с другой — датируют первый приезд Лассалья в Па-

риж совершенно правильно. Кроме того в предисловии к III тому «Nachg. Briefe u. Schriften» (стр. 2) Майер сам исправляет свою ошибку, чтобы снова повторить ее в предисловии к IV тому (стр. 410 и в статье Lassale und Heine. 19. Mayer «Aus der Welt des Sozialismus». Berlin, 1927). Переписку, относящуюся к истории знакомства Лассалья с Гейне, Г. Майер в тексте «Nachgelassene Briefe und Schriften». Bd. I, стр. 253—260 датирует, вопреки логике, совершенно правильно.

риж совершенно правильно. Кроме того в предисловии к III тому «Nachg. Briefe u. Schriften» (стр. 2) Майер сам исправляет свою ошибку, чтобы снова повторить ее в предисловии к IV тому (стр. 410 и в статье Lassale und Heine. 19. Mayer «Aus der Welt des Sozialismus». Berlin, 1927). Переписку, относящуюся к истории знакомства Лассалья с Гейне, Г. Майер в тексте «Nachgelassene Briefe und Schriften». Bd. I, стр. 253—260 датирует, вопреки логике, совершенно правильно.

в дом Гейне на Faubourg Poissoniere своего шурина — 19-летнего Фердинанда Лассалья, приехавшего в Париж за материалами для своей работы о Гераклите Эфесском.

Личное знакомство с Гейне опрокинуло все теоретические заслоны Лассалья. Страстное отрицание сменилось не менее страстной привязанностью. Вскоре Лассаль со всем напряжением страшной своей воли стал добиваться дружбы стареющего, больного и подозрительного поэта. Он вскоре добился своего. «Я очень люблю вас, — пишет ему Гейне несколько месяцев спустя, — ведь иначе невозможно, Вы мучаете до тех пор, пока Вас не полюбишь»¹⁾.

Гейне не мог не полюбить Лассалья. К Лассалю его привлекло то же, что когда-то сблизило его с сенсимонистами — «последними юношами Европы» (Герцен). Лассаль, как и они, восставал против идей «страстной среды, которые печально лишили цветов нашу прекрасную Европу и населили ее призраками и тартюфами», Лассаль, как и они, готовился к бою против «больного старого мира, еще не излечившегося от того рабского смирения, того скрежещущего самоотречения, от которого род человеческий чахнет уже полторы тысячи лет и которые мы всосали с суевверным молоком матери». Но Лассаль, кроме того, был активен и обладал действительной волей, которая особенно восхищала и привлекала Гейне.

Гейне в ту пору заботили два дела. В декабре 1844 года умер его дядя Соломон. Сын Соломона, Карл Гейне, обладатель многомиллионного состояния, обязанный к тому же своему двоюродному брату жизнью (когда в 1832 г. Карл Гейне заболел в Париже холерой, его спас от смерти только самоотверженный уход Генриха Гейне), отказался

риж совершенно правильно. Кроме того в предисловии к III тому «Nachg. Briefe u. Schriften» (стр. 2) Майер сам исправляет свою ошибку, чтобы снова повторить ее в предисловии к IV тому (стр. 410 и в статье Lassale und Heine. 19. Mayer «Aus der Welt des Sozialismus». Berlin, 1927). Переписку, относящуюся к истории знакомства Лассалья с Гейне, Г. Майер в тексте «Nachgelassene Briefe und Schriften». Bd. I, стр. 253—260 датирует, вопреки логике, совершенно правильно.

¹⁾ Письмо от 10. II. — 1846 г. Hirth. Bd. II. s. 579.

уплачивать ему ту ежегодную пенсию, которую выдавал племяннику Соломон и которая в случае смерти Генриха Гейне переходила к его жене. Этот отказ конечно объяснялся не скупостью. До Карла Гейне дошли слухи, что Генрих Гейне начал работать над своими мемуарами, которых семья Соломона имела все основания опасаться. Таким непосредственным экономическим нажимом гамбургский миллионер хотел обуздать перо своего двоюродного брата. Генриха Гейне в этом деле интересовала тоже не одна материальная сторона. Правда, его заботила и судьба жены, и свое здоровье, которое уже начинало сдавать. Но сильнее всего его возмущало вероломство близких, спокойный и наглый произвол «денежного мешка». Этот безобразный спор о наследстве к концу 1845 года подорвал силы Гейне окончательно. Не только обострились старые глазные боли, но и появились признаки паралича лица. По мнению французских врачей и самого Гейне, помочь ему мог лишь его университетский товарищ, знаменитый берлинский хирург Диффенбах. Но прусская граница закрылась для Гейне со дня выхода «Немецко-французских летописей». Завоевать общественное мнение за писателя против миллионера тоже оказалось не так просто. Врагов у Гейне в Германии было достаточно. На газетную кампанию, поднятую в пользу Гейне его другом Детмольдом, враги ответили контр-кампанией, руководимой мужем Терезы Гейне доктором Адольфом Галле и все тем же доктором Штраусом. Снова были пущены в ход все старые обвинения и все старые сплетни.

Друзья Гейне к тому времени были уже в больших чинах — литературных и иных. Особенно энергично вступаться за него у них не было охоты. Кроме того, защищая политического эмигранта, приходилось рисковать карьерой, а на это никто из просвещенных чиновников Берлина итти не хотел. Но когда все дело уже как-будто стало безнадежным, в распоряжении Гейне оказались воля, энергия и преданность Лассалья. Оба эти дела были как-будто бы нарочно созданы для нового друга Гейне.

Бросаться очертя голову на защиту чьих-нибудь интересов, тратить время и

силы на личные дела, которые возводились в общественные события первостепенной важности, — все это было свойственно Лассалю в высшей степени. Он с радостью принял на себя все хлопоты по делам Гейне и в январе 1846 года выехал в Берлин, увозя с собой рекомендательные письма к Александру фон Гумбольту и Карлу Августу Фарнгагену фон Энзе. «Мой друг г-н Лассаль, — писал Гейне Фарнгагену, — который привезет Вам это письмо, — молодой человек исключительно одаренный: он обладает глубочайшей ученостью, широчайшими познаниями, величайшей проницаемостью, которые я когда-либо встречал; с богатейшим ораторским даром он совмещает силу знания и умение действовать, которые повергают меня в изумление. И если симпатия его ко мне не угаснет, я жду от него действительной помощи.

Во всяком случае это сочетание знания и воли, таланта и характера было для меня радостным явлением, и Вы при Вашей широте взглядов несомненно отдадите ему должное. Словом господин Лассаль — человек совершенно новой чеканки, который ничего не желает знать о том отречении и той покорности, к которым мы в наше время более или менее лицемерно стремились и о которых болтали столько вздора. Эта новая порода хочет наслаждаться и предъявляет права на видимый мир; мы, старики, смиренно склонялись перед невидимым, гонялись за тенью поцелуя и ароматами голубого цветка, отрекались, ныли и все-таки, пожалуй, были счастливые, чем эти жестокие гладиаторы, которые так гордо идут навстречу гибели в бою».

IV

По приезде в Берлин Лассаль тотчас же показал друзьям Гейне, как надо вести такого рода дела. Под давлением его страшной воли Фарнгаген, князь Пюклер-Мюскау и Александр фон Гумбольт начали планомерную осаду прусского правительства. Александр фон Гумбольт не всегда держал себя так двусмысленно, как в дни закрытия парижского «Vorwärts». В обычное время он состоял при прусском дворе чем-то в роде полуофициального защитника

всех культурных сил королевства. Многократно осмеянный Гейне Фридрих Вильгельм IV отнесся к ходатайству Гумбольта с неожиданным добродушием. Он заявил, что лично он решительно ничего не имеет против приезда в Берлин этого «старика с болями лица».

Прусская полиция однако оказалась логичнее и последовательнее своего повелителя. На запрос Гумбольта министр Эрнст фон Бодельшвинг-Вельмеде ответил следующим образом:

«Ваше Высокопревосходительство, в отношении Гейне почтительнейше довожу до Вашего сведения, что над вышеозначенным Гейне тяготеют обвинения в оскорблении величества и в подстрекательстве к возмущению, вследствие чего он и должен ожидать ареста, как только вступит на прусскую почву.

К тому, чтобы защитить его в этом случае особым актом о помиловании нет никакого повода, ибо он до последнего времени продолжает самым низким образом поносить его величество короля.

В виде образца при сем прилагаю — с просьбой незамедлительного возврата — только-что вышедший листок Телеграфа¹⁾, в котором стихотворение «Новый Александр» несомненно принадлежит Гейне. При таких обстоятельствах вышеозначенный Гейне должен или отказаться от помощи Диффенбаха, или выписать его к себе в Гамбург.

С глубочайшим почтением
Вашего высокопревосходительства
преданнейший слуга
фон Бодельшвинг.

Берлин. 28. 1 — 1846 г.»²⁾.

После получения этого образчика почтовой вежливости Александру фон Гумбольту оставалось написать Гейне, что «я действовал со всем усердием и не могу упрекнуть себя ни в чем, но мне совсем не посчастливилось. И даже

¹⁾ Очевидно «Telegraph für Deutschland», выходивший во Франкфурте.

²⁾ Hirth. II, стр. 570, см. также Houben «Verbotene Literatur», стр. 416 и Houben «Gespräche mit Heine», стр. 508. Из текста письма Бодельшвинга ясно, что Houben ошибочно мотивирует его отказ «Хвалебными песнями» в честь Людовика Баварского, напечатанные в «Немецко-французских летописях».

отказ был настолько решителен, что я для Вашего собственного спокойствия вынужден просить Вас не вступать на прусскую почву. Мне кажется, что я выполняю долг свой относительно Вас, когда пишу Вам это со всей откровенностью, которой писатели и обязаны друг другу»¹⁾.

Не менее энергично принялся Лассаль за вторую часть поручения. В битву за наследство он втянул не только Фарнгагена и князя Пюклера-Мюскау, но и Джьякомо Мейербеера, Жака Оффенбаха, весь банкирский дом Мендельсонов и т. д. Однако и здесь его преследовали неудачи. На все попытки этой коалиции Карл Гейне либо отвечал пространными жалобами на дурной характер своего двоюродного брата, либо попросту отмахивался²⁾.

Дело это закончилось примирением сторон лишь через два года.

Все время, пока Лассаль сражался за интересы Гейне в Берлине, друзья состояли в деятельной переписке: Гейне давал своему защитнику обстоятельные практические указания, но на ряду с этим не скупился на страстные изъяснения дружбы и восхищения. Он писал «дорогому другу» и «брату по оружию», что «еще никто никогда так много для меня не сделал», он говорил, что «ни в ком не встречал столько страсти и ясности понимания, слитых в действии». «Да, Вы вправе быть дерзким, — восклицает Гейне, — мы, остальные, лишь узурпируем это божественное право, эту небесную привилегию — по сравнению с вами я лишь жалкая муха»³⁾.

Приезд в Париж сестры Лассала Фредерики Фридлянд только укрепил эту дружбу. «Я очень рад, что увижу его (т.-е. Фердинанда Фридлянда. Е. К.) и Вашу сестру. Очень мне любопытно — такие ли у нее тонко очерченные страстные губы. Я очень люблю Вас, ведь иначе невозможно. Вы мучаете до тех пор, пока Вас не полюбишь»⁴⁾.

¹⁾ Письмо без даты. Hirth. Bd. II, стр. 571.

²⁾ Переписка по этому делу между Фарнгагеном, Мейербеером, князем Пюклером-Мюскау, Лассалем и Карлом Гейне опубликована (частично). Hirth. Bd. II. Стр. 570—580 в Nachg. Br. u. Schriften. Bd. I. S. 253—260.

³⁾ Hirth. Bd. II. Стр. 582.

⁴⁾ Hirth. Bd. II. Стр. 585.

V

Весной 1846 года над дружбой этой стали собираться тучи. Именно в это время Лассаль слепо и страстно увлекся защитой интересов графини Софии Гауффельдт. Притти на помощь женщине, оклеветанной мужем, лишенной им детей и материальной поддержки, несомненно было делом благородным, тем более, что графиня не нашла помощи ни у родных, которые боялись скандала, ни у суда, который опасался могущественного графа. Но убить на это дело 9 лет жизни, уйти в него целиком, сделать из этой трагической семейной истории общественное дело первой важности мог только Лассаль. Л и ч н о с т ь женщины, обездоленной безобразным общественным устройством, стала для него воплощением революционного принципа эпохи.

Цель Лассалья оправдывала для него все средства. Увлеченные его жестокой волей, два его друга — ассессор Оппенгейм и немолодой уже врач Арнольд Мендельсон — похитили у любовницы графа Эдмунда Гауффельдта — русской шпионки, авантюристки и страстной поклонницы Георга Гервега, баронессы Мейендорф — ее шкатулку. В шкатулке этой, по предположениям Лассалья, должны были находиться дарственные записи на имя Софии Гауффельдт.

Оппенгейм был арестован. Арнольд Мендельсон с подложным паспортом бежал за границу. Лассаль остался один, почти в положении уголовного преступника, затравленный прессой.

Тут Лассаль естественно вспомнил о своем старшем друге, который был ему стольким обязан. Настойчиво добиваясь от влиятельной германской и заграничной прессы защиты интересов графини, Лассаль просил, чтобы Гейне заставил «Таймс» и «Journal des debats» напечатать дружественные статьи, привлек бы к этому делу друзей, выступил бы сам. Лассаль пишет «милому, любимому другу», что он хотел «примчаться в Париж», чтобы лично рассказать ему о том новом деле, которое его захватило целиком. Но приехать ему не удалось, и Лассаль в кратких словах рассказывает Гейне тот «сердце возвышающий роман», в котором он «почел за благо

стать действующим лицом». В заключение он просит у старшего друга той помощи и поддержки, о которых говорилось выше.

Гейне промолчал. Лассаль выходил из себя, запрашивал Мендельсона, о котором дружески заботился Гейне.

Кампания, поднятая в парижской прессе в пользу графини Гауффельдт Даниелем Стерном¹⁾, нуждалась в серьезной поддержке. Помощь Гейне становилась необходимее с каждым часом. Наконец от Мендельсона из Парижа пришло письмо, в котором он, по выражению Лассалья, «в куче туманно-извинительных и довольно бессмысленных фраз сообщал», что Гейне «не хочет или не может, не может или не хочет» оказать Лассалю ту дружескую услугу, о которой тот его просил.

На следующий день Лассаль написал Гейне письмо разрыва. В письме к Мендельсону, написанном несколько дней спустя, Лассаль хвалится, что письмо к Гейне было «злейшим» в своем «холодном коварстве»²⁾ из всех писем, когда-либо им написанных. Конечно Лассаль здесь невольно погрешил против истины — «холодное коварство» было не свойственно ни возрасту, ни темпераменту Лассалья. Его коварство стояло примерно на уровне коварства героев юношеских драм Шиллера. Но так или иначе, удар, нанесенный измученному, полуслепому и полупараличному поэту рукою «гладиатора», поразил его очень глубоко. О «неслыханной жестокости» Фердинанда Гейне с горечью вспоминает четыре года спустя в письме отцу Лассалья — Хаиму³⁾.

«Милый Гейне, — писал Лассаль⁴⁾.

Когда я получил вчера письмо доктора⁵⁾, где он в куче туманно-извинительных и довольно бессмысленных фраз сообщает мне, что Вы не можете или не хотите — не хотите или не можете оказать мне ту небольшую дружескую

¹⁾ Псевдоним писательницы Марии Флавинии, графини д'Агу — подруги Листа и матери Козимы Вагнер.

²⁾ Nachg. Briefe u. Schriften. Bd. I. Стр. 285.

³⁾ Письмо от 16 апр. 1850 г. Hirth III. Стр. 114.

⁴⁾ Nachg. Br. u. Schriften. Bd. I. Стр. 281. Письмо не датировано. Г. Майер относит его к октябрю 1846 г.

⁵⁾ Т.-е. Арнольда Мендельсона.

услугу, о которой я Вас просил или вернее, которой я от Вас требовал — я на одно мгновение был ошеломлен, так ошеломлен, как неверующий при виде совершившегося чуда, которого чувства его не могут ни отрицать, ни опровергнуть. Но уверяю Вас, я удивился лишь на миг. *Nihil admirari* — весьма необходимое для всех случаев жизни изречение. Почему именно Вы должны быть иным, чем столькие другие? Вы совершенно правы.

Надо ли мне напоминать Вам о том, что я для Вас сделал, надо ли мне послать Вам то письмо, в котором Вы пишете: «Еще никогда ни один человек не сделал для меня того, что сделали Вы»¹⁾, надо ли мне унижаться до того, чтобы перечислить Вам все, что я для Вас сделал, что перенес, чем пожертвовал. Конечно, нет! Знайте одно: для себя я никогда не сделал бы того, что делал для Вас, для себя я не попрошайничал бы и не торчал бы в передних Пюклера, Фарнгагена, Мейербеера, Мендельсона etc., etc., я не возбуждал бы к себе ненависти просьбами, которые выполнялись и отклонялись с равной неохотой, я не подрывал бы зарождающегося ко мне доверия наглыми притязаниями.

Вы думаете, что уже тогда я не знал, насколько вредил я себе этой безграничной, страстной преданностью Вашему делу, вредил даже в глазах друзей Ваших, которых я (два слова не разобраны) на них — принуждал к тяжким и роковым шагам; таким поступком, как Вам известно, делаешься всего ненавистнее. Человека можно упорством принудить в этом случае к требуемому действию (что я и делал), но для того, кто это сделает, древо иссохнет навсегда — оно никогда уже не даст ни плода, ни цвета этому неистовому радетелю. Все эти люди охотно сделали бы мне различные одолжения, лишь бы только я оставил их в покое с моими требованиями, лишь бы я с железной последовательностью не ловил их на слове. Все эти люди потеряны для

меня — и з-з а В а с. Вы знаете, что значит подорвать свой кредит. Так было даже с Вашими друзьями. Представьте себе, что подумали враги Ваши, которыми кишит Берлин.

В то время я начал делать в Берлине карьеру и стал приобретать кое-какую репутацию, их я смог бы использовать для очень важных мне вещей. Но тут из болтовни Пюклера и Гумбольта распространился слух, что я открытый сторонник Гейне. Ловко отступив и оставив Вас на произвол судьбы, мотивируя это примерно таким же милым письмом, какое мне написал доктор, я мог бы многое выиграть. Я этого не сделал и увидел, как многие нужные мне и значительные люди отвернулись от меня. Я был в добрых отношениях с Эйхгорном¹⁾, у нас были друг на друга виды²⁾. Но тут он спросил меня — правда ли, что я предпринял для Вас такие-то и такие-то шаги. Я был настолько неопытен, что в конфликте между верностью другу и карьерой отдал предпочтение верности. Я ответил утвердительно, я защищал Вас даже перед ним, и хитрые серые глазки его светлости с тех пор уже не улыбались мне. Ну, что же, на то я и «неопытный молодой человек»³⁾. Вспомните тот незабвенный час, когда, сидя у камина, Вы сказали мне: «Ах, когда у Вас будет мой опыт!» В этом была доля правды, но никогда мне даже и присниться не могло, что Вам буду я обязан началом моего опыта! Довольно об этом.

А Вам не кажется, что я очень точно знаю те побуждения, которые Вас удерживают?

Друг мой, меня Вы не убедите в том, в чем смогли убедить доктора. Для этого я слишком хорошо знаю парижские дела и нравы.

Вы ленивы, Вы знамениты, Вы готовы похлопотать обо мне, но не от своего имени. Действительно, Вы простили благосклонность свою до того, что поговорили с Вейлем, которого Вы не выносите, о том, чтобы он намарал статейку в «*Corsaire Satan*», но зна-

¹⁾ Прусский министр просвещения.

²⁾ Лассаль в ту пору еще мечтал об университетской кафедре.

³⁾ Намек на письмо Гейне от 7. III. 1846 г. Hirth. Bd. II, 598.

¹⁾ Письмо от 10. II. 46. г. Hirth. Bd. II. стр. 582.

менитый Гейне не станет об этом говорить со своим собратом Жюлем Жаненом¹⁾ и официально хлопотать обо мне в парижских редакциях. И почему же?

А вдруг об этом узнает графиня Мерлэн²⁾, подруга Мейендорф, и другая, и третья etc., и очень многие личные связи от этого пострадают.

Так это невозможно? Но это было возможно для графини д'Агу. Что могла сделать она, конечно, могли сделать и Вы. Вы могли хотя бы перевести статью из «Рейнского наблюдателя». Слушайте, Гейне, это невероятно, если не знать Вас близко, но если б у Вас была нужда в деньгах и на этом можно было бы заработать 5.000 фр.,—чорт побери меня и Вас, если бы невозможное не стало возможным.

Гейне, Вы знаете, что пишут филистеры всей Германии о Вашем характере. Вы знаете, что я об этом думал. Но истинно говорю Вам — есть вещи меж землей и небесами etc., etc...

Милый Гейне, не думайте, что я пишу под влиянием страсти. Сегодня я в высшей степени спокоен и холоден. А если б даже я и писал вам под влиянием страсти — кто раньше так восхищался «редким сочетанием страсти и ясности понимания»³⁾. Только опыта у меня прибавилось, и да защитит меня господь от дальнейших уроков Ваших, друг мой.

Может быть, ответ Ваш надо приписать Вашему болезненному состоянию, но ведь этим состоянием — и то с натяжкой — можно объяснить лишь неясность мыслей, но тут дело ведь не в этом. Дело в ясном, простом, обыденном эгоизме, в ничтожестве и пустоте сердца.

И все-таки я даю Вам отсрочку на день. Но не больше. Я повторяю Вам, что Вы должны добиться, чтобы в «Journal des debats», «Таймс» и «Всеобщей аусбургской газете» появились статьи, столь же громкопищущие, как те, которые посылал я.

¹⁾ Известный писатель и критик того времени.

²⁾ Графиня Мария Мерседес-Мерлэн. Испанка с Кубы. Автор мемуаров «Гаванна». Салон ее был одним из первых в Париже.

³⁾ Намек на письмо Гейне к Фарнгагену от 3. I. 46 г.

Если же Вы этого не сделаете — что ж, пусть будет так. Я стал невыразимо равнодушен. Если Вы этого не сделаете, значит Мейендорф и Мерлэн смогут похвалиться тем, чем не мог похвалиться сам Дионис, ибо из-за них

«друг нарушил верность другу».

Потому что, говоря прямо — и это мое беспристрастное мнение — Вы по отношению ко мне нарушили долг, любовь и верность. Остаться при этом тройном предательстве несомненно будет для Вас выгодно. Вы навсегда избавитесь от неудобства моих требований и уже никогда в жизни я не обращусь к Вам ни как друг, ни как враг, ни как посторонний. Но почетное место Вы у меня займете навсегда — Вами открывается список моего «опыта».

Итак, если Вы не хотите — напишите мне коротко — «Нет», тогда я сам приеду в Париж, чтобы личным присутствием заменить Вашу поддержку. В этом случае Вы можете не бояться моего посещения. Я охотно избавляю от моего присутствия в тех случаях, когда оно может только пристыдить и унизить.

Еще раз повторяю, что я найду вполне понятным, если Ваша лень, важность и некоторые связи — с Мэрлен и прочими — перетянут на весах меня и сомнительную теперь нужду во мне. Каждый имеет неоспоримое право на отсутствие убеждений; я и не покушаюсь на это драгоценное дополнение свободы.

Мой друг мне пишет, что Вы довольны большими почтовыми расходами, даже «гневаесть» на это. Тысячу раз прошу извинить меня — я не подумал о том, что такой расход для друга Вас затруднит. Я прилагаю деньги на покрытие издержек, а это письмо позволю себе послать по старому адресу и нефранкированно, а теперь — с богом! — приветствую Вас.

Л а с с а л ь».

К Гейне вполне применимы слова Герцена, сказанные о Мадзини: «Такой человек не нуждается в защите». Поэтому надо признать, что вероятно причины его невмешательства в гацфельдский процесс были угаданы Лассалем до-

вольно правильно. Но каковы бы ни были мотивы, удержавшие Гейне, несомненно то, что, не поддавшись влиянию Лассалья, он избавился от больших и, главное, внутренне ненужных неприятностей.

Куда безжалостная воля Лассалья заводи́ла покорных ему друзей, видно хотя бы на примере Мендельсона. После похищения шкатулки баронессы Мейендорф Мендельсон с подложным паспортом скрывался в Англии, затем, покинутый всеми, на последние гроши перебрался в Париж.

«Как затравленный зверь стремится к лесу,—пишет он Гейне 23 января 1846 года,—так я жажду Вашей помощи и защиты»¹⁾.

Словами последнего отчаяния он закликает Гейне не отталкивать его, иначе ему останется одно—«отдаться в когти «мерзкой птице»²⁾—прусскому орлу. Гейне взял Мендельсона на свое попечение, и Арнольд Мендельсон—давний друг и ученик Лассалья—в конфликте между ним и Гейне встал всецело на сторону последнего.

Мендельсон опрометчиво вернулся в Германию в июне 1847 года после оправдания своего сообщника Оппенгейма. Он был тотчас же схвачен и вскоре приговорен к пятилетнему тюремному заключению.хлопоты влиятельных родственников привели к тому, что через год он был выпущен на свободу с обязательством навсегда покинуть пределы Германии.

Мендельсон стал врачом в венгерской революционной армии, после разгрома революции вместе с другими бежал в Турцию и в 1854 году умер от тифа в Баязиде, на персидской границе.

«Бедный малый, — писал Лассалю один из товарищей Мендельсона,—голимый и затравленный судьбой. Он был полон чувств и воображения—вообще был чудесный парень. И надо же ему было забиться к самому подножью горы Арарата, чтобы еще молодым и покинутым всеми сдохнуть в этой дыре, как собака».

¹⁾ «Heine-Reliquien», стр. 201.

²⁾ Der hässliche Vogel—так Гейне зовет прусского орла в Германии.

VI

Дружбе между Гейне и Лассалем сужден был траги-комический эпилог. Еще в 1845 году Фердинанд фон Фридлянд втянул Гейне в одно из своих фантастических предприятий. Он выманил у Гейне 15.000 фр. на акции парижской осветительной компании «Ирида». Компания эта брала концессию на устройство газового освещения в Праге. Имена пайщиков, цифры, гарантии—все было вполне солидно. Отец Фердинанда Хаим Лассаль (с которым Гейне познакомился в 1847 г. в Париже) вложил в это дело большие деньги.

Однако в начале 1850 года оказалось, что дела «Ириды» обстоят вовсе не блестяще. К концу того же года выяснилось, что концессии на освещение Праги брала вовсе не «Ирида», а Бреславльская акционерная компания, которая в 1845—46 гг. была с «Иридой» связана и поэтому на некоторых (очень жестких) условиях уступала ей часть паев. После разрыва между предприятиями (последовавшего в начале 1850 года) акции «Ириды» конечно теряли всякую ценность.

Гейне понес большие потери во время биржевого кризиса 1847 года. Новая потеря, связанная с банкротством «Ириды», привела его в ярость. Гнев его обрушился на всю семью Лассалей-Фридляндов, при чем (здесь, вероятно, сказала старинная обида) главную ответственность за свою неудачу он возлагал на Фердинанда Лассалья, который якобы убедил его в серьезности предприятия Фридлянда.

Упреки свои Гейне не преминул изложить Лассалю письменно. Это последнее письмо Гейне к Лассалю не сохранилось, но часть черновика-ответа Лассалья осталась в его бумагах¹⁾. Лассаль без гнева и возмущения указывает в нем на «исключительную несправедливость» упреков Гейне. Он напоминает ему, что Гейне сам просил его ходатайствовать перед Фридляндом о продаже ему акций «Ириды». С горечью отводит Лассаль и упрек Гейне в том, что он охотнее согласится признать себя сообщником Фридлянда, чем его жертвой—лишь бы не заподозрили его про-

¹⁾ Nachg. Briefe u. Schriften. Bd. II, s. 40.

ницательности¹⁾. «Ах, милый Гейне,— пишет Лассаль,— какое превратное мнение обо мне Вы себе составили. Во всех случаях жизни я предпочитаю быть жертвой, а не сообщником. Я не настолько самонадеян, чтобы воображать, будто я никогда не был обманут. Напротив, я совершенно убежден, что в течение моей жизни я бывал обманут слишком часто и что меня будут обманывать постоянно! И как сильно, как долго бывал я обманут!»

«Все, что я знаю об этом деле,— так кончается уцелевший отрывок этого письма,— это то, что состояние отца моего тоже повидимому погибло, по крайней мере—большая его часть; но я особенно об этом не печалюсь, потому что—благодаря богу—любовь к деньгам никогда не была в числе моих страстей».

Излагая все это дело брату своему Густаву, Гейне не скупился на жестокие слова по адресу Фердинанда. Правда, он признавал, что «ни один молодой человек ни знаниями своими, ни своей личностью—особенно остротой своего ума и столь недостающей моему мечтательному характеру энергией—не производил на меня такого впечатления, как этот молодой Лассаль»²⁾. Гейне отдавал должное тонкости понимания Лассалья, он признавал, что эта страстная натура действовала на него благотворно, но он упрекал Лассалья в том, что он в делах Гейне «подливал масло в огонь» и склонял своего друга к «величайшим несправедливостям». Теперь

же, по мнению Гейне, «этот человек в своем быстром развитии в дурную сторону стал одним из ужаснейших злодеев, который способен на все—на убийство, подлог, воровство и обладает к тому же граничащей с безумием силой воли».

Эти злые и несправедливые слова вряд ли могли быть действительным мнением Гейне о Лассале. Гораздо ближе к истине его характеристика, данная Фердинанду в письме к Хаиму Лассалю.

«Мой бедный Фердинад Лассаль,— пишет Гейне,— сердце мое разрывается, когда я о нем думаю, когда я вижу, как такие богатые природные данные преданы на жертву демоническому саморазрушению; я вытерпел от него неслыханные жестокости за то, что не дал себя увлечь его темным стремлениям и противопоставил страстям его холодные доводы рассудка»¹⁾. В заключение Гейне просит написать ему все, что отцу известно о жизни Фердинанда, и выражает надежду еще раз увидеть его перед смертью.

Надежда эта сбылась. В июле 1855 года Лассаль, приехавший в Париж на всемирную выставку, навестил Гейне, одиноко умиравшего в своей «матрацковой могиле».

Встреча эта привела к полному примирению²⁾.

¹⁾ Hirth. Bd. III, стр. 114.

²⁾ «Гейне, у которого я только что был,— пишет Лассаль Марксу в июле 1855 г.,— внешне очень сдал. Но дух его остер и ясен, как никогда. Мне показалось лишь, что мир стал ему горек. Он очень обрадовался увидев меня». Nachg. Briefe u. Schriften. Bd. III, s. 100.

3. СЮРРЕАЛИЗМ

Я. Фрид

В конце 1919 года молодые французские поэты Андре Бретон и Луи Арагон, став во главе группы единомышленников, подняли знамя с кличем «Dada!»¹⁾. Дадаизм был пощечиной капиталистической цивилизации,

¹⁾ «Dada» заумное слово. Так называют детскую игрушку-лошадку.

создавшей европейскую бойню, издавательством над лучшими чувствами «лучших сынов нации», над пропитанной кровью великим здравым смыслом. Дадаизм возник среди артистической богемы и как бы атаковал весь остальной мир, но он был наиболее непосредственным, судорожным выражением смя-

тенья, овладевшего после победоносной войны широкими слоями французской мелкобуржуазной интеллигенции. Правда, дадаизм группы Арагона — Бретона, как и весь дадаизм, был крайне неосознанным, хаотическим выражением социального протеста и укладывался в простейшую формулу: «скандал для скандала» (скандалами в социальной области объявлялись бабуизм и большевизм); для литературных боев естественной была концовка в виде настоящей, а не фигуральной драки с публикой, имевшей туманный, но явно декларативный смысл. Вместе с тем, проделав в литературе полезную работу «потрясателя основ», восставая против авторитетов, логики и «литературы» (в верленовом смысле слова), дадаизм в сущности не сходил с магистрального пути развития новейшей французской поэзии.

Эпоха дадаизма — 1919—21 годы. Вслед затем в той же группе литературной молодежи, объединенной журналом «Litterature», начало зреть новое течение, сюрреализм, окончательно оформившееся в 1924 г.¹⁾

Преемник дадаизма, сюрреализм тоже начинал жизнь не как «литература», а как «состояние духа», «крик сознания». От дадаизма он унаследовал анархический дух, задор. Но вместе с тем сюрреализм выступил как пропагандист нового творческого метода и вполне осознанного отношения к действительности. Кроме возникшего в прошлом году довольно эфемерного «популизма», сюрреализм — единственное течение в современной французской литературе и вообще единственное настоящее, отчетливое течение, переплеснувшее даже за пределы французской литературы (в Америку, в Югославию). Ни одна литературная группа во французской литературе XX в. не уделяла столько внимания созданию теоретической базы своей поэтической работы (не менее 50 проц. всего написанного сюрреалистами

¹⁾ В 1924 г. появление «Манифеста сюрреализма» А. Бретона. В дек. 1924 г. журнала «Сюрреалистическая революция», № 1. В янв. 1925 г. — декларация, выпущенная «Бюро сюрреалистических поисков» и подписанная 26 сюрреалистами. В 1929—30 г. к сюрреалистам присоединился и изобретатель дадаизма Тристан Тцара.

посвящено вопросам гносеологии и, по современной нашей формуле, «обсуждению творческого метода»), и именно это внимание к теории делает сюрреализм отчетливым литературным течением. Наконец история сюрреализма — пример того, как литературное явление, исходящее из объективно-реакционной теории, может не расставаться со словом «революция» и пользоваться репутацией выразителя «левых», «бунтарских», «революционных» устремлений.

Не мешает взглянуть поближе на это литературное явление (сюрреализм в живописи здесь не рассматривается).

I. Сюрреализм и окружающая действительность

«Исповедальня, это — не ты, о папа, это мы, — пойми нас...»
 «Мы твои вернейшие служители, о Великий Далай-Лама, — укажи нам источник твоих озарений...»
 («Сюрреалистическая революция» № 3, «Обращение к папе», «Обращение к Далай-Ламе»).

1

Слова «тоска», «отчаянье» сюрреалистами усыновлены. Герои романов Супо всегда тоскуют, бездеятельные, неизлечимо усталые, никому ненужные. «Из различных надежд, которые у меня были, самая упрямая — безнадежность» (Арагон). «Мы твердо решили совершить революцию. Но только для того соединили мы слова «сюрреализм» и «революция», чтобы указать на бескорыстность, одинокость, и вместе с тем безнадежность этой революции» (декларация сюр-ов от 27/1—25 г.). Сюрреализм регистрирует все проявления социального отчаянья. Арагон в книге новелл «Libertinage» дает журналистскую сводку семейных трагедий, ухода из дому солидных отцов семейств (один из видов «évasion» «бегства от прошлого», занимающего видное место в тематике современной французской и вообще западной буржуазной литературы). «Сюрреалистической революцией» даются под заголовком «Отчаявшиеся» сводки газетных вырезок, в которых сообщается о самоубийствах. Сюрреалистами была проведена анкета о самоубийстве. 1924 год, — сообщает Л. Арагон, — был для него годом тоски. То-

ска об'единила дадаистов, она об'единила и сюрреалистов. «Тоска, отчаянье порождали жажду великой взволнованности, великого воспарения, внутреннего под'ема, который изменил бы жизнь и судьбу». В ответ на эту жажду в конце 1924 г. окончательно оформилось сюрреалистическое течение.

При самом возникновении группы сюрреалисты предупреждали, что «изменить жизнь и судьбу» в обычном смысле слов они не намерены. Несмотря на фразы, в роде «мы — специалисты по восстанию», «Бюро сюрреалистических поисков» тут же, в декларации, заявляет: «мы не собираемся изменять человеческие нравы». Основное, с чем выступил сюрреализм — адрес «идеального мира» сна, мечты. «Сюрреализм — это чистый, психический автоматизм, путем которого, словами, на бумаге или любым иным способом, предполагают выявить реальную деятельность мышления. Диктовка мысли без всякого контроля со стороны разума¹⁾, без предупреждений и забот эстетического или морального характера. Сюрреализм зиждется на вере в высшую реальность некоторых форм ассоциаций, на которые до него не обращали внимания, — на всемогуществе основ, на бескорыстной («*désintéressé*») игре мысли. Он стремится окончательно разрушить все другие психические процессы и заменить их при разрешении главнейших проблем жизни» («Манифест сюр-ма» А. Бретона). «Сюрреализм стремится только к искусственному созданию того идеального состояния, когда человек, увлеченный своеобразным чувством, вдруг бывает схвачен «более сильным, чем он», и, несмотря на свое сопротивление, брошен в бессмертье». Сюрреализм интересуется только тем, что ведет к «растворению сознания в сверкающей и слепой глубине, которая не является ни душой льда, ни душой огня» («II-й манифест сюрреализма», 1930).

Это идеальное состояние мистического транса — состояние пассивности разума и диктатуры бессознательного, состояние освобожденья от законов разума, от законов действительности, «низшей реаль-

ности». Отказываясь контролировать деятельность «нижних этажей» сознания, резко противопоставляя ее деятельности разума, обладающей «низшей реальностью», сюрреализм, «сын безумия и мрака» (Арагон), тем самым распространяет область «низшей реальности» и на мир социальных отношений, окружающую действительность.

Проповедуется бегство в мир подсознательного — самый полный вид *évasion*. Хотя сюрреалисты и говорят об объективно-научной части их деятельности (изучение неизученных психических процессов, овладение ими), хотя они и занимаются «изучением» «идеального сюрреалистического состояния сознания», но эта «научность» на втором плане. Перед нами — не простое увлечение фрейдизмом. Ведь сюрреализм первого периода, как и дадаизм — «не литература» и «не поэтическая форма»; он прежде всего — «крик духа», религия отчаявшихся. «Роль познавательного процесса окончена, разум больше не принимается в расчет, только сновиденье дает человеку все права на свободу. Благодаря сну с мыслью о смерти не связано больше неясного чувства, и жизнь приобретает оттенок равнодушия... Автоматы уже размножаются — спят, грезят. Сидя в кафе, они спешно требуют принадлежности для письма; жилки мрамора — карта из бегства («*évasion*»)» («Сюрреалистическая Революция», № 1, предисловие). Здесь все точно указано: и то, что сон (подсознательное) — «царство свободы», «единственное существующее»; и обиталища отчаявшихся «грезящих автоматов» — кафе, бары — центры «истинной цивилизации» (Арагон), гнезда тоскующей, беспочвенной богемы; и то, что сюрреализм придает жизни оттенок равнодушия и пассивности. — Я всегда удивлялся, как деятельны те, кого я называю «другие», — говорит один из героев Супо. «Мы менее нуждаемся в активных последователях, чем в последователях потрясенных» («Сюрреалистическая Революция»).

Равнодушие, пассивность — один из основных признаков сюрреализма. Уже тогда, когда из дадаизма только начал расти сюрреализм, Арагон в «Приключениях Телемака» дал точную и милую

¹⁾ «Образы думают для меня» (П. Элюар).

формулу анархистского равнодушия к окружающему: «Система Dd¹⁾ предлагает: делать то, это, противоположное, не делать ни того, ни другого, ни противоположного, ничего не делать, все делать, заставить вас молчать и немножко умереть... Первое D моей системы — сомнение, а второе D будет вера. Я верю в меня, в тебя, в себя, во всех остальных. Я верю в чудеса, в случай, в оккультные науки, в Науку, в мыло²⁾, в благородство сердца, в преданность общественным интересам. Я верю в синее небо, в зеленые деревья, в трехцветное знамя, в красное знамя». Сюрреализм не только безразлично-пассивно относится к окружающей действительности, но и, признавая «высшей реальностью» внутренний мир, занимает по отношению к нему такую же позицию. Принцип «автоматизма мышления», пропаганда «пассивной жизни ума» («II-й манифест») это — предел невмешательства в жизнь. Конечно, на практике такое полное невмешательство недостижимо; по словам Бретона, идеальными сюрреалистами, достигающими этого предела, являются только душевнобольные. Но без невмешательства истинный сюрреализм немислим. Правда, в листовке «Труп», выпущенной по случаю смерти А. Франса, они со свехреволюционной нетерпимостью клеймят «и мертвый скептицизм» автора «Восстанья ангелов». Но истинная причина этого нападения на мертвеца коренится в ненависти к враждебному творческому методу, к художнику, «писавшему ножницами» — воплощению антиимпровизационности, «позолоченной посредственности» («Труп»).

В 1924 году, одновременно с выходом «Манифеста сюр-ма» Бретона, кубист Иван Голл начал издавать журнал «С ю р р е а л и з м». Сюрреализм Голла противоположен сюрреализму Бретона; источником художественного творчества он объявляет внешний мир, а не внутренний. Но центральный пункт его программы — требование: внешний мир должен быть рассматриваем объективно,

без всякого вмешательства мысли, — и именно это чисто сюрреалистическое требование позволило Голлу назвать свой «антисюрреализм» сюрреализмом¹⁾. У Голла — крайний вид чистого отображательства, у сюрреалистов — предел «неприкосновенности творческого «я» поэта».

2

Погружаясь в «то, что сильнее нас», в «высшую реальность», сюрреализм неизбежно тонет в идеалистическом мирозерцании. Арагон в 1925 г., в «революционный период» истории сюрреализма, о котором ниже, писал: «факт — категория духа». «Мое дело — метафизика». «Фантастика, потустороннее, сновиденье, сверхжизнь, рай, ад, поэзия, любовь — вот сколько слов, обозначающих «конкретное» («Парижский поселенин»). Арагон радостно подхватывает формулы солипсизма, релятивизма. «В мире существую только я» («Приключ. Телемака»). Диалектика беспомощна. Уверенность в реальности чего бы то ни было нереальна («Париж. посел.»). «Когда ученейшие люди убеждают меня, что свет — вибрация, когда они в результате рассудочной работы находят длину волн, они не считаются с самым важным для меня в явлении света, с проблемой, что проводит границу между слепым и мной, с проблемой, которая уводит в область чуда и неразрешима разумом» (Арагон). Нас окружает таинственное, божества, созданные нами же. — Одновременно с Арагоном о создании новой мифологии и специально обожествлении техники заговорил П. Мак Орлан, художник, ничем не связанный с сюрреалистами, но очень связанный с пессимистически настроенной деклассированной интеллигенцией. — Ничего удивительного нет в том, что диктатура подсознательного заканчивается мистицизмом. Ведь само определение сущности сюрреализма как «идеального состояния», когда «сознание исчезает в сверкающей и слепой глубине» и

¹⁾ Т. е. Dada (дада).

²⁾ Непередаваемая игра слов: вместо «savants» (ученые) — «savon» (мыло).

¹⁾ В художественной практике это требование Голлом не выполнялось.

человек «вдруг схвачен чем-то более сильным, чем он, и брошен в бес-смертье», — это определенье является родным братом определенья «чистой поэзии», данного автором «Истории религиозного чувства во Франции» Анри Бремоном, аббатом и академиком («чистая поэзия» — волшебство, выявляющее босознательное состояние души, которое характеризует поэта, чистая поэзия — «таинственная магия, стремящаяся стать молитвой»). Даже термин «сверхреализм», «н а д р е а л и з м» должен показаться Бремону удачным. Жорж Дюамель, которому окружающая действительность одно время казалась очень неудобной, неудобной, тоже звал в идеальный мир мечты, проповедывал в своих философски-моралистических сочинениях «религию мечты и сердца», конкурируя, как и сюрреалисты, с папой (конечно, гораздо серьезнее, «по-настоящему»). Если бы сюрреалистам сказать, что они идут в ногу с Дюамелем и Бремоном, они, вероятно, почувствовали бы себя оскорбленными. Ничего не поделаешь. Сюрреализм не изолирован и лишь дает наиболее законченный вариант бегства от действительности.

В сюрреализме мистическая сторона далеко не так полно обнажена, как в немецком экспрессионизме. Но социальный смысл этих родственных (хотя не во всем однородных) явлений один и тот же.

Интересно, как раз ум, активность и окружающая действительность объединяются в одну «низшую реальность», противопоставляемую пассивной, «высшей», враждебной ей. «Человек передал активность машинам. Он уступил им способность мышления. И они мыслят... Человека охватывают ужас, паника перед этой отделившейся мыслью, так мощно растущей, что ее ничто не в состоянии остановить, даже сама его воля, которую он считал творческой. Происхождение этого ужаса лишней раз свидетельствует об антагонизме между человеком и его мыслью...» (Арагон).

С этим мироощущением, с этой философией гармонирует выработанная ими сюрреалистическая поэтическая система.

II. Сюрреализм и урбанистическая поэзия

Глухой
Как ты — Бетховен

Слепой
как ты
Гомер
бесчисленный — — старик
рожденный повсюду
я возделываю
равнины
внутренней тишины.
Жан Кокто.

Поэзия может быть создана
всеми, а не одним.
Лотремон.

1

Признаки урбанистического стиля в поэзии в самых общих чертах таковы:

1) Динамичность в пределах стихового отрезка. Быстрая смена ассоциаций. Расшатыванье версификационного аппарата.

2) Лаконичность. Стремление к точности.

3) Многопланность. Сближение дальних семантических рядов:

а) явленья, принадлежащие к различным рядам, помещаются в одном, сближаются непосредственно благодаря соседству в стиховом отрезке — система сопоставлений (Уитмэн);

б) сближение дальних рядов при помощи метафор (Рембо).

Эти стилевые признаки в высшей степени отчетливо выразились уже при зарожденьи современной урбанистической поэзии — в творчестве Уитмэна и Рембо. От Уитмэна и Рембо идут две основные линии развития урбанистической поэзии, — встречаясь, обмениваясь признаками, расходясь. В метафорический стиль проникает уитмэново разрушенье строфы и рифм; нередко соединенье метафоричности с уитмэновым непосредственным оближеньем по соседству (Хлебников, Маяковский, французские кубисты, сюрреалисты). У Сандрара и у части современных урбанистических американских поэтов, в том числе пролетарских поэтов — М. Голда и А. Магила — дальнейшее развитие чистой уитмэновской линии, при

чем у них принцип точности, деловитости и лаконичности доминирует над принципом сближения дальних рядов (близкие этому стилю вещи есть у Сельвинского, напр., его «Рапорт»):

ГОРОД ГРИБ.

(Отрывок)

В конце 1911 года группа янки-финансистов решила основать город—на раздолье Дальнего Запада, у подножья Скалистых гор.

Не прошло и месяца, как новый город, не насчитывающий еще ни одного дома,—связан с тремя железнодорожными линиями Штатов.

Рабочие сбегаются со всех сторон.

К началу второго месяца построены три церкви, пять театров работают во-всю...

(Сандрар)

Продолжая обобщать, современную урбанистическую поэзию можно разбить по главным стилистическим признакам на два подвида (кроме гибридов и отенков): 1) динамичность, точность, неметафоричность, 2) динамичность, точность, сближение дальних рядов. В дальнейшем буду говорить главным образом о втором виде.

Эта стилевая тенденция повидимому неотделима от системы восприятия жителя большого города, системы восприятия, которая воспитана машиной городской жизни с ее сложным, разнообразным ритмом, многообразным движением, постоянным «метаморфическим» сближением явлений, принадлежащих к разным рядам. (В пейзаже, над которым пролетаешь на аэроплане,—говорит Кокто,—происходят неожиданные сдвиги, сближения, появляются скалы, тени, резкие углы, неожиданные рельефы). Урбанистическая стилевая тенденция реализуется в разных литературах, при чем роль пресловутых влияний в этом нередко параллельно протекающем процессе ничтожна, во всяком случае—третьестепенна. Очень легко к первой попавшейся цитате из французской урбанистической поэзии подобрать чрезвычайно сходное место в русской.

1

Во всех этажах неба
Передвигают мебель теней.

(Ж. Кокто, 1915).

Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как-будто расходятся белые рабочие,
небу об явив озлобленную стачку.

(Маяковский, 1915).

2

Ветер с моря бросил кабинку
на купальщицу. Выстрел из карабина
(Кокто).

Море стреляет из зеленого пистолета.
(Асеев).

Постукивают метро моего сердца.
(Иван Голл).

По мостовой
Моей души изъезженной.
(Маяковский).

4

Поплыла на бал, на бал
на Бал, на Байкал, алла!
на бал, алла, А! поплыла с балалайкой...
(Макс Жакоб).

К последнему примеру, в котором дальние ряды (бал, Байкал, балалайка, алла) сближены на основе звуковой, артикуляционно-слуховой ассоциации, очень легко подобрать однотипные места у Хлебникова, Асеева, Кирсанова. Если сравнить «Мистерию-Буфф» Маяковского и «Свадьбу на Эйфелевой башне» Кокто (1921), видно, что, несмотря на то, что перед нами в первом случае—великолепная революционная, агитационная вещь, а во втором—великолепная «беспартийно-буржуазная» буффонада,—обе театральные поэмы принадлежат к одному стилю: плакатная обобщенность, выпрямленность линий, каламбурно-обнаженная цирковая условность построения и связанный с ней в нелогизм.

Ясно, что здесь не может быть речи о влияниях; в процессе параллельной реализации стилевой тенденции неизбежны сходные в технологическом отношении комбинации. Именно поэтому стихи Маяковского в переводе на французский язык выглядят не как чужеродные, а как

прекрасные стихи, близкие по стилю французской новейшей урбанистической поэзии, но часто — чуждые по целестремленности. В переведенном недавно на французский язык «Облаке в штанах» и в стихах Пастернака — если бы появились во Франции переводы из Пастернака, передающие специфику его поэзии, — французские урбанистические поэты должны узнать тот идеал, к которому в течение 20 лет стремится французская поэзия этого стиля.

Французскими урбанистическими поэтами «принцип сближения», как можно его для краткости называть, осознан. «Образ рождается не из сравнения, а из сближения двух явлений, более или менее удаленных друг от друга. Чем отдаленнее эти явления, тем более эмоционально силен и поэтически реален образ» (кубист Пьер Реверди). Так же осознана другая особенность этого стиля — внелогизм, который (в плане психологии творчества) связан с большей или меньшей импровизационностью.

Соединение противоположностей — крайний вид сближения дальних рядов — является в то же время наиболее стройной формой внелогического построения. «Несгорающий костер» (Маяковский), «Бессмертная болезнь» (Б. Перэ), «Рожденный повсюду» (Кокто). «Поэзия бьет логику, как Полишинель — полицейского комиссара» — сказал Леон-Поль Фарг, поэт, связанный с урбанистическим стилем слабо, поэт, творчество которого — мостик между символизмом Малларме и кубизмом Г. Аполлинера. Внелогизм, который приобрел права гражданства в поэзии Аполлинера, в дальнейшем начинает играть почти диктаторскую роль. Дальние ряды сближаются без мотивировок, на основе мимолетной обостренно-субъективной ассоциации. Субъективность ассоциаций подчеркивается демонстративно, как бы декларативно:

Это стихотворение из-за свсжей окраски
Озаглавлено: «Тросточка». (Кокто)¹.

¹) Концовка стихотворения «Тросточка», в котором ни о каких тросточках не говорится. Из Кокто примеры взяты, как из поэта типичного для французской урбанистической поэзии 1915—1921 гг.

Темп смены ассоциаций становится (не без влияния кино) ускоренным. Поэтом схватывается мгновенная ассоциация и лаконично бросается рядом с другими. Соседство — важный организующий момент, влияющий на смысловые оттенки членов стихового отрезка.

Для этой стадии развития урбанистической поэзии, пока не выработались стилевые стандарты, обычна естественность, произвольность ассоциаций, свободная импровизационность. В творческом процессе выпирает момент импровизации. По словам Жироду, создателя жанра урбанистической метафорической поэмы в прозе¹), он пишет всегда импровизируя. Импровизировал Аполлинер. Как бы издевательски внелогичен и «воинственно импровизационен» дадаизм. Флоберов принцип упорной работы, настойчивых поисков настолько скомпрометирован в урбанистическом секторе литературы, что Жан Прево в «Трактате для дебютирующих в 1929 году» как аксиому приводит следующее мнение: «Метод Флобера во многом неправилен. Его письма лучше написаны, чем его художественные произведения... Когда пишешь страницу с намерением впоследствии совершенно переделать ее, не особенно заботишься о том, как получается. Именно этот первый набросок, единственный, в котором запечатлелась живость ума, переделывать не приходится»²).

3

Еще до образования группы сюрреалистов Л. Арагон дал обоснование внелогизма поэзии, с которым, вероятно, согласились бы все французские левые поэты и Хлебников, и Пастернак: слова, помещенные в одном ряду, взаимно дают на семантику друг друга, вызывают ряд оттенков; слово имеет множество оттенков, на нем отпечатки различных ассоциаций, и лишать его этих оттенков, отрывать от наслоений нельзя.

¹) Такие вещи, как «Сюзанна и Тихий океан» гораздо ближе к поэме, чем к роману.

²) Импровизационность отдельных ассоциаций, клочков поэтической ткани, «заготовок» (термин Маяковского) конечно не исключает возможности дальнейшей обработки их.

[Сравни.: «Между А и Б
шевелиются знаки
инфра do
ультра si» (Кокто)]

В дальнейшем принцип внелогизма сюрреалистами углубляется, развивается. «Случайные оговорки никогда не лгут» (Поль Элюар).

В извозчикьем кабачке аперитивы
оранжевы,
но у машинистов на паровозах белые
глаза.
(Филипп Супо)¹⁾.

Развивая формулу современника Рембо «великого сюрреалиста» Лотреамона «не боязнь противоречить самому себе», А. Бретон в «Манифесте сюрреализма» предъявляет сюрреалистическому образу следующие требования: этот образ тем лучше, чем труднее перевести его на практический язык и чем больше содержится в нем явного противоречья.

Требование самовозникаемости положено в основу программы сюрреализма (психический автоматизм). Импровизационность играет в литературной практике сюрреалистов очень большую роль. Все сюрреалистические стихи — плоды импровизации. Нервно, страстно, беспорядочно импровизирует талантливый Луи Арагон в своих «поэмах-эссе», эссе-памфлетах. Не случайно то обстоятельство, что в «Приключеньях Телемака», первой своей вещи этого вида, Арагон несомненно отталкивается от Жироду²⁾, одновременно развивая приемы его импровизации, его образы, и снижая их, пародируя.

Сюрреалистическая практика находится в неразрывной связи с практикой предшественников, — урбанистических поэтов предыдущего призыва, — и если сюрреалисты декларативно объявляют творчество Лотреамона единственным идеальным пределом искренности и импровизационности и внелогизма, то в более обыденном, недеklarативном порядке, они не могут не признать (как один из зачинателей сюрреализма

¹⁾ С этими строками связан следующий «пучок» ассоциаций: кучера — машинисты — аперитивы (стекло с оранжевой жидкостью — фонари паровоза (стекло, «белые глаза»). Сближение дальних рядов со скрытой мотивировкой («белые глаза» подвыпивших машинистов).

²⁾ От книг «Сюзанна и Тихий океан» и «Эльпегор».

Ф. Супо), что на поэтов и прозаиков их поколения оказали влияние современники Аполлинер и Жироду¹⁾. Но вместе с тем мироощущение и мирозерцание сюрреалистов, подводя под их поэзию «философскую базу», пытаются сделать эту поэзию качественно отличной от искусства их предшественников и учителей.

Импровизационность превращается в автоматическую запись под диктовку мысли, в непосредственную фиксацию самовозникающих снов, грез. Внелогизм превращается в восстание против контроля разума, на много более осознанное, чем элементарный автоматизм дада, — доминирование «некоторых форм ассоциаций», типичных для сновидений, выплывающих из подсознания. По словам А. Бретона, диалог в конце его «Растворимой рыбы» не вызывает даже в нем самом никакого отчетливого чувства, и персонажи, участвующие в этом диалоге, кажутся ему такими же странными, действия их — такими же непонятными, как если бы их рождало зыбкое движение песка. Между тем душевнобольная Наджа как-то по-своему восприняла, почувствовала, поняла этот отрывок (А. Бретон «Nadja»).

Единственным источником искусства объявляется «область подсознательного», мир «высшей реальности».

4

Может возникнуть предположение, что современная урбанистическая поэзия, опирающаяся в технологическом отношении на сближение разных семантических рядов, проделала весь путь своего развития и, доведя до абсурда свои основные тенденции, в сюрреализме дошла до единственного возможного предела, так сказать, «до точки».

Это предположение было бы ошибочным. Диалектика развития стиля урбанистической поэзии сложнее. Различные классовые факторы из одних и тех же стилистических элементов создают отдельные поэтические образования, которые могут быть по-разному организованы и враждебны по целеустремлен-

¹⁾ Известно, что даже термин сюрреализм впервые употребил Гийом Аполлинер (в предисловии к пьесе «Les Mamelles de Tiresias», 1918).

ности. Одни и те же стилистические элементы могут приводить к неродственным явлениям: в области стиля прямыми потомками демократического всепримемлющего, всеблагословляющего, между всем ставящего знак равенства уитмэнизма оказались и демонстративно-крупнобуржуазная поэзия космополитического туриста Валери Ларбо, и поэзия декласированного буржуазного интеллигента бродяги Блэза Сандрара, и левая поэзия Гильбо, и политически заостренная поэзия американских пролетарских поэтов М. Голда и М. Магила. Классовый фактор, к какому бы классу художник ни принадлежал (восходящему, нисходящему, промежуточному), дает прежде всего отношение к действительности. Это отношение может быть активным и пассивным; в качестве высшей действительности, «высшей реальности» может фигурировать и внешний мир и внутренний, духовный.

В урбанистической поэзии на основе реализации одних и тех же стилевых элементов создаются диаметрально противоположные варианты: реальной действительностью оказывается и внешний мир, к которому поэт относится активно (Уитмэн, Пастернак, Маяковский), и внутренний мир, к которому поэт относится подчиненно-пассивно (сюрреализм); из одних и тех же элементов получаются различные системы. В первом случае изобразительные возможности урбанистического стиля служат резкому выражению отношения поэта к окружающей действительности (уитмэнизм, любая вещь Маяковского, стихи о Коммуне Рембо); во втором случае — пассивное отражение маячащего «пейзажа подсознания».

Маяр пишет вывеску лазурью и золотом,

Через год после свадьбы молодая жена поправляется, уж неделя как она родила первенца.

Гладкопричесанная американская девушка шьет на швейной машинке или работает на заводе, на фабрике, Мостовщик оперся на трамбовку, карандаш репортера порхает по записной книжке...

...Из всех них и из каждого я тку эту песнь о себе...

(Уитмэн)¹⁾.

¹⁾ Перевод К. Чуковского.

Металл, который ночь, металл дня, звезда в гнезде,

Игла в ужасе, плод в лохмотьях, хищная любовь,

Подставка для ножа, тщеславная грязь, лампа, залитая наводнением,

Любовные желанья, плоды терзанья, протитуированные зеркала.

Во всяком случае — здравствуй, мое лицо!

В тебе свет звенит еще светлей, большее желанье — как пейзаж...

(Поль Элюар).

В основе обоих отрывков — один технологический принцип: в первом — непосредственное сопоставление - параллель разных рядов, во втором — сопоставление - параллель метафор. Но системы получаются противоположные по устремленности, враждебные. Уитмэн щедро разливается по жизни, по окружающему меру; Элюар в своей любовной лирике уходит в «нижние этажи» сознания.

Нужно иметь в виду, что в чисто художественной практике сюрреалистов специфика этого течения проявилась гораздо слабее, чем в их философско-теоретических высказываниях. В стихах Элюара, Десноса, Супо, Арагона, Бретона, Б. Перэ, в прозе Арагона, Бретона в глаза бросаются прежде всего свободная импровизационность, непосредственность выраженья, непосредственность и богатая гамма интонаций, беспорядочность развития и стремительный темп (особенно, на фоне современной французской прозы, это заметно в прозе Арагона, Бретона).

Бесспорны успехи сюрреалистов — и в первую очередь одного из одареннейших и оригинальнейших современных французских поэтов П. Элюара — в уловлении отдельных, самых мимолетных ощущений (здесь проявляется характерное для урбанистической поэзии стремление к точности).

На доме смеха
Птица смеется в крылья.
Мир такой легкий,
Что сдвинулся с места,
И такой веселый,
Что не нужно ему ничего.

(Элюар)

Но вместе с тем наблюдается явление, которое можно назвать «империализ-

мом психического плана»; миром поэзии делается мир разорванных намеков, неотчетливых ощущений, ассоциаций, «высшая реальность» подсознательно — в ущерб «низшей реальности» окружающей действительности, бледнеющей, как бы рассасывающейся (кроме декларативных, показательных вещей, как запись снов, это относится главным образом к лирике). Тут-то и сказывается связь сюрреалистической практики с теорией. Как бы обнажая это явление, Арагон в книге «Парижский поселанин», чрезвычайно бурно написанной, дает реализацию формулы: внутренний мир — высшая реальность. В книге беспорядочно перемешаны два пейзажа: внешний, парижский, с внутренним, психическим, и внешний пейзаж играет демонстративно третьестепенную роль деталей психического пейзажа.

Неотчетливость, расплывчатость (именно расплывчатость, а не сложность) — функция творческого метода (психический автоматизм, отсутствие контроля со стороны разума). Свойственная урбанистической поэзии точность в выражении и изображении, подчиняясь психическому автоматизму, дает разорванность, расплывчатость:

Звонящий колокола случая в полном
полете

Они играют выбрасывая карты в окно
Желания выигрывающего
Идея по стопам уступок
Дотянулись до тела горизонта

Он спалил корни вершины исчезли
Он сокрушил барьеры солнца прудов
В ночных равнинах огонь искал зарю
Он начал все путешествия с конца
И по всем дорогам
И земля стала обновляться

(Элюар).

А. Бретон выдвигает требование, приводящее к чему-то уж совсем противоположному, истокам урбанистической поэзии: «красота — как поезд, который содрогается на Лионском вокзале и о котором я знаю, что он никогда не отправится». Этому требованию отвечает нецелестремленность сюрреалистической лирики, отсутствие поступательного движения в хаотической прозе Бретона и частично — в бурной, темпераментной, хаотической прозе Арагона. «Мы не мешаем больше повторять прекрасные слова Беркли: «Идея движения — пре-

жде всего идея инертная» («Сюрреалистическая революция»).

Социальные факторы из одних и тех же стилистических элементов создают противоположные по устремленности системы; динамичность превращается в развинченность, точность — в неотчетливость.

III. «Отдаем на службу революции наши специфические средства»

1

Презируя «низшую реальность» окружающего мира, уйдя в «духовное подполье», сюрреализм неоднократно пытался связаться с коммунистическим движением, наступающим на «разлагающуюся реальность» капиталистического социального строя.

В январе 1925 г. появляется декларация сюрреалистов, в которой они заявляют, что не хотят ничего менять в человеческих нравах и говорят о бескорыстном, одиноком и безнадежном характере их революции. Но уже через несколько месяцев они подписывают листовку «Революция раньше всего и всегда!», в которой противопоставляют себя капиталистической Франции. Немного раньше они выступили с протестом против войны в Марокко (правда, как утверждают их враги, слишком поздно, когда такое выступление не могло уже иметь актуального значения). В «Письме к П. Клоделю» (июль 1925 г.) они заявляют, что всецело желают, чтобы революции, войны, восстания в колониях «разрушили запавшую цивилизацию». В январе 1926 г. они берут в свои руки революционный журнал «Clarté», предполагая выпускать его под новым названием «Гражданская война». Но уже в июле 1926 г. «Clarté» выходит под прежним названием и редактируется не сюрреалистами.

Прижатые в угол логикой капиталистической действительности, они попытались бороться непосредственно с этой логикой. Они пробовали сочетать мистику и пассивность сюрреализма с ясностью и активностью революции. Марксу была уступлена область экономики — но и только. Революцию в области духовной совершают сюрреалисты:

так же, как коммунисты разрушают капиталистическое общество, сюрреалисты разрушают буржуазный разум, которым «больны» мы все (конечно, они не могли согласиться с тем, что больше всего классово чуждого может корениться в «нижних этажах» сознания и легче «перестроить» разум, а не «нижние этажи»). Арагон доказывал в «Clarté», что сюрреалисты, литературная богема, деклассированные интеллигенты, лишенные всяких материальных благ и бескорыстно ведущие свою работу, являются «пролетариатом духа». Поль Элюар писал о революционном движении в колониях. А. Бретон подготовлял революцию, выступая со статьями в «Clarté» и записывая сны для «Сюрреалистической революции».

Могли ли сюрреалисты активно относиться к революции? «Мы верим в неизбежность полного освобождения». Революция неизбежна и она должна случиться как катастрофа, как чума. По словам С. Ромова, наблюдавшего деятельность сюрреалистов на месте, «быть может, именно они повинны в том, что сейчас утверждается во Франции какой-то фетишизм революции... как сверхъестественной силы или чудодейственного начала». Одновременно с шумным переходом в лагерь настоящей, не безнадежной по характеру революции, вышел «Парижский поселанин» Арагона, в котором дан «пейзаж» его идеалистического мировоззрения; признание Маркса последовало сейчас же за признанием беспомощности диалектического метода. Сюрреалистический редактор «Clarté» В. Крастр, в связи с индустриализацией СССР, уговаривал художников не доверять этим мероприятиям III Интернационала в области «низшей реальности», просил их не увлекаться этой «эфемерной победой» и обратить взоры на Восток, «с его огромным сокровищем мечты, с его истинной мудростью».

Непосредственно после озорного конкурирования («соревнования») с папой сюрреалист Жозеф Дельтейль пришел к патриотизму, а некоторые другие сюрреалисты — к коммунизму. От патриотизма Дельтейля отдавало истерикой. Революционность остальных нередко казалась поверхностной; революцию сюр-

реалисты приняли только разумом, тем самым, который отрицают они, восстающие против «цепей разума».

Первый период попыток сюрреалистов включиться в революцию окончился скоро, фактически летом 1926 г., когда возродился прежний «Clarté» (сюрреалисты продолжали считать себя революционерами). Начинается отход на старые позиции, с некоторыми изменениями, — и только в этом смысле можно говорить об эволюции сюрреализма. Революция пока «что-то не случалась». А. Бретон спешит сообщить, что он во время прогулки не заметил по лицам рабочих и служащих, возвращающихся с работы, «чтобы они были готовы совершить революцию» («Наджэ», 1928). Арагон уже не объявляет себя метафизиком; «потусторонним» можно назвать только океан подсознательного с его «средиземным гулом». («Трактат о стиле», 1928). Он продолжает резко противопоставлять себя окружению, всей Франции, «родине», всей современной французской культуре, литературе, литературшине. Перечень «наболевших проблем» буржуазной литературы, список французских писателей звучат у него как ругательства. Вместе с тем поэзия обособляется от жизни. Взамен утверждения: «Я веду поэтическую жизнь» («Париж. посел.») — заявление: «Читая написанное мною, не забывайте, что язык литературы и язык жизни — разные языки, их грамматики не влияют друг на друга». Эта позиция позволяет Арагону восклицать: как можно сон (rêve) противопоставлять действиям — одно не исключает другого. Ведь действия — жизнь, а сюрреалистический сон, «ни к чему не применимое, бесполезное во сне», относится к другому языку, к поэзии. Сюрреализм Арагоном больше не пропагандируется как путь к «полному освобождению». Вместо претензий на массовость, вместо радостного клича: «уже размножаются автоматы» — разгром сюрреалистических «масс», толпы жалких бездарных эпигонов, не вносящих ничего нового. Для того, чтобы быть сюрреалистом, нужно обладать специальным дарованием. Сюрреалистический стиль — единственный, к которому нет рецептов; сюрреализм — про-

сто область искусства, опирающаяся на «особые методы мышления».

2

Весной прошлого года после опубликования «II-го манифеста сюр — ма» среди сюрреалистов произошел раскол. Р. Деснос, Рибемон-Дессэн и другие сюрреалисты, исключенные Бретоном из объединения и образовавшие новую группу, забросали «ортодоксальный сюрреализм» ливнем обвинений и разоблачений. Здесь и правильные указания на религиозный, мистический характер сюрреалистического движения, на то обстоятельство, что сюрреализм обещает своим последователям «фальшивую свободу» «идиотского созерцания», и обвиненья сюрреализма в том, что он занимается «кастрацией духа», и обвинения в буржуазном делячестве. Робер Деснос, чьи мгновенные «поэтические излиянья», «озаренья», лирические бормотанья, сеансы ясновиденья были важнейшими событиями в жизни сюрреализма, теперь выступил с «Третьим манифестом сюр — ма»: «Утверждение, что существует нечто сверхреальное, лживо. Кто верит в сверхреальное — вновь мостит дорогу к богу. Сюрреализм Бретона — одна из серьезнейших опасностей, угрожающих свободомыслию, самая замаскированная ловушка для атеизма, лучшая помощь возрождающемуся католицизму и клерикализму. Я, имеющий некоторое право говорить о сюрреализме, объявляю, что сверхреальное существует только для несюрреалистов. Сюрреалисты не признают ничего, кроме реальности, единой, цельной, открытой для всех».

О том, справедливы ли обвиненья Десноса, свидетельствует уточнение реакционной позиции сюрреализма как литературного течения, произведенное во «II манифесте» создателем сюрреализма Бретоном. «Всё заставляет думать, что возможно некоторое состояние духа (буквально — «существует место в духе, в сознании»), при котором («для которого») исчезает противоречье жизни — смерти, реального — воображаемому, прошлого — будущему, переда-

ваемого — непередаваемому¹⁾, верха — низу. Напрасны поиски других мотивов сюрреалистической деятельности, помимо надежды определить это состояние духа». Вместо анализа этой идеалистической «диалектики» достаточно продлить перечень: «...ж и з н и — с м е р т и, п р о ш л о г о — б у д у щ е г о, р е в о л ю ц и и — к о т р р е в о л ю ц и и...»

Так, уточняя, вождь сюрреализма обосновывает возможность идеального примирения противоположностей²⁾, неподвижности («пассивная жизнь ума» — сон?), которой позавидует иной богослов. Такова проделанная им эволюция: от простейшего экспериментального медиумизма времен I-го манифеста к мертвой, кафедральной устойчивости, неподвижности II-го манифеста.

Раскол среди сюрреалистов — их внутреннее, семейное дело. Но он свидетельствует о том, что приближается пора смерти сюрреализма как литературного течения, пора наиболее радикальной эволюции. Мистицизм сюрреализма сам по себе, неприкрытый революционными фразами, способен вести за собой только тех отчаявшихся, которые нуждаются в утешении самой обыкновенной, незауалированной религии. И основное ядро сюрреалистов здесь сделало шаг в противоположную сторону — сконденсировав всю свою ненависть к буржуазному окружению, сделало новый шаг в сторону революции.

3

В июле прошлого года вышел первый номер нового журнала под редакцией А. Бретона «Сюрреализм на службе революции». Значительная часть матерьяла, помещенного в журнале, говорит о том, что сюрреалисты снова, и несомненно искренне, хотят «служить революции». Об этом свидетельствует ряд их выступлений: и связанное с одним судебным делом обращение к коменданту Парижа с письмами, в которых они заявляют, что

¹⁾ «Communicable — incommunicable».

²⁾ Которое, видимо, в данном случае связано с характерным для урбанистической поэзии соединеньем противоположностей.

слово «отечество» не имеет для них «никакого смысла», «если только оно применено не к СССР, отечеству рабочих»; и слова Бретона в написанной с любовью статье о Маяковском: «Я более признателен Маяковскому, предложившему свой огромный талант на службу русской осуществленной революции, чем Маяковскому, заставляющему восхищаться яркими образами «Облака в штанах»; я люблю, не зная их (т. е. в полне доверяя¹⁾», эти агитационные плакаты, прокламации, которые он писал, чтобы мобилизовать все средства для победы первой пролетарской республики. Навсегда останутся они для меня вершинами творчества». «Сюрреализм на службе революции» критикует Бориса Суварина, облюбовавшего грязью коммунистов, отмечает перманентные ошибки еженедельника «Monde». На анкету Международного бюро революционной литературы журнал ответил: «Если империалисты объявят войну Советам, наша позиция будет соответствовать директивам III Интернационала, будет позицией членов французской коммунистической партии. Если вы считаете, что наши способности можно применить лучше, — мы в вашем распоряжении для всякого точного задания, использующего нас как интеллигентов... В нынешнем положении — конфликта, еще не дошедшего до открытых военных действий — мы считаем излишним откладывать: мы отдаем на службу революции наши специфические средства».

Нет оснований отрицать, что революции могли бы послужить талантливый журналист Бретон, блестящий памфлетист Арагон. Но ведь не в журнализме, не в памфлетности специфика сюрреализма. И здесь снова «проклятое прошлое», реакционная сущность сюрреализма как литературной школы тащит сюрреалистов назад. В тонко составленной декларации, опубликованной в журнале, они объявляют, что во всем согласны с А. Бретоном и решили «действовать в соответствии с выводами, вытекающими из II-го манифеста сюрреализма». Сальвадор Дали в статье теоретически - программного характера

пытается связать абсолютную пассивность сюрреалистической «автоматической записи» с контролем разума и активностью. Все это в соединении он находит в параноическом сознании. А как на идеальный вид творчества указывает на... архитектуру стиля модерн: «Ни одно коллективное усилие не привело к созданию мира сновиденья настолько чистого, цельного и настолько тревожного, как постройки стиля модерн, на которых поверх архитектурного костяка образуются настоящие отвердевшие желанья, воплощенья, которые благодаря своему неистовейшему, неумолимому автоматизму мучительно выдают ненависть к реальности и потребность в бегстве в некий идеальный мир».

Спрашивается: как можно отдать на службу революции свои специфические средства, т. е. свои литературные способности, исходя из положений реакционного мистического II-го манифеста? Переведите «добровольные галлюцинации» (термин С. Дали) типа архитектурного стиля модерн на язык литературы, и вы увидите, в какой мере такими «галлюцинациями» можно служить революции. В какой степени «систематизация смятения и способствование полной дискредитации мира реальности»¹⁾ могут служить «подготовке к окончательному вовлечению интеллектуальных сил нашей эпохи в дело помощи революции»?²⁾

Получается, как сказал Арагон: язык жизни (в данном случае — политические выступления) — один язык, литература — другой. Как ни искренни попытки сюрреалистов восстать непосредственно против логики капиталистического окруженья, — их литературная позиция, базирующаяся на мистическом мироощущении, аннулирует значение этих попыток. Каждый, кто знаком со спецификой сюрреализма как литературного течения, не может отнестись серьезно к их обещанью служить революции своими «специфическими средствами», — и если они не порвут со своим прошлым, т. е. с сущностью сюр-

¹⁾ Разрядка А. Бретона.

¹⁾ Обязанности сюрреализма в формулировке Дали.

²⁾ Последняя декларация сюрреалистов, подписанная 23-мя сюрреалистами.

реализма, их политические выступления все больше будут восприниматься или, с одной стороны, как судорожные, неактуальные порывы, с другой стороны — как вид «революционного снобизма», вид эпатирования, способный подействовать только на простодушных мещан или, в лучшем случае — вне всякой связи с теорией и поэтической практикой сюрреализма.

Деклассированная городская мелкобуржуазная интеллигенция, беспочвенная богема, сжатая между классами, повисшая в воздухе, чувствует себя в условиях капиталистического общества очень неважно. Она крайне неустойчива в социальном отношении. Под давлением событий часть ее может пригнуться магнитом революции, перестать висеть в воздухе, — и если бы во Франции году в 1923-м произошла революция, очень возможно, что сюрреализм как течение не возник бы (после революции во Франции ядро сюрреалистов, возможно, будет служить революции — не обязательно в области литературы)¹⁾.

В сюрреалистах годы войны и послевоенные годы воспитали не только не-

¹⁾ Характерно, что «второй революционный период» в жизни сюрреализма совпадает с периодом кризиса и антисоветской предвоенной прелюдии. Вновь более отчетливо повеяло социальным катаклизмом, гибелью «высшей реальности» капиталистического строя, столкновением революции с контрреволюцией, и сюрреализм реагирует на это стремлением занять революционную позицию.

нависть к капиталистическому окружению, но и пассивность, и всепоглощающий пессимизм. Это, вместе с их анархической развинченностью, сделало их выразителями законченной философии социального отчаянья. Неустойчивость, безнадежность, сознание собственной «нерезальности» в условиях капиталистического строя заставляют их метаться между попытками к социальной активности и другими способами сломать, нарушить логику окружающей действительности. Отсюда — бегство в сон, заинтересованность «проблемой самоубийства». Отсюда — потребность забыться («Я — просто продавец соса¹⁾), и мой снежок при мне» — говорит у Арагона персонифицированное Воображение); отсюда — метане между «устойчивой почвой» революции и все усиливающейся потребностью воспарить, вознестись над унылым реальным миром, найти «устойчивую почву» и вместе с тем — фальшивую свободу хотя бы в «идеальном мире» мистицизма.

А в плане развития урбанистического стиля сюрреализм показывает, как идеалистическое мировоззрение и мистическое мироощущение могут вылепить хаотическую, развинченную поэтическую систему из элементов урбанистического стиля, элементов, которые в руках поэтов-материалистов должны послужить материалом для создания синтетического, диалектического образа.

¹⁾ Кокаина.

4. „ЧАПАЕВ“ ФУРМАНОВА И СОВРЕМЕННОСТЬ

(К пятилетию со дня смерти)

А. Смирнов-Кутаческий

О герое

Фурманов подошел к нему критически.

Осторожно, тонко, несколько завуалированно поставил этот вопрос автор, но в то же время последовательно, в четкой диалектике, проведя его до конца. Задача автора — показать образ героя, агента революции, в реальном и

идеологическом смысле. Кто же он: командир или комиссар? Историческая личность Чапаева выросла в принципиальную тему. Она стоит пред сознанием писателя в виде основных жизненных противоречий. Две идеологосоциологических установки занимают его. Возмет стихийных сил, широкораздольная удаль, нечто от разиновщины и пугачевщины и старого ушкуйниче-

ства, и рядом деловой расчет, методическая выдержка, планомерность и сознательность в осуществлении социалистических задач — Чапаев и Федор Клычков в скрытой борьбе, в двух полярных устремленностях. Словом, два реальных факта жизни и вместе две системы художественных образов, а чрез них идеологических программ. Внешне на виду Чапаев. Он герой антиколчаковского фронта, командир чапаевской дивизии, герой Белебея, Уфы, Уральска. Но около него, вокруг него укрепляется, растет все шире другая сила — политического сознания, марксистского анализа действительности, ленинского прозорливого руководства в лице комиссара Федора Клычкова. Чапаев даже заслоняет. Автор, он же комиссар Клычков, вначале как бы загипнотизирован: задолго до появления Чапаева он подготавливает к нему читателя, с некоторым даже страхом и волнением думает и говорит он о нем.

«С таким героем... с Чапаевым... плечом к плечу, как это удивительно все сложилось. Что-то выходит сказочное: то я мечтал о Чапаеве, как о легендарной личности, то вдруг с ним вместе... Ух, интересно, чорт возьми, сложилось, думал про себя и чувствовал необыкновенное глубокое волнение (35 стр.).

Сам автор нередко, особенно на первых шагах, оказывался в трудном положении. Описание душевного состояния пред Сломихинским боем полно драматизма.

Он даже одиноким себя почувствовал среди этой тесной компании боевых товарищей... Не спалось. И не только не спалось — тяжело было Клычкову необъяснимой небывалой тяжестью (55, 57).

И несмотря на все, комиссар Клычков наконец завоевывает свое положение. Он становится нужным, его работа важной, необходимой здесь, и не только для докладов на тему «Какая разница между коммунистами и большевиками», но для самого Чапаева, который в конце концов не может расстаться с другом-комиссаром. Так Фурманов выдвигает в «Чапаеве» политическую

идею. Это ленинская мысль о кухарке, которая должна уметь управлять государством. В сущности здесь одна из главных советских идей, составляющих зерно социализма — об общественной значимости дела. При каждом Чапаеве должен быть комиссар Ф. Клычков, или по-другому: в каждом деле, в каждой специальности, в каждом гражданском герое чапаевского типа, специалисте, должно быть политическое сознание, социалистическая задача. Конкретно — здесь роль партии, дело пролетариата. Сочинение Фурманова не только разоблачение героя в толстовском смысле, развенчание его индивидуализма, но создание нового героя, пронизанного советским социалистическим воздухом. «Чапаев» Фурманова — преодоление всякой специализации, профессионализма и аполитичности. Только раскрываемая всегда в широкой социалистической идеологии, отрешенная от узости партикуляризма и партизанщины, в правильном понимании Рейна и Солянки («На кой мне чорт Рейн, а на Солянке я тут должен каждую кочку знать...») деятельность получает свое подлинное социалистическое выражение. Так сочинение Фурманова перерастает в изображение факта, историю чапаевских подвигов: в нем диалектически развертывается и углубляется страница за страницей политическая проблема современности, требующая еще новых иллюстраций.

Преодоление профессионализма и проблема загибов

Внешне — победитель и герой Чапаев; внутренне — победитель и герой Ф. Клычков. Все произведение на этом построенно — это показ преодоления, образец руководства. Чапаев — герой, организатор, созданный массами и сам ведущий вперед эту массу, с бесспорными заслугами практика-революционера, с головой ушедшего в революцию. Чапаев — образ всякого специалиста-практика, инженера-дельца, в котором делом поглощается все... до аполитичности. И каким ничтожным, бессильным пред таким мастером своего дела должен оказаться каждый «не-спец комиссар». Федору Клычкову предстояла трудная задача. Он намечает план действий. Основа

его — марксистский анализ действительности, учет всех условий, определяющих силу таких героев, как Чапаев. Осторожно, внимательно ведет свою линию Федор.

Мы видели его трудные переживания. Происходит несколько стычек с Чапаевым — ведь он всегда на границе произвола. (Бывали случаи расправы с комиссарами). Но Федор быстро, умело ликвидирует всегда разногласия. Он выступает после «речей» Чапаева с своим словом и незаметно направляет слишком «по-своему» выраженные социалистические взгляды командира. В нужную минуту он использует имя Фрунзе. При каждом случае он заводит с ним речи на политические темы. Чтоб верно действовать, Клычков старается уяснить себе смысл героизма Чапаевых. «В ореоле славы бить врага» (75 стр.). «Чапаевскую славу родили не столько его героические дела, сколько сами окружающие его люди» (135) — приходит к заключению он. И чем больше вырисовывается для него обыкновенность, простая человечность их, даже слабости, тем сильнее идет нажим идеологического воздействия. «Учиться надо». В конце концов это становится самым чувствительным больным местом Чапаева. Нажим сюда всегда дает нужную реакцию, открывая доступ тому, что принес с собою «штатский», «штабный». Их ли не ненавидел Чапаев, и сам оказался во власти нового штабного.

И уже происходит такое: в речах Чапаева Федор вдруг слышит мысли и чуть не слова, которые были сказаны Чапаеву. Иногда это в самой неожиданной форме. Взять хотя бы случай, когда Чапаев убеждает послать хлеб голодающим рабочим Москвы. Допустимо ли, вероятно ли, чтобы командир партизанского отряда, в котором по условиям жизни несомненно было не ахти какое питание, вдруг стал высказывать такие взгляды? Во всем этом видно воздействие Федора. Клычков — образцовый педагог. Он дружески, без ущемления самолюбия, одним интуитивным воздействием и убеждением перевоспитывает Чапаева и притом так, что Чапаев остается самим собою, ни в чем не изменяя, не противореча самому себе. И что же в результате? Чапаев убит. Пуля

догнала его у самого берега, похоронив в волнах Урала. А его отряд продолжал свое дело, потому что, сцементированный прочно, он исполнял не только волю Чапаева, но и революционное дело. Следует и дальше сделать вывод.

Всем этим руководством Федор разъясняет современную проблему загибов. Сочинение Фурманова можно рассматривать как своеобразную политграмму политической работы. В лице Клычкова показана деятельность советского работника в ее подлинном виде — без загибов: без насилия, теоретизма и формализма. Как было бы легко сделать эту ошибку Фурманову: стоило бы в заглавной роли поставить не Чапаева, а Федора Клычкова. Ведь основная тенденция произведения в этом. Но автор нигде не позволяет своему второму герою стать на первое место. Руководство без грубых загибов, без перегибов в сторону, вправо или влево, требует осторожности, знания окружающей обстановки, движущих сил действительности, внутренней работы, а не механического только воздействия. Незаметно, но твердо и последовательно, медленными, но верными шагами, изучая препятствия, используя все возможности, марксистски исследуя действительность, Клычков ведет свое дело, и это в обстановке гражданской войны, партизанщины, всяческих эксцессов, случайностей. Какой урок в этом для всяких загибщиков, не считающихся ни с чем, кроме своего права! А ведь этими полномочиями в полной мере владел Федор.

Классовая основа „Чапаева“

Вся постановка вопросов, выдвинутых «Чапаевым», является не случайной, не отвлеченно-идеологической. Она имеет прочную классовую предпосылку и программу, делая всю систему образов и развитие взглядов детерминированными и закономерными.

Чапаев и Клычков — кто они по своей классовой сущности, что определило их облик и характер поведения, а также образов, в которых даны оба эти героя? Один — представитель крестьянства, другой — пролетариата. Не один раз останавливается Фурманов на крестьянской основе Чапаева, стараясь не толь-

ко внешне, но классово-углубленно показать, осмыслить народного героя.

Чапаев—герой, рассуждал Федор с собою. Он олицетворяет собою все неустойчивое, стихийное, гневное и протестующее, что за долгое время накопилось в крестьянской среде. Но стихия — чорт ее знает — куда она может обернуться (49).

Это несомненно народный герой, рассуждал он с собою, герой из лагеря вольницы Емельки Пугачева, Стеньки Разина, Ермака Тимофеевича. Те в свое время дела делали, а этому другое время дано, он и дела творит не те (25).

Главная черта Чапаева — удаль. Это тот старинный знакомец, разудалый добрый молодец, о котором слагались песни и рассказы, память о которых уходит в поколения. Все чапаевцы живут одной общей жизнью. Сам предводитель, командарм, на вечеринке отплясывает заливхватски русскую. Чапаев любит петь песни, и не какие-нибудь революционные, а простонародные, особенно где звучат эта широкая стихийность природы и удаль. Говорит ли речи Чапаев — в них нет ничего ораторски искусственного. Это все обрывки отдельных мыслей, эпизодов, фактов, сопровождаемые эмоциональной экспрессивностью, как говорят на сходке привычные деревенские ораторы. Словом, пред нами — детище деревни, отпрыск крестьянского мира. Даже рассказ о происхождении от дочери казанского губернатора звучит долей похвалы, на которую нередко бывают падки поднявшиеся на высоту выходцы из деревни.

Совсем другое Федор Клычков. Его социальная подпочва — пролетарский класс. Скупое рассказывает автор о самом себе, но некоторые черты характерны. Вся студенческая юность Клычкова прошла на работе в качестве руководителя и агитатора среди фабричных кружков. Старыми дореволюционными связями он близок иваново-вознесенским рабочим, и они его знают и любят, видя в нем своего. Так Федор Клычков, в противоположность Чапаеву, вырос и усыновлен пролетариатом. От него он взял классовую сознательность, здесь сложилось его умение и

практика политического руководства, здесь его прочные организационные и идеологические связи. Показательна первая сцена, с которой начинается повествование Фурманова. Иваново-вознесенские рабочие провожают свой отряд. Ни жалоб, ни протестов, ни каких-либо резких невольных выходов. Глубокая сознательность тысячной толпы делает картину проводов строгий, серьезной, полной внутренней убежденности, правоты и силы. Может быть, это в известной мере сильно романтизировано, как и, в другом роде, романтизирован образ Чапаева и жизнь отряда в поезде. Беседы, лекции, чтение, а потом революционные песни — все эти бойцы в миниатюре Клычковы, едущие не только с боевыми задачами Чапаева, но и выполняющие дело своего класса.

В этой классовой основе обоих героев открывается общая перспектива произведения, и становится понятным его идеологический смысл. Мало сказать, что в основе его заключается лозунг «смычка города с деревней» (на эту тему написана «Неделя» Либединского). Здесь более глубокая проблема взаимоотношений крестьянства и пролетариата. Фурманов развернул в «Чапаеве» современную советскую проблему руководства пролетариата над деревней, организации на социалистических началах ее жизни. И это вышло хорошо: картиной отправляющегося на фронт иваново-вознесенского отряда начинается сочинение — поход на деревню рабочих и стихийное брожение революционных сил крестьянства. Вот почему так торжественно строго звучит эта увертюра: она пролог глубокого, серьезного дела социалистического строительства.

Несколько слов по поводу поэтики „Чапаева“

Содержание не отделимо от формы. Среди сказанного многое должно быть отнесено к поэтическому спецификам произведения. Общие идеологические задачи и тематическое содержание определили его композиционную и стилистическую форму, сделав ее закономерной и характерной в своем выражении. Мы видим все время двуплановость произведения. Рассказ ведется в двух разрезах,

по двум линиям своих героев. Это создает скрытую контрастность рассказа, дополняемую другими персонажами (Елань, Рыжиков). Двуплановость сочинения осложняется еще особым обстоятельством — тем, что одним из героев является сам автор и от его лица идет самый рассказ. Этот факт обострил положение второго героя. Как бы мы ни игнорировали роль биографического момента в анализе художественного произведения, наличие его оказалось остро ощутительным в данном случае. В «Чапаеве» сплелись истории двух жизней: объективная — яркая, показательная жизнь литературного героя, и субъективная — личная жизнь автора. Отсюда и все произведение стало несколько необычным. Ни роман, ни мемуары — по отзывам критики. Оно последова-

тельно и законченно: от пролога — отправки отряда ткачей, через перипетии борьбы героев, сначала с резкими колебаниями, потом завершенной дружеским единством, до «финала» смерти Чапаева и дальнейшего движения отряда — все здесь художественно и целю, и тем не менее это такая же субъективная, быть может, даже интимная история личной жизни, как и объективный исторический рассказ, отчет о былом. Все это сделало стиль «Чапаева» прозаическим, без литературной ухищренности и образности. Зачем ему эта красочная колоритность речи, изысканность образов, особое техническое мастерство приемов? Ведь это дневник, рассказ из личной жизни, повествование про былое, но с идеологической устремленностью современных политических путей.

За рубежом

1. С. ДАЛИН. У тихих фиордов.— 2. В. ТАН-БОГОРАЗ. Учеба и ученость в Америке.

У ТИХИХ ФИОРДОВ

(Из скандинавских очерков)

С. Далин

1. По пути в Берген

Железнодорожный путь из норвежской столицы Усло в Берген соединяет узкую полосу пролива Скагеррак между Балтийским и северным морями, где расположена столица, с открытым Атлантическим океаном, подмывающим Берген.

Более выгодное расположение Бергена сделало его морской столицей Норвегии, в то время как Усло является больше сухопутным городом и поэтому менее характерен для морской Норвегии. Берген поэтому больше врезывается в память, чем Усло.

Меня как-то поймал на слове один швед, когда я ему сказал, что уезжаю на некоторое время в Европу. Он удивился и спросил: а разве Стокгольм не Европа? Вопреки географической истине, пришлось ответить — нет, не Европа. Скандинавия настолько самобытна, что например Берлин после Стокгольма представляет более резкий контраст, чем после Москвы.

Берген тем отличается от Усло, что в первом больше чувствуется Европа, чем во втором. Примерно такое же впечатление остается от шведского Гетеборга после Стокгольма, несмотря на то, что как Берген, так и Гетеборг меньше своих столиц.

Для туристов путь из Усло в Берген представляет большой интерес. Дорога идет через горный хребет, подымаясь до линии вечных снегов. Природа за двенадцать часов езды быстро меняется. Сквозь сосновые леса вы поднимаетесь вверх к горным кустарникам и доходите до голых, покрытых зелеными лишаями скал и камней. Выше большими полосами лежит снег. Красоты Скандинавии особенно и своеобразны — это красоты горного, каменистого севера.

В вагоне много иностранцев. Преобладает английская речь, наиболее распространенная из иностранных в Норвегии.

В купе против меня сидит пожилой человек лет пятидесяти в спортивно-охотничьем костюме цвета хаки.

На стене висит его ружье в чехле, спящий мешок и дождевик. Как всюду в поездах за границей, мы сидим четверо в купе и молчим. Слышен лишь шелест газетных листов. Потягиваешься, смотришь в окно и беспрерывно куришь. Скучно.

Молчание нарушает охотник.

— Разрешите узнать, на каком языке вы говорите: немецком, французском или английском, и позвольте представиться (имя рек).

Так завязывается беседа. После штампованных вопросов и ответов, взаимных любезностей и угощений сигаретами узнаешь, что в этом дешевеньком охотничье-туристском костюме едет довольно известный капиталист Норвегии. И как только он узнает, что его собеседником является советский гражданин, разговор моментально переходит на политические темы.

Интересно, что он не злобствует против СССР, — злоба давно уж видно перекипела. СССР для него факт, который тяжелым крестом улегся в его памяти, но факт, с которым нужно считаться, тем более, что с СССР можно неубыточно торговать. И это для него сейчас главное. Он интересуется строительством, признает, что твердые государственные цены на хлеб и борьба со спекулянтами, «как это ни печально, но разумны», и наконец его интересует Турксиб в связи с проблемой хлопковой независимости СССР.

Буржуа — не мещанин и не обыватель, он не тратит напрасно свои силы на злобный хрип, ненависть и «моральное негодование». Он внимательно и молча следит, что делается у нас в СССР, что и как строится, подсчитывает и соизмеряет силы, молча готовится к бою, но шепчет, лить потоки лжи и клеветы он предоставляет своим парламентариям и газетчикам. Сейчас он интересуется больше своей собственной страной. С Россией ничего не поделаешь, главное сейчас — не допустить победы коммунистов в своей стране.

— Впрочем, в случае чего, перевозку свои капиталы в Швецию или Америку и — адье, Норвегия.

Об опасности коммунизма в Норвегии тамошняя буржуазия очень много говорит. Сначала это даже удивляет, что буржуазия Норвегии так много говорит о непосредственной опасности коммунизма. Оказывается, здесь произошла «досадная» ошибка, закончившаяся приятным для буржуазии разочарованием.

Мой собеседник подробно рассказывает мне эту историю.

— Транмелья мы все считали коммунистом. Некоторые круги буржуазии считают его коммунистом до сих пор. Правда мы знали, что Транмель разошелся с Коминтерном. Особенного значения мы этому не придавали: «сектантские споры внутри коммунизма». И вот представьте себе, на последних выборах в парламент партия Транмеля одержала победу. Было создано в январе 1928 года транмелистское правительство. У нас началась паника. Из страны началась эмиграция не людей, а капиталов. 10 дней просуществовало правительство Транмеля, и, увидев, что капитал бежит и хозяйственная жизнь нарушается, правительство ушло по всем парламентским правилам. Понимаете, ушли. Тогда мы поняли, что Транмель не большевик, не коммунист. Большевики вероятно так просто сами не ушли бы.

Про Октябрьскую революцию Джон Рид написал книгу: «10 дней, которые потрясли весь мир». Сейчас мой собеседник рассказывает мне о десяти днях, которые потрясли Транмеля.

— Знаете, Транмель мне предлагал пост «угольного диктатора». И отказался и собирался ударить из Норвегии. Теперь Транмель уж не страшен. Он уж связан с Амстердамским интернационалом. Правда до новых выборов он открыто и формально не присоединится к Амстердаму.

— Почему?

— Потому что он умный человек. Во время выборов рабочим он будет говорить, что он против Амстердама, нам он будет говорить, что он против Москвы, и таким образом попытается собирать голоса из всех классов. Но еще одной победы он все же не одержит.

Позже в Норвегии часто приходилось сталкиваться с трепетом средней буржуазии перед «коммунизмом» Транмеля.

Проснувшись как-то рано утром в вагоне поезда, шедшего из Копенгагена в Усло, я услышал раздававшееся с верхней полки непонятное, но знакомое по мотиву нашептывание. И заглянув наверх и увидел черную голову, обмотанную ремнями. На боку торчал черный кубик — иудейская рогатка. Это был норвежский еврей, совершавший свою утреннюю молитву.

Позже он рассказывал мне о двух еврейских синагогах в Усло, о норвежских блондинках, вышедших замуж за евреев и принявших иудаизм. Он горько жаловался на норвежский парламент, приняв-

ший закон о запрещении закалывания скота и птицы по еврейскому закону, но он еще больше жаловался на налоги в Норвегии.

Он живет в небольшом норвежском городке, имеет там дом и магазин готового платья.

— Все было бы хорошо, но налоги, налоги... — Он называл мне действительно высокие налоговые ставки, особенно коммунальные.

— О, эти коммунисты, это им принадлежит власть в нашем городе, это они облакаывают нас такими налогами...

Я удивился. — Как коммунисты?

— У нас в Норвегии две коммунистические партии: одна Арвида Гансена, а другая — Транмеля. В нашем городе муниципалитет находится в руках партии Транмеля...

— Да, но Транмель ведь не коммунист...

— Арвид Гансен борется с Транмелем, но оба они коммунисты.

Так, несмотря на то, что Транмель давно исключен из Коминтерна, в Норвегии живет еще легенда о якобы его коммунизме. В маленьких городках еще не знают правды о нем, но мой собеседник уже знает, что партия Транмеля не коммунистическая, что она «понимаете, отказалась от власти по всем правилам парламентаризма».

Сам Транмель среди рабочих поддерживает легенду о своем якобы коммунизме, ибо он боится говорить о себе правду, которая не понравится рабочим, по крайней мере только норвежская буржуазия, но и иностранная буржуазия знает уже правду о Транмеле, она его уж не боится.

«В настоящее время сторонники возвращения в Амстердам стали преобладать» — так пишет о партии Транмеля последний опубликованный доклад домакдональдовского британского посольства в Норвегии об ее экономическом положении.

Нельзя английскому посольству в Усло отказать в марксизме: оно оценивает возвращение Транмеля в лоно II интернационала в связи с экономическими перспективами.

Мой собеседник прав. Ему можно верить, когда он заявляет, что Транмель уж не опасен для буржуазии. Но легенда о его коммунизме пока еще гуляет по Норвегии.

2. Берген

В Скандинавии почти нет городов, которые сохранили бы следы своего исторического развития. Лишь на одном Бергене, этой древней столице Норвегии, лежит печать средневековья.

В Бергене нет старинных феодальных замков, подземных казематов и памятников феодальной роскоши, державшейся на крепостном труде. Берген был врагом феодалов, вольным, независимым городом купцов.

Основанный в XII веке, он в середине XIV века перешел в руки ганзейских купцов. Так до XVII века Берген был колонией германской Ганзы, самым крупным торговым городом в Скандинавии, городом-

республикой ганзейских купцов, не допуская на свою территорию ни одного вооруженного феодала.

Как купеческая средневековая республика Берген был бельмом на глазу у феодалов. Теперь он — бельмо на глазу у норвежской буржуазии: Берген — оплот коммунистической партии Норвегии.

До сих пор сохранилась в Бергене ганзейская часть города с ее трехэтажными деревянными острокопечными домами, с узкими проходами-уличками между ними, а в одном из домов, который превращен в музей, сохранилась утварь, мебель, постели, конторки и счетные книги, древние образцы товаров ганзейских купцов и даже шашки, в которые на досуге играли купцы. Следов феодальной роскоши здесь нет и в помине, пурптанским духом жизни веет от спальни-шкафа ганзейского купца. Рядом с ним в его же доме жили его подмастерья. Спали они в узких трехэтажных запирающихся парах, которые напоминают конуры для собак. В конторке у купца до сих пор висит плетень, который был ганзейский купец своих подмастерьев. Эти памятники средневековой эксплуатации сохранились до сих пор. От них тянется нить к современности, к бергенским баракам, где живет около тысячи безквартирных рабочих, баракам, которые в будущем станут памятниками капиталистической эксплуатации.

Фундуклер поднимает вас на одну из семи бергенских гор. Оттуда город — как на ладони. Острым плоским мысом он врезался в горло фиорда. В узких долинах между гор расположились его окрестности, где живут рыбаки и рабочие. В гавани дымятся пароходы всех флагов, по из всех дымков запомнились бергенцам дымки ледокола «Красин», о котором говорят еще до сих пор.

Берген — столица норвежских пароходчиков. Массивные здания правлений норвежских пароходных обществ находятся не в Усло, а здесь в Бергене. В пароходы норвежская буржуазия вложила большую часть своих капиталов; тоннаж норвежского торгового флота составляет более 3.300.000 тонн, т.е. Норвегия имеет самый большой в Скандинавии торговый флот, занимая почти равное место в мире с Францией, Италией и Германией. Этот флот управляется Бергеном, являющимся одним из крупнейших в мире фрахтовым рынком.

Рядом с «Немецкой гаванью», где расположен старый ганзейский город, на площади у бухты, в центре города, находится рыбный рынок, вторая достопримечательность Бергена. Он так же стар, как стары ганзейские дома. Рано утром прямо с улова сюда приходят на своих лодках рыбаки. Улов выволакивается на столы, рынок наполняется домашними хозяйками всех классов и туристами. Рыбаки стоят измазанные кровью у огромных рыбач, напоминающих порой свиные туши, и чистят покупателям рыбу. Единственный в

Скандинавии негр-газетчик — третья достопримечательность Бергена — выкрикивает по-норвежски название газет, дополняя собой картину рыбного рынка.

В это время запах сырой рыбы разносится по всему Бергену. Запах рыбы — это запах всей Норвегии, но здесь он наиболее бьет в нос.

Беспрепятно льют дожди в Бергене. Кажись, это самое мокрое место в Европе. В дни, когда мы были здесь, дождь лил без перерыва более месяца. Дождь — неотъемлемая особенность Бергена, он определяет внешний облик бергенцев и в некоторой степени их быт. Бергенцы ходят в черных клеенчатых дождевиках, резиновых сапогах и над головой неутомимо держат зонтик. Когда смотришь из окна на бергенские улицы, людей не видишь, лишь толпы движущихся зонтиков. Вечером, не смотря на дождь, на главной улице происходит гулянье и флирт под зонтиками.

Но дождь заставляет все же проводить время где-нибудь под крышей. Дома не сидится: скука. Куда-нибудь нужно пойти, уйти от домашней скуки, от тяжести дождя. И уходят куда угодно и больше всего в рестораны с танцевальными залами. Более пожилые собираются где только возможно, пьют и играют в карты.

Было воскресенье, и как обыкновенно лил дождь. Мы отправились с группой рабочих в народный дом, где помещаются правления профсоюзов, клуб и кафе. В кафе потолок изукрашен красными звездами с серпом и молотом. Коммунизм положил свою печать на этот старый рабочий дом.

Мы поднялись наверх в клуб. Комнаты были полны табачным дымом и рабочими. Они сидели сосредоточенно за столами и играли в карты. Это была печать дождливого Бергена на рабочем клубе. Единственно, чего могли добиться коммунисты, — это прекращения денежной картежной игры. Впрочем иногда и теперь денежный расчет производится, но вне клуба.

В центре Бергена — пустырь. Кажется, во время войны огромный пожар уничтожил целую часть города. После пожара рабочих-погорельцев поместили во временные, наспех построенные бараки, в которых ютятся и в настоящее время около пяти тысяч человек. В каждой комнате этих сырых барачков ютятся целые семьи. Бесчисленные государственные и коммунальные комиссии не раз характеризовали эти жилища «бараками смерти», но всегда рабочих успокаивали, что жить в них придется только временно, пока не будут выстроены новые дома. Но «временно» затянулось, а пока в бараках смерти рождаются, живут и успевают умирать еще до переезда в новые дома.

Новые дома действительно строятся. На выгоревшем месте, где жили когда-то рабочие, уже растянулись широкие улицы с высокими шестизатжными домами, выстроенные в самом современном стиле с самыми последними достижениями комфорта и

удобств. Таких домов не имеет столица Усло. В этих домах помещаются первоклассные отели, банки, конторы, магазины и роскошные квартиры. Но все они не для рабочих. Они «временно» еще будут жить в бараках смерти.

А между тем рабочие платят неслыханно высокие налоги и главным образом коммунальные. На эти налоги можно было бы выстроить целый новый Бергеп. Коммунальные налоги составляют 18 проц. и государственные 2 проц., т. е. всего 20 проц. зарплаты. В среднем из годовой зарплаты двухмесячный заработок рабочего уходит на платежи налогов. Такова цена борьбы демократии с бараками смерти.

Мы посетили эти бараки и говорили с рабочими, смотрели, как они живут. Сырость, спертый воздух, теснота и болезненно бледный цвет лица у детишек — это первое, что бросалось в глаза. Все же нужно отметить, что всюду поддерживалась чистота, которая несколько смягчала картину.

Жена одного коммунального рабочего рассказывала про жизнь своей семьи. Муж ее получает 30 крон в неделю (15 рублей). Семья состоит из пяти человек. Мясо и масло не входит совершенно в меню этой семьи. Впрочем на праздники, по во всяком случае не чаще одного раза в месяц, бывает мясной обед. Вместо масла употребляют только маргарин. Стол совершенно стандартный. Разнообразия почти нет. Утром завтрак, состоящий из кофе и хлеба с маргарином, в час дня обед — обыкновенно рыба с картошкой и пе мясной суп, в семь часов вечера ужин, т. е. чай с хлебом и маргарином. Младший двухлетний ребенок получает ежедневно немного молока. В общем и целом этот стол типичен для среднеоплачиваемого норвежского рабочего. На это уходит примерно 15 крон в неделю, остальное идет на налоги, квартиру, отопление и освещение, текущий ремонт платья и обуви. Даже при такой низкой зарплате рабочий ухитряется еженедельно откладывать сколько-нибудь в сберегательную кассу. На эти сбережения приобретает новое платье и обувь. Как правило, сбережения идут только за счет стола. Покупки производятся очень редко. Рабочий, с которым мы говорили, уже полтора года не покупал никакой обновы для себя и жены, все уходило на детей.

Случайно мы узнали здесь секрет высокого пособия по безработице в Норвегии. Оказывается наш собеседник был безработным. По профессии он рабочий на мельнице. Работая на мельнице, он получал 60 крон в неделю. Теперь он получает 30 крон в неделю пособия по безработице. Таким образом это пособие составляет 50 проц. его прежней зарплаты. Но оказалось, что это «пособие» должно быть отработано. Несмотря на столь высокие налоги на рабочих, даром здесь пособия не дают. Четыре дня в неделю за это пособие этот рабочий обязан работать в коммунальном каменном карьере или на дорожном строи-

тельстве и т. д. Если безработный не выйдет на эту работу, прекращается выплата пособия. Таким образом, муниципалитет с лихвой покрывает то пособие, которое он выдает безработным.

Мы не знали ничего о политических настроениях этого рабочего. Мы поэтому спросили его, принимал ли он участие в первомайской демонстрации. Мы получили ответ на интересовавший нас конечный вопрос прежде, чем ожидали.

Рабочий несколько сконфузился и ответил, что первое мая в демонстрации не участвовал, так как в этот день уехал в родным за город, но в демонстрации первого августа он участвовал всей семьей, ибо детишек пришлось взять с собой, так как не на кого было их оставить.

— А вообще я беспартийный, но во время выборов голосую за коммунистов.

Мы были на квартире у квалифицированного рабочего, живущего не в этих бараках. Это металлист, получающий 60 крон в неделю. Здесь в семье были уже взрослые дети: один школьник, другой студент. Вместо виденной нами прежде одной комнаты, квартира этого рабочего состояла из двух комнат. В квартире было уютно, чисто. На полках стояли книги, на столе лежала газета. Мебель была более чем скромная, но все же чувствовалась здесь большая состоятельность, чем в бараках. И все же и здесь господствовали маргарин и рыба. Стол мало отличался от уже описанного. Большая зарплата уходила здесь на большую квартиру, на книги и тетради для школьников. Дети ходят и в кино, между тем как первый рабочий рассказывал, что уж два года ни разу не был в кино. Одним словом, более взрослая семья требовала больших расходов, но сизва все это достигалось за счет стола. Новая одежда и обувь и здесь были редким явлением.

— Купишь костюм, — на пять лет должен хватить.

Это тоже был беспартийный рабочий. Он выписывал две газеты: одну коммунистическую, другую буржуазную.

— Эту выписываю для политики, а вот ту буржуазную для культуры. Меня интересуют культурные вопросы, а в коммунистической газете об этих вопросах не пишут.

Этот квалифицированный металлист требовал от коммунистической газеты, чтобы она ему давала и новости науки, техники, искусства. К сожалению рабочие, которые пишут и редактируют бергенскую коммунистическую газету «Арбейтед» («Труд»), не могли этого дать не по причине своего отсталого культурного уровня, а из-за отсутствия средств на издание большой газеты. Эту брешь металлист, который между прочим также голосует за коммунистов, заполнял буржуазной газетой.

«Арбейтед» — самая распространенная в Бергене рабочая газета. Социал-демократическая газета имеет и меньший тираж и меньшее влияние.

Во время раскола в связи с исключением транснационалистов из Коминтерна коммунисты получили в Бергене большинство. Как большинство они сохранили за собой не только газету с типографией, но даже название партии, которая до сих пор называется: «Рабочая партия Бергена, отделение коммунистической партии Норвегии, секции Коминтерна». Нигде в Норвегии, кроме Бергена, да и вероятно нигде в мире вы не столкнетесь с таким явлением, когда местная организация компартии имеет название чужой партии. Это — особая достопримечательность только Бергена. Впрочем нужно признаться, что особое название отражает некоторый сепаратизм не только бергенской, но и других местных организаций от центра, сепаратизм провинций, который характерен для Норвегии вообще с ее слабой сетью путей сообщения, горными хребтами, которые изолируют части страны друг от друга.

В Бергене около 100.000 жителей. Рабочих здесь около 10.000 человек, которые вместе с семьями составляют около трети всего населения. Организованных в профсоюзы рабочих здесь только около 6.000 человек. Руководство многими профсоюзами находится в руках коммунистов. Берген поэтому считается цитаделью норвежской компартии.

Но дух древней средневековой Ганзы царит еще и по сие время в рабочем движении Бергена. До сих пор средневековая цеховщина лежит в основе организации бергенских рабочих. В Бергене 60 различных профсоюзов на 6.000 человек. Берген, столица норвежских паромщиков, шибредоров, как их называют в Норвегии, стоит на том же уровне организационной системы рабочего движения, на каком оно стоит в самых далеких средневековых городах современного Китая.

Только, кажется, пять из этих 60 профсоюзов находятся в руках бергенских социал-демократов. Это союз мебельщиков с 150 членами, союз каменщиков с 19 членами, союз типографских рабочих с 200 членами, союз рабочих строителей гавани с 60 членами и салонщиков с 100 членами. Одни только названия этих профсоюзов характеризуют и остальны 55.

Бергенские металлисты, следующие за компартией, распадаются на пять, а стронтольные — на семь различных профсоюзов. Право же удивительно при такой цеховщине, что во время организованной бергенской буржуазной демонстрации-протеста против попытки переименования Бергена в Бергвейм, на улицы вышло 30.000 человек. Шли предприятиями, при чем рабочие каждого завода и фабрики возглавлялись в демонстрации хозяевами и директорами.

Такова эта своеобразная вторая столица Норвегии. Средневековые срослось здесь с современностью, рядом с ультрасовременными зданиями сохранился еще древнеганзейский город, бок-о-бок с современным коммунизмом уживается еще средневековая цеховщина.

3. Одда

Красоты и кивоватты

Из Бергена пароход отходит в Одду вечером. Он не выходит в открытое море, он идет на юг, скользит между островами и островками, пока не войдет в один из самых красивых в Норвегии фиордов, так называемый Хардапгер-фиорд. Фиорд широк и извилист и, когда с палубы озираешься по сторонам, видишь кругом горы. Создается впечатление, что пароход идет не по морскому заливу, а по озеру. Пароход идет дальше. Перед вами открываются между гор узкие ворота, и по мере того, как вы приближаетесь к этим воротам, горы расступаются, дают дорогу пароходу. Это — очередной изгиб фиорда. Так идет пароход по фиорду всю ночь на северо-восток, пока наконец к утру он резко меняет курс на юг. Фиорд прямой узкой стрелой падает вниз, идет все время сужаясь, пока не упрется беспомощно в гору. На этот раз ворот уже нет. Фиорд врывается в горную цепь и застыл. Дальше идти некуда. Пароходная сирена воет и ревет. Семь часов утра. Вы выходите на палубу. Вас обслуживают комиссионеры с бляхами на фуражках: «Гранд Отель», «Госпите Отель» и т. д. Вы находитесь теперь в Одде.

Со всех концов мира — из Америки, Австралии, Африки — сюда приходят пароходы. Пароходы разные: грязные грузовые и точно накрахмаленные пловучие дворцы, в которых принцы и принцессы доллара совершают свои увеселительные прогулки по Европе. Пресыщенные Парижами и Берлинами, они отправляются в Одду любоваться красотой Норвегии. Сказочные водяные, облака водяной пыли, создающие впечатление, что с гор стремятся в облаке пара горячие воды, грузный, сверкающий снегом глетчер, спускающийся в зеленую долину, бездонные горные озера, холодные, как лед, черные и густые, точно наполненные нефтью; горячая автомобильная дорога, которая подымает вас к снегам и спускает в сказочную долину с огромным озером Рельдал, на берегу которого весь в сосне стоит одинокий отель, где после горного холода вас ждет тепло, уют... О забываемая Одда!

Но спешите посмотреть красоты Одды, ибо через несколько лет они исчезнут. Уже сейчас в самой Одде воздух наполнен волью карбита и серы. Ночью зловоюще светит красное зарево от пламени, которым точно охвачен карбитовый завод.

Красоты — это только начало, чудеса Одды впереди.

В Одде три мощных завода: карбито-цианомитовый, алюминиевый и цинковый. Выстроены они недавно, цинковый завод закончен постройкой только весной этого года. Строят заводы. Не думайте, что здесь, в Одде, недавно открыты мощные залежи бокситов, цинковых руд, карбитовых пород. Ничего подобного.

Сырье для заводов доставляется на пароходах из Испании, Сицилии и Африки.

Имеет же смысл пренебречь дешевым трудом колониальных рабов Африки, грузить руду на пароходы, гнать их за тысячи миль из знойной Африки, Испании и Сицилии на север — в Норвегию, в Одду, здесь снова разгружать пароходы и производить именно здесь алюминий, цинк и карбит!

Все три завода принадлежат иностранному капиталу: французскому и американскому. Цинковый завод например принадлежит известному французскому акционерному обществу, держащему в своих руках мировое производство цинка. Это французы, а не норвежцы построили здесь цинковый завод. Это не норвежцы вынуждены возить сюда руды, а французы, скалькулировавшие, что в Одде выгоднее производить цинк, чем на месте, — в Африке или Испании.

Вот тут начинаются загадки Одды. Неужели рабочая сила в Одде стоит дешевле, чем в колониальной Африке? Нет.

Секрет лежит в красотах Одды. В Одде дешево лошадиные силы. В Одде нет ни одной лошади, но в Одде есть прекрасные сказочные водопады.

Девственные красоты гибнут. Скоро сюда не будут приходить пловучие дворцы с американскими буржуа, ибо нечего будет смотреть, нельзя будет любоваться буйной природой. Один водопад уже скрыт от человеческого взоров. Он взят в трубы и превращен в лошадиные силы, в самую дешевую в мире электроэнергию. Мощность гидроэлектростанции в Одде выражается в 220.000 квт. Эта станция, обслуживаемая только тридцатью рабочими и работающая только на одном водопаде, снабжает энергией все три завода. Но Одда помимо этого таит в себе огромнейшие запасы гидроэнергии. Водопады Лотефос и Эспеланд в дикой ярости несутся еще с гор. Еще не скрытые от человеческого глаза, они скрывают в себе сотни и сотни тысяч киловатт.

Богатство Норвегии заключается в ее изумительных по красоте водопадах. Они таят в себе минимум 12 миллионов лошадиных сил электроэнергии. Именно на этой базе баснословно дешевой электроэнергии растет электро-химическая промышленность. Пока использованные красоты Норвегии, т. е. мощность воздвигнутых гидроэлектростанций, выражается в полтора миллиона лошадиных сил, из которых 900.000 лошадиных сил обслуживают только электро-химическую промышленность Норвегии.

Одда — один из крупнейших центров гидроэнергии в Норвегии, и только благодаря этому красивая туристская Одда превратилась в промышленный центр.

Даже в норвежском масштабе водопады в Одде дают, как ни странно, самую дешевую энергию. Одна лошадиная сила в Одде обходится заводом в 35 крон в год. Один киловатт электричества стоит в Одде 90 крон в год, в Бергене — 180 крон, а в Осло — 220 крон. Вот почему выгодно возить из Америки, Сицилии и Испании цинковые и карбитовые руды. Водопады в Одде дают

более дешевую силу, чем колониальные рабы Африки.

Девственные водопады подчиняются коротким формулам физики и химии, их звериная дикая мощь измеряется теперь электрическим счетчиком, электрорубильник регулирует работу безтрубных заводов. Шум водопадов заменяется шумом заводов, чистый горный воздух наполняется зловонными газами, вздохи очарованных туристов заменяются вздохами измученных рабочих.

Грипасы демократии

На трехсторонней набережной Одды веером расположились гостиницы, склады, жилые дома. От набережной в разные стороны, поднимаясь вверх, отходят улицы, которые скоро сливаются с автомобильными дорогами, уходящими в горы или вдоль фиорда. По обеим сторонам этих дорог ближе к пристани расположились двухэтажные, окрашенные в красно-желтый цвет деревянные дома. Чуть выше набережной высятся два серых трехэтажных здания: это заводские рабочие квартиры и народный дом, которые принадлежат профсоюзному объединению. В народном доме помещаются правления профсоюзов и залы для собраний. В одной из зал среди портретов незнакомых людей — местных рабочих — мы увидели и два знакомых лица: Лепина и Карла Либкнехта.

В нескольких шагах от народного дома лежит карбитовый завод, на котором работает четыреста рабочих.

В Одде около трех тысяч восьмисот жителей, и в поселке Тисседаль, прилегающем к Одде, где расположена электростанция и алюминиевый завод с тремястами рабочих, живет еще примерно тысяча двести человек.

Население Одды с поселком Тисседаль — почти сплошь рабочее. Малыми гнездами вкраплены здесь служащие заводов, отделений банков, сберегательных касс, художники, торговцы и т. д. Лавочки Одды универсальны: найдете в них и платье, и фотопринадлежности, и духи, и обручальные кольца.

У самой набережной находится гордость Норвегии — самый большой в Скандинавии трехэтажный деревянный дом с сотней комнат. Это муниципалитет Одды, тот самый единственный в Норвегии муниципалитет, который весной 1929 года послал своего официального представителя на антифашистский конгресс в Берлине. Буржуазная пресса подняла форменный вой, узнав, что муниципалитет в Одде «опозорил» буржуазную Норвегию. Губернатор потребовал отмены решения муниципалитета, мотивируя незаконностью делегирования от имени муниципалитета представителей на политический конгресс. Муниципалитет потребовал от губернатора указания статьи закона, по которому такая посылка делегата запрещена. Но, говорят, пока губернатор искал в своде законов подходящую статью, делегат успел не только съездить в Берлин, но и вернуться с конгресса.

Муниципалитет в Оdde состоит из 32 элешов, которые по партийности распределяются следующим образом: 14 коммунистов, 10 транмелитов и 8 представителей буржуазных партий. Во время последних выборов в муниципалитет коммунисты получили 972 голоса, рабочая партия (транмелиты) — 712 голосов и буржуазные партии вместе — 400 голосов.

Одда — рабочий городок. Каждый депутат муниципалитета находится под повседневным контролем рабочих. Вследствие такого непосредственного контроля рабочие транмелиты не могут голосовать вместе с буржуазными партиями против коммунистов, и по этой же причине они не могут подчиняться директивам центрального комитета рабочей партии. Так было и с вопросом о посылке делегата на антифашистский конгресс в Берлине. В таком месте, как Одда, политика Транмеля не может быть прикрыта потоком революционных фраз, классовая природа этой политики до того очевидна, до того ощутима, что рабочий транмелит должен в муниципалитете голосовать или с коммунистами против буржуазии и директив Транмеля, или за его директивы, т. е. с буржуазией против коммунистов.

Транмель дал директиву своей партии не участвовать в антифашистском конгрессе, как «затее коммунистов». Когда комфракция муниципалитета в Одде внесла предложение о посылке делегата на конгресс, восемь депутатов буржуазного блока выступили против этого предложения. Решение этого вопроса находилось таким образом в руках транмелитов. Они вынуждены были, вопреки директиве своего центрального комитета, голосовать за предложение комфракции, ибо было слишком очевидно для массы рабочих, на чью классовую мельницу льет воду Транмель.

Такое положение транмелитов в Одде обрывает их на политическую пассивность. Они молчат и ждут момента, когда, может быть, пройдут «лихие времена коммунистического засилья». Их тактика в Одде — молчать и ждать ошибок коммунистов, таких ошибок, которые скомпрометировали бы хоть в некоторой степени компартию в глазах рабочих. И как только такая ошибка сделана, транмелиты перестают молчать и начинают активно действовать в рабочей среде.

А нужно сказать прямо, что положение коммунистов как самой сильной партии в Одде, а потому наиболее ответственной за свои действия перед рабочими, — не легкое.

Возьмем тот же муниципалитет. Председателем его является рабочий-коммунист. Власть у нас, как говорят в Одде, принадлежит коммунистам. Им как возглавляющим муниципалитет принадлежит власть над полицией, над налогами, над школой и т. д. А почти коммунистический оддипский муниципалитет подчинен губернатору-консерватору и буржуазному правительству Норвегии. Противоречие трудно вообразимое, тем более, что оддинские коммунисты, изо-

лированные от всей остальной страны, не могут объявить у себя советскую власть и перестать зависеть от губернатора, буржуазного правительства и парламента. Вот почему при таких условиях иметь большинство в муниципалитете вещь очень не легкая.

Оддинские коммунисты пытались например ликвидировать у себя находящуюся на содержании муниципалитета полицию. Центральные власти им на это ответили:

— Что же, не хотите содержать полицию? Пожайлуста, берем ее содержание на себя, но за счет той государственной дотации, которую мы даем вам на содержание школы.

Полиция осталась. И когда председатель оддинского муниципалитета или секретарь оддинской организации компартии проходят по улице, полицейский вежливо отдает честь своему муниципальному начальству.

Школы подчинены муниципалитету. Но что может сделать компартия со школами, если у нее нет своих учителей, которые могли бы воспитывать детей рабочих в пролетарском духе? Вот почему преподавание в школах ведется буржуазными педагогами и в буржуазном духе. Единственное, чего могла добиться комфракция муниципалитета, — это сокращения преподавания религии с шести часов в неделю до двух. И это является большим завоеванием.

Другим завоеванием оддинских рабочих является построенный на средства муниципалитета дом для престарелых. Это очень интересный институт. Престарелый рабочий, который по своим годам и по своему здоровью не в состоянии работать больше на заводе, находит здесь в доме для престарелых приют и стол. Каждый имеет здесь свою отдельную комнатку, обставленную скромной мебелью, постель, снабженную чистым бельем. В столовой дома он получает приличный стол.

Формально сюда может быть принят любой старик за небольшую плату, но рабочие в большинстве случаев принимаются бесплатно. В таком рабочем городке, как Одда, дом для престарелых обслуживает только рабочих. Такие дома для престарелых мы видели во всех городах Норвегии. Они содержатся на средства муниципалитетов и на пожертвования частных лиц. Конечно в общем и целом эти дома для престарелых в Норвегии имеют филантропический характер.

Но институт этот достоин нашего внимания. В нашей пролетарской стране мы должны создать не дома, а дворцы для одиноких, престарелых рабочих. В нашей стране эти дворцы не будут иметь этого неприятного филантропического характера. Они должны занять у нас такое же место, как детские дома. Пролетарское государство, где труд является самым почетным занятием, должно обеспечить одинокому престарелому рабочему, отдавшему свой мозг, мускульную силу и нервы на строительство социализма, почетный отдых в дворце

для престарелых рабочих. Мы возьмем пример у Норвегии, но поставим это учреждение на ту материальную и принципиальную высоту, на какой она может стоять только в пролетарском государстве.

Итак, положение в Одде таково, что коммунисты не имеют абсолютного большинства в муниципалитете. Это не дает возможности проводить им свою линию и свою программу. Но, когда они это большинство получают, тогда придет конец демократии в Одде, ибо демократические права оддинского муниципалитета будут сокрушены демократическим государственным строем Норвегии, который по своей природе не допустит, чтобы коммунистический муниципалитет проводил линию и программу совета рабочих депутатов. Демократия кончается немедленно, превращаясь, как говорил Ленин, в абсурд, как только на основе этой же демократии коммунисты получают большинство в муниципалитете. И абсурдность этой демократии, ее лживость видна уже и тогда, когда коммунисты получают даже не абсолютное, а только относительное большинство голосов. Одда этому пример (полиция, школы, антифашистская борьба и т. д.).

Трудность оддинских коммунистов заключается в том, что этот процесс наступил в Одде значительно раньше, чем в остальной стране, в парламенте и муниципалитетах которой господствуют попрежнему буржуазные партии и их «социалистические» сотрудники.

Стачка

Между пристанью и поселком Тисседалем, на другой стороне фиорда, в местности Эйтрем, являющейся частью Одды, весной 1929 года закончен постройкой цинковый завод. Техническая революция в производстве цинка сделала этот род металлургии частью электро-химической промышленности. Цинк из руды добывают сейчас путем электролиза. Электроэнергия является основным условием производства цинка, и Одда, обладающая огромными запасами дешевой энергии, стала местом производства цинка из руд, доставляемых из Испании и Африки.

Цинковый завод в Одде построен на основе самых новейших достижений техники, рационализации и всего прочего. Его производственная программа выражается в 40.000 тонн цинка ежегодно при составе рабочих по плану в 275 человек. Фактически же на заводе работает еще меньше — 257 рабочих. При старом способе производства для выработки этих сорока тысяч тонн цинка потребовалось бы около 1.200 рабочих. В этом суть технической революции и рационализации в цинковой промышленности: в четыре раза меньше рабочих, чем прежде.

С пароходов размельченная цинковая руда идет в огромные чаны. В продолжение 24 часов эта руда размешивается в чане с различными кислотами. Винт с размешива-

ющими лопастями точен, как часы: один поворот в одну минуту. Когда эта подготовительная работа проделана, подвергаясь воздействию кислот смесь поступает в электролизный цех. Электрочаны наполняются смесью. Электроток в шесть вольт и 10.000 ампер разлагает смесь и соединяет цинковые частицы смеси. Цинк садится тонкими пленками на особую пластинку в электрочане. По истечении определенного времени пленка за пленкой образует цинковую пластинку. Она извлекается из чана, отрывается от собирательной пластины — цинк готов.

Таков в общих чертах процесс производства цинка по методу электролиза, такова техника.

За техникой стоят живые люди-рабочие. Они также подвергаются электро-химической обработке. Кислоты разъедают их руки до жутких язв, ядовитые газы, выделяющиеся из смеси, наполняют легкие, цинковая пыль оседает на дыхательные органы, электроток, насыщенные повсюду, грозят смертью ежеминутно.

Опасность подстерегает рабочего во всех углах, капиталистическая рационализация уменьшает его сопротивляемость. На двенадцать электрочанов только один рабочий — за всеми уследи, всюду поспей. Даже государственная инспекция признала огромнейшую вредность условий труда на оддинском цинковом заводе. В этих условиях восьмичасовой рабочий день. Зарплата 58 кроп (29 руб.) для квалифицированного рабочего. Отпусков нет, ибо за время отпуска рабочим не платят. 58 кроп в неделю, ожоги, язвы и туберкулез — это все, что получает рабочий.

Завод американский, директор — француз, господин Рэк, полковник французской армии. Пушечный завод в мае, ровно через неделю, т. е. 25 мая, рабочие начали борьбу против капиталистической рационализации. Рабочие электролизного цеха потребовали сокращения нагрузки — вместо 12 электрочанов на человека восемь.

— Что, бунт? — вскричал полковник Рэк. Он готов был уже приказать об отдаче рабочих военно-полевому суду, он забыл, что это завод, а не сенегальский полк французской армии. Но полковник Рэк во-время спохватился, он отдал приказ только об увольнении всех рабочих электролизного цеха.

На пристани у складов, у конторы Хардагерского пароходного общества, у стоянки автомобилей группками стояли рабочие. Они говорили тихо, без жестуляции, без выкриков, не перебивая друг друга. Они были совершенно спокойны. Временами они вытаскивали из карманов картонные корбочки, залезали в нее пальцами и закладывали себе в рот щепотки. Они жевали табак, который напомнил фруктовый чай эпохи военного коммунизма, и только в темно-бурую струе плевка чувствовалось их презрение к полковнику Рэку.

Грузовые пароходы попрежнему приходят в Одду. 1 июня приходит и пароход е

цинковой рудой для завода. Грузчики отказываются его разгружать, они выражают свою солидарность с рабочими электролизного цеха. Сообщение о том, что грузчики отказались из солидарности выгружать парход с сырьем для завода, доходит до полковника Рэка. Он мечет гром и молнии. Он вспоминает французское Конго, французский Индо-Китай, он вспоминает колониальные методы расправы: роту солдат, пару броневика, пулеметы, гранаты, команду или... Эх, хорошо и легко в колониях — рота, огонь!

Огопъ. В ответ на забастовку грузчиков уволить всех до одного рабочих завода!

Спокойны, как фюреры, норвежские рабочие. Они ушли домой, сняли прозодежду, помылись, переоделись и собрались затем в народном доме. Они решили на старых условиях обратно на завод не возвращаться, они в ответ на увольнение объявили стачку и выставили требования:

1. Увеличение зарплаты.
2. Уменьшение нагрузки до 8 часов на одного рабочего.
3. В целях безопасности снабжение рабочих противогазовыми масками, резиновыми сапогами и перчатками.
4. Оплата за время отпуска.
5. Возвращение на работу всех рабочих.

Позже к этим требованиям добавили еще одно: шестичасовой рабочий день в виду вредности производства.

В Одду примчался председатель цеха профсоюза химиков Норвегии Иенсен. Он реформист, он созывает собрание бастующих рабочих, конечно он за рабочих, только зачем забастовка?

— Прекратите забастовку, возвращайтесь на работу. Я все устрою через правительство. Если это не удастся, я обращусь к королю и от него достану королевский указ...

Рабочие слушали речь своего председателя спокойно, по были непреклонны. Они разошлись с Иенсеном в разные стороны: он поехал в лагерь короля, они перешли в лагерь коммунистов. Был избран в противовес реформистскому профсоюзу стачечный комитет, состоявший в большинстве из коммунистов. Председателем стачкома был избран рабочий Тейге, коммунист.

Шла борьба, проходили дни и недели. Прошел июнь, июль и август. Завод стоял.

8 сентября на оддинском горизонте появились две фигуры: старый знакомый Иенсен, по не с королем, а с новым директором завода. Правление цинкового треста решило убрать полковника Рэка, считая, что он более подходит для африканских условий, чем для норвежских. Трест назначил нового директора, норвежца.

Они прибыли вместе. Капиталист и реформист. Оба с одной и той же целью. Реформист подготовил почву для приезда капиталиста. Для того, чтобы бороться с лезным пожаром, горящий участок окапывают, изолируя его от остального леса. Для того, чтобы потушить стачку в Одде, реформис-

ты окопали оддинских рабочих глубоким ровом. На словах они поддерживали стачку, на деле они обрекли ее на поражение. Они не допустили, несмотря на призывы коммунистов, не только забастовки солидарности во всей электрохимической промышленности Норвегии, но даже забастовки сочувствия на остальных двух электро-химических заводах в Одде. Они изолировали 255 бастующих рабочих от остальной массы, они окопали их, чтобы локализовать пожар. Они предоставили небольшой горсти рабочих самим, без поддержки остальной массы бороться за шестичасовой день, за огромное не только экономическое, но и политическое требование. Это обрекло эту горсть на поражение, и в этом заключалась тактика реформистов.

Почти четыре месяца шла борьба, борьба без поддержки. Это неизбежно должно было вызвать усталость. И, когда симптомы этой усталости вышли наружу, именно тогда прибыли в Одду директор завода и реформист Иенсен.

Речь директора была короткой: о шести часовом дне не может быть и речи, нагрузку согласны довести до девяти электрочасов на рабочего, маски, резиновую обувь и перчатки выдадим, о зарплате и оплате за отпуска согласны вести переговоры по окончании забастовки.

Иенсен говорил: я за вас, по решайте сами. Коммунисты предлагали отвергнуть предложения директора, в особенности в пункте о зарплате. Голосование дало следующие результаты: 36 за предложение коммунистов, 34 за принятие предложения директора, остальные воздержались. Более ста рабочих на собрании не присутствовали, ибо они находились в виду безработицы на случайных заработках вне Одды.

Усталость давала себя чувствовать. Реформистам удалось окопать стачку. На следующем собрании предложения директора были приняты. Рабочие таким образом одержали только полупобеду, но даже эта полупобеда была одержана благодаря руководству коммунистов стачкой. Без этого руководства не удалось бы получить и этого.

9 сентября после собрания, которое дало неопределенные результаты, у народного дома кучками стояли рабочие. Лица их были серьезны. В центре стоял председатель стачкома Тейге. К нему протолкался один рабочий. Он пожал руку Тейге и сказал: «Я был против тебя, против коммунистов. Теперь я вижу, что если бы не ты, если бы не коммунисты, мы проиграли бы стачку на все сто процентов».

Он еще раз пожал руку Тейге, выругал реформистов и также быстро, как появился, ушел домой.

Это был итог стачки. Она показала многим рабочим истинную роль «рабочей партии».

Завод начал снова работать. Из Африки снова стали приходить пароходы с цинковой рудой. Электротокки снова по проводам

устремилась на завод, цинк ровными пластинками снова оседал в электропечах.

Прошло два месяца. 14 ноября на заводе снова началось волнение. Директор в сентябре обманул рабочих, он обещал после возобновления работы начать переговоры о зарплате. Но это осталось только обещанием.

Снова на заводе волнение, снова конфликт. Рабочие требуют увеличения зарплаты на 10—15 зре (5—8 копеек) в час.

Один водопад взят в трубы. Он скрыт от человеческих взоров. Он дает 220.000 киловатт электроэнергии, которая производит цинк и стачки. Водопады Лотефос и Эспелодд еще в дикой ярости несутся с гор. Они еще не скрыты от человеческого глаза, по скрывают в себе сотни тысяч киловатт. Их возьмут в трубы, они будут превращены в электроэнергию, они дадут еще больше цинка, карбита и алюминия и вместе с ними они дадут еще большие взрывы классовой борьбы.

Шумят и kloкочут водопады в Одде. Но капитализм не может с ними справиться. Он берет их в железные оковы, они вырываются стачками наружу.

Будня

Сперва кажется, что будни Одды наполнены только мелкими заботами, событиями величииной в одну свадьбу, стиркой пеленок, модницами, модниками, нехваткой денег или подсчетами сбережений. Даже не удивляешься, когда на страницах оддинской коммунистической газеты прочтешь объявление: «Оддинский рабочий спортивный союз устраивает танцы в субботу в 8 часов вечера для членов и их знакомых. Оркестр Тайгланда. Вход: дамы 1 крона, мужчины 1.50».

Танцуют фокстроты, танго, стилизованные матросские танцы. В танцующей толпе, состоящей главным образом из рабочих, вы найдете коммунистов, транмелистов, просто мещан и мещанок и самых стойких стачечников...

Будни Одды, кажись, не нарушены стачкой. Борющиеся рабочие вовсе не люди не от мира сего.

Визжит саксофон, по кривым линиям плывут танцующие пары, последняя крона уходит на чашку кофе с пирожным.

В танцующей толпе узнаем нашего приятеля Густава Вазу. Его действительно зовут Густавом. Но Ваза это его шуточное кличка. (Густав Ваза—имя одного из шведских королей). Густав Ваза любит танцевать и заниматься футболом. По профессии он шофер, имеющий свою машину, по партийности — беспартийный.

Но себя и свою машину он поставил на службу компартии. Когда оддинским коммунистам нужно ехать куда-нибудь на митинг вне Одды, их везет Густав Ваза.

Когда шли выборы в муниципалитет и Густав Ваза заметил, что реформисты нарядили машину и раз'езжают по домам, он немедленно приехал в комитет компартии

и потребовал агитаторов за коммунистический список. Целыми днями он возил их по селениям, сам агитировал за коммунистов.

Лучшими коммунистическими агитаторами во время этих выборов были женщины. Шла борьба за стариков, за старых рабочих и крестьян. По закону выборщик должен явиться лично в избирательное бюро и собственноручно опускать в ящик избирательную карточку.

Одда разбросана. Ее поселки далеко отстоят от избирательного бюро, крестьянские хуторки лежат на расстоянии многих километров. Старикам не под силу идти пешком в Одду и голосовать. Густав Ваза замаялся: он возил стариков, решивших голосовать за коммунистов в Одду, и отвозил их обратно домой.

Сегодня Густав Ваза везет нас в Рельдаль, в сорока километрах от Одды, мимо водопадов по изумительной горной дороге. В автомобиле человек пять. Это оддинские рабочие. Они поют на портежском языке песни, и по мотивам я узнаю «Буденновский марш» и даже русские народные песни.

Песни прерываются рассказами об оддинской жизни. Густав Ваза оборачивается и просит рассказать эпизод из предвыборной кампании. Речь идет об одном старике, который попросил убраться из своего дома агитаторши из автомобиля Густава Вазы.

— Я за коммунистов, — заявил старик, — и выкатывайтесь вон из квартиры.

Оказывается, агитаторши были одеты в праздничные платья, и старик по их виду заключил, что это не коммунисты. Большого труда стоило разубедить старика.

Автомобиль мчится вперед в горы. Он останавливается у живописного места, у ущелья, из которого доносится шум горного потока. Тут стоит двухэтажный дом с террасой и вывеской «Отель Утзинг». Этот бывший отель принадлежит сейчас оддинской организации компартии. В нем помещается летняя колония комсомольцев и пионеров.

Но этим не исчерпывается имущество компартии в Одде.

В центре Одды, в подвале самого высокого трехэтажного каменного дома помещается редакция и типография коммунистической организации «Хардангер Арбейдерблад». Это самая распространенная в Одде газета. Другая газета буржуазная и у рабочих успехом не пользуется. Типография газеты самая большая в Одде. Она загружена всевозможными побочными заказами, и этот «Полиграфтрест» едва справляется с работой.

Типография имеет один линотип, одну плоскую машину и одну американку. По стенам расставлены наборные кассы. Молодой рабочий, член редакции газеты, редактирует, сам пишет, работает на лино-типе, верстает и печатает. Есть еще один рабочий, который занят посторонними заказами и работает на американке.

Редко у кого встретишь столько любви к линотипу, печатной машине, газете, как у этих двух скромных рабочих, на которых держится партийная газета, которые живут ею, у которых глаза горят, когда они говорят о ней. Редко где встретишь такое коммунистическое отношение к этому партийному предприятию, где эти оба рабочие поддерживают исключительную чистоту, опрятность и порядок, несмотря на то, что типография всегда полна пароду. Сюда непрерывно до поздней ночи входят и выходят, здесь происходят заседания однихского комитета коммунистической партии, здесь в подвале находится сердце и мозг однихских рабочих.

Уже стемнело, когда мы возвратились из Рельдаля обратно в Одду. В горах замерзли и поэтому с большим удовольствием пьем в семье одного рабочего горячий кофе. Жена рабочего заботлива и гостеприимна. Это одна из агитаторш за компартию во время выборов. В комнату вбегает восьмилетняя девочка. У нее красивый галстук на шее.

— Вар беред (будь готов).

— Альтид беред (всегда готов).

Мне рассказывают о бабушке этой пионерки. Бабушка коммунистка и сейчас находится в Москве. Она уехала туда, избранная членом норвежской кооперативной делегации.

Но девочка гордится и своим дедом. Он стар, но еще работает на заводе и также состоит членом коммунистической партии.

Восьмилетняя девочка — третий призыв революции. Она интересуется советскими пионерами и удивляется, что «альтид беред» звучит по-русски — «всегда готов».

По субботам и воскресеньям в Одде танцы. Когда смотришь на танцующую толпу рабочих и работниц, на блеск их глаз, на платья, которым было отдано столько заботы и женского кокетства, на чистые и выутюженные костюмы рабочих, кажется, что эта жизнь завлекает их целиком и полностью. Но это только кажется. Эти танцы и веселье чуть прикрашивают серые будни. Серые будни черствят жизнь повседневными нуждами, заботами, пелепками, придачными. Есть и сплетни, и модницы, и канарейки. Но это от серости жизни, и чем они серее, тем ярче идеалы.

Эти идеалы таятся в душе большинства однихских рабочих, они зажигают пламя борьбы в сердцах:

Густава Вазы,
линотиписта типографии в подвале,
восьмилетней пионерки,
ее отца и матери,
ее деда и бабушки.

Имя им легион.

4. Два дня

Дождь непрерывно лил первого мая. Было холодно и постепенно дождь стал переходить в мелкий град, а затем в снег, ко-

торый большими мохнатыми хлопьями ложился па лицо гранитного Стокгольма, превращаясь немедленно в мокрую хлопья.

Первомайская демонстрация по случаю дождя и снега была отменена и отложена па воскресенье. Коммунисты, тем более социал-демократы, не решились вести рабочих под дождь.

В Китае во время дождя не воюют, в Швеции во время дождя не демонстрируют, и если искусственное вызывание дождя выйдет из стадии лабораторных опытов, то шведская буржуазия получит, быть может, вполне пацифистское оружие в борьбе с рабочими демонстрациями — дождь¹⁾.

Так думалось в среду, в день 1 мая. В воскресенье же пришлось усомниться в правильности этого вывода.

Воскресенье было первым весенним днем в Швеции, и хотя демонстранты были одеты в пальто, по было тепло и солнечно. Погода уже не могла явиться препятствием для выступления рабочих.

Сборный пункт, Норра Банторгет (Северный привокзальный рынок), — несурзная площадь, одной стороной упирающаяся в железнодорожное полотно. Отсюда в два часа дня должно было пачаться шествие. В час дня площадь еще настолько свободна, что не приставленное первым мая трамвайное движение создает впечатление, что па площади больше синих трамзав, чем красных знамен. Постепенно площадь все же наполняется, постепенно увеличивается количество полицейских. Как обычно, полицейские без паружного оружия, как обычно, полицейские отменно вежливы. Если вы задержались на середине улицы, оглядывая, что делается кругом, к вам подходит полицейский. берет руку под козырек и вежливо просит уйти на тротуар. Лишь один разносчик фруктов, как видно, имел привилегию ходить не по тротуару и специфическим голосом разносчика выкрикивать:

— Купите бананы, ямайские бананы!

Колпчество знамен, завернутых в клеенчатые чехлы, увеличивается. Знаменосцы прилаживают ремни для пошени знамен. Колонны заполняют площадь, но они растягиваются таким образом, чтобы не помешать трамвайному движению. Тротуары все больше и больше заполняются любопытствующими обывателями.

Но вот полицейский заводновался, повышенным голосом он требует от одной старушки уйти подальше на тротуар. На площади стало тише, а вдали послышалось пение, возгласы и частое четырехкратное «ура». Со стороны вокзала показалась бравурная колонна с серпом и молотом на красном знамени... Идут коммунисты, коммунисты...

Тысячи глаз пожирают колонну, ее плакаты. Колонна коммунистов резко выделя-

¹⁾ Эпизод относится к 1929 году, т.-е. до исключения из партии оппортунистов во главе с Чимбуком.

лась по сравнению с довольно безразлично стоявшими на площади толпами вокруг знамен. Твердый шаг, приподнятый дух, беспрерывное выкрикивание лозунгов, подхватываемое дружным «ура!»

Колонна прорезала площадь и скрылась на одной из улиц. Площадь была занята социал-демократической частью демонстрации, коммунистическая же часть собиралась сзади, на улице, примыкающей к полотну железной дороги и впадающей в площадь.

Здесь уже царил другой дух, чувствовалось возбуждение, трещал изукрашенный плакатами и лозунгами грузовик коммунистической газеты, продавалась коммунистическая литература, распространялись листовки и летучки.

Вот летучка:

«В Берлине социал-демократические вожди допустили убийства революционных рабочих за демонстрирование в день первого мая. В Швеции социал-демократические вожди пытаются исключить революционных рабочих из профсоюзов. Рабочие, идите на воскресную демонстрацию и протестуйте против их помощи буржуазии».

Полицейских и здесь немного, но те, которые стоят, держат в руках резиновые дубинки. На площади, где стояли социал-демократические колонны, в руках полицейских этих дубинок не было.

Уж без 15 минут два, уж площадь настолько заполнена, что трамвай вынужден останавливаться. На улицах образуются трамвайные пробки. Колонны готовятся к выступлению.

Вся демонстрация делится на пять политических колонн. Первые три колонны идут под социал-демократическими знаменами, четвертая колонна — анархо-синдикалистов и последняя колонна марширует под коммунистическими знаменами.

Королевская улица, по которой должна пройти демонстрация, уже запружена народом. Ждут. Но вот вдали послышалась музыка, вскоре показались знамена, и через несколько минут появилась первая колонна.

Впереди два конных полицейских возглавляют социал-демократическую колонну. Идут по четыре человека в ряд, не мешая рядом снующим трамваям. Оркестры играют главным образом марши, и лишь изредка раздаются в этой колонне звуки «Интернационала».

Общий колорит демонстрации определялся одеждой демонстрантов. Шли рабочие. Между тем внешний их вид ничем не отличался от тех обывателей, которые, воспользовавшись солнечным воскресеньем, вышли погулять и посмотреть на демонстрацию. Все рабочие были одеты преимущественно в черные пальто, которые подчеркивали белизну воротничка и сорочки, на головах были котелки или шляпы, и лишь в коммунистической колонне можно было заметить в виде исключения несколько кепок. Женщины-работницы были одеты в светлые пальто и все были в шляпках. Одним словом, общий тон одежды соответ-

ствовал внешнему уровню мелкобуржуазного шведского обывателя. Лишь когда вы внимательно вглядывались в демонстрантов, то по несколько заглубленным лицам и рукам можно было определить, что это действительно рабочие. В Стокгольме социальные противоречия едва отображаются на внешнем виде рабочего, в особенности в дни отдыха. Рабочий здесь подтягивается под «общую» моду, под общий «приличный» вид. И если ему это удается, то это происходит за счет отказа от других потребностей и в первую очередь за счет своего стола. Он не будет обедать, но на улицу он выйдет в «приличном» виде.

Колонны маршируют, строго поддерживая большие дистанции между отдельными организациями. Эти дистанции настолько велики, что даже перекрестное автомобильное движение не задерживается. Иногда оркестр какой-либо организации играет «Интернационал», иногда раздается пение «Молодой гвардии», но, взглянув на знамя организации, вы безошибочно определяли, что это участники социал-демократической колонны. В то время, как красные знамена всех организаций, т.-е. включая и профсоюзные, коммунистической колонны, имели на древке горящую на солнце вылитую из меди красную звезду или серп и молот, знамена социал-демократической части были зачастую сентиментально разрисованы женщиной с причесанной к восходящему солнцу рукой, зачастую отделаны материями других цветов, на древке можно заметить крефель или же другой узко цеховой знак, но ни в коем случае не эмблемы диктатуры пролетариата: красную звезду или серп и молот.

В сорок или сорок пять минут прошли первые три социал-демократические колонны. Выступила четвертая карликовая «колонна» анархо-синдикалистов. Это была небольшая в 150 человек группа, которая своим количеством демонстрировала потерю своего влияния в рабочих массах. В борьбе между коммунистами и социал-демократией анархо-синдикализму остается все меньше и меньше места в рабочем движении.

Сто пятьдесят анархо-синдикалистов быстро сошли с поля зрения. Наступила продолжительная пауза. Проходят три, пять, семь минут, а пятой колонны нет. Улица замерла. И в наступившей тишине этой чувствуется, что обывателя мучает двойное чувство страха и любопытства. Ждут коммунистов, понимают, ком-му-нистов. Они, оказывается, в центре внимания уличной толпы. Головы обращены в сторону, откуда они должны появиться.

Идут, идут.

Замершая на тротуаре толпа неожиданно и резко встрепенулась. Раздираемая любопытством, желанием поближе посмотреть коммунистов, часть толпы подается на середину улицы, в узкую полосу между трамвайными линиями.

Несутся звуки «Интернационала» и уж виден стройный, мерный шаг. Оркестр,

красные знамена с серпом и молотом, впереди четыре молодо выглядящих члена центрального комитета шведской коммунистической партии, за ними оживленные, плотно сбитые части колонны.

Улица заполняется непрерывным «ура», подхватываемым массой, в ответ на выкрикиваемые лозунги в честь Советского союза, во имя готовности бороться против военной опасности, в честь героических берлинских рабочих, выступивших вопреки запрещения Цергибеля.

Проходит стокгольмская организация компартии, а за ней идут профсоюзные организации, решившие демонстрировать не с социал-демократами, а с коммунистами.

Каждого интересовал вопрос: много ли рабочих поведут за собой коммунисты по сравнению с социал-демократами? Несколько раз казалось, что демонстрация кончилась и что, как было очевидно, коммунисты повели за собой гораздо меньше, чем социал-демократы, но вдали снова показывались красные знамена и снова проходила новая колонна. Прошли уж профсоюзные организации, прошло уж минут тридцать с момента появления головы коммунистической колонны, а пятая коммунистическая еще не кончилась.

Живо проехали, наполняя улицу звонкими детскими голосами, одиннадцать грузовиков с пионерами. На каждом грузовике знамя и транспарант с лозунгами. Едва успеваем прочесть:

«Долой религию в школах».

Пионеры одеты в свою форму с нашптыми красными серпом и молотом на рукавах. Буржуазная пресса про них писала, что это подобранные на улице дети, которых коммунисты заманили конфетами.

За пионерами проходит комсомол. Впереди идет колонна в форме юнгштурма, за ними молодые рабочие, мало отличающиеся по своему внешнему виду от своих взрослых собратьев по классу.

Комсомольская колонна закончила демонстрацию, в хвосте которой снова два полицейских, на цокающих копытах лошадей.

Демонстрация закончилась. Коммунистическая пятая колонна проходила около сорока минут, т.е. почти половину времени прохождения всей демонстрации. Буржуазная пресса на другой день вовсе не преувеличила, когда заявила, что под коммунистическими знаменами прошла почти половина всей демонстрации. Лишь один «Социал-демократ» безбожно врал, когда заявил, что в демонстрации приняло участие 25.000 человек, из которых коммунисты «без сомнения» имели пару тысяч.

Общий вид коммунистической колонны резко отличался от социал-демократической обилием плакатов, транспарантов с лозунгами, действенностью, звучностью и даже общим живописным видом. Лишь бросалось в глаза меньшее количество оркестров по сравнению с социал-демократами.

Все организации вместе вывели на первомайскую демонстрацию около 15.000 че-

ловек, из которых почти половина демострировала под знаменами коммунистов. Коммунисты вели за собой значительные массы беспартийных рабочих. Социал-демократы, если принять во внимание, что в Швеции числится 220.000 членов социал-демократической партии, огромная часть которых находится в Стокгольме, социал-демократы не смогли вывести на первомайскую демонстрацию даже всех своих членов. Механический член социал-демократической партии, который числится членом партии, поскольку данная профсоюзная организация коллективно, большинством голосов решила присоединиться к этой партии, этот механический член своим отсутствием в день 1 мая демонстрировал свое чисто формальное отношение к социал-демократической партии.

Но более того, в Стокгольме ведь около 50.000 рабочих, а на первомайскую демонстрацию вышло всего около 15 тысяч, т.е. большая часть рабочих не вышла на первомайскую демонстрацию, несмотря на хорошую погоду. Этот огромный абсентеизм объясняется, по всей вероятности, разочарованием рабочих масс в старой социал-демократической партии и еще колебанием по отношению к коммунизму. Но во всяком случае для социал-демократической партии, которая праздновала в этот день сорокалетие своего существования, отсутствии большинства стокгольмских рабочих на демонстрации и на ее юбилее безусловно является поражением.

Уменьшение в последние годы количества демонстрирующих первого мая было признано вождями шведской социал-демократии на страницах одной буржуазной газеты. В ряде интервью, данных для этой газеты, некоторые вожди социал-демократии предлагали отменить вообще первомайские демонстрации и заменить их в этот день народными празднествами, которые, может быть, привлекут большинство рабочих.

Не исключено, что социал-демократы примут предложение органа спичечного треста «Стокгольм Дагблад» отказаться от «консервативного обычая» демонстрировать в день первого мая и заменить день международной рабочей солидарности бутербродами, пивом и танцами. Об этом говорил ряд напечатанных интервью в буржуазной газете.

Пульс первомайской демонстрации верно ухватила та буржуазная газета, которая на другой день выразила удивление по поводу того, что социал-демократы явились передней частью той демонстрации, которая в половинном своем размере была направлена против социал-демократии.

Через аристократические кварталы Стокгольма демонстрация направилась к загородному полю, где состоялись митинги. Быстро растущий Стокгольм обрывается шестизэтажными домами, выложенной гранитной брусчаткой улицей, не стиснутой вторым рядом домов. К улице этой примыкает поле, за полем фиорд. Поле ровное.

Оно состоит из двух холмов, между которыми лежит большая, широкая в полкилометра лощина, перерезанная рядом шоссе-ных, автомобильных дорог. Здесь происходили первомайские митинги. На одном холме разместились социал-демократы, на другом, поближе к морю — коммунисты. Издали митинги представляли любопытное зрелище. Покрытые народом холмы были похожи на два огромных муравейника.

На социал-демократическом митинге говорилось о пацифизме, о сорокалети социал-демократической партии, на коммунистическом — о берлинских событиях, о раскольнической тактике профсоюзов, о борьбе с военной опасностью.

Митинг коммунистов был зловонен, митинг социал-демократов был скучен своими общими, не сконцентрированными на последних событиях речами.

Вдали на пригорке можно было заметить третий митинг. Там чернелась крохотная кучка анархо-синдикалистов, кучка, своей немногочисленностью подчеркивавшая величину остальных двух.

Тут в поле, разделенном на два политических лагеря, было уже совершенно очевидно, что оба лагеря равны по своей величине. Полкилометра разделяло оба лагеря. Но лощина между ними не представляла мертвой зоны. Издали вы видели, что оба холма соединены живой, широкой цепью людей, а когда вы подходили ближе, то оказывалось, что эта цепь создавалась непрерывно двигающимися рабочими, уходившими с социал-демократического митинга на коммунистический. Социал-демократический митинг подтаивал, и в четыре часа не оставалось сомнения в том, что митинг коммунистов больше митинга социал-демократов.

Это подметили анархо-синдикалисты, которые на следующий день писали в своей «Арбетарен»: «Впервые в истории стоковых демонстраций коммунисты собрали большинство рабочих на своем митинге».

В этом живом потоке, который переливался из социал-демократического лагеря в коммунистический, в этих переходивших на коммунистический митинг рабочих олицетворялись те сдвиги, которые происходят в современном рабочем движении Швеции.

От социал-демократов к коммунистам — в этом сущность этих сдвигов.

5. Стокгольм в день 6 марта 1930 г.

Три стороны площади Густава Адольфа. Первая сторона — банк «Скандинавска Кредит», главная читальня концерна Кригера. Вторая сторона — старый дворец, где помещается министерство иностранных дел. Напротив третьей сторона — королевская опера. Доминирует Кригер. Против него, через мост взятый в гранит пролива, соединяющего озеро Мэлярен с морем, — королевский дворец. По правую руку Кригера, на острове в проливе, между Кри-

гером и королевским дворцом, — риксдаг. По левую сторону Кригера, вдали, на изгибе берега, — Гранд-отель — место великосветских балов.

Площадь Густава Адольфа правит Швейцией.

Вечером, ночью к опере, Гранд-отелю подвезают вереницы лакированных авто. Рольс-ройсы, бьюики, нэши. Швейцары в ливреях открывают двери авто. Из них выходят цилиндры и длинные платья спрятанных в меху болонок. Ночью горят огни Гранд-отеля. Рыба, мясо, соуса, вино, тосты, шампанское, вальсы, фокстроты, ликеры, коньяки, фраки, виски, декольте, деньги, духи... Тихо на площади Густава Адольфа. Тише! В Гранд-отеле отдыхает «Скандинавска кредит», королевский дворец, парламент.

Парламент заседает днем. В сумраке тонут круглые залы его палат. Скучный свет падает сверху из остекленной части крыши. На возвышении сидят председатели палат. В палатах нет мух — выдохли. Депутаты, сенаторы не любят сидеть в палатах. Они — в коридорах, в маленьких кабинетах, в ресторане парламента. Слушают только членов правительства, вождей партий. Других не слушают. Это — обязанность стенографов, а не депутатов и сенаторов. Впрочем на следующий день депутаты и сенаторы читают в газетах о том, что было вчера в парламенте.

5 марта. На трибуне сената военный министр. Каждый год он угрожает военным разгромом Швеции, если ему не отпустят дополнительных средств на увеличение вооружений. Деревянный молоток — клюмба — ударил по столу председателя. Это закончил речь военный министр. Начались прения и выступления вождей.

На трибуне сенатор. — Сенат не может допустить военного разгрома Швеции, сенат...

Сверху, с галереи, медленно планируя, падал снег листовок на кресла, пюпитры и лысины сенаторов. Переполох. Удар клюмбы прервал речь сенатора. Глаза председателя прожектором блуждали по галлее сената. Он нащел его, нашел героя этого внеочередного выступления.

Убрать его с галереи. Убрать!

В ответ новые пачки листовок полетели вниз. Листовка в руках нервных сенаторов. Ее возмущенно читают.

«Господа буржуа и буржуазные лакон!»

Если бы среди вас находился коммунист, то во всех своих выступлениях он следовал бы тому совету, который Ленин дал одному рабочему, члену думы Вадаеву: «Ты рабочий, а дума для господ. Иди и расскажи им просто про рабочую жизнь. Опиши им ужасы капиталистического каторжного труда, призови рабочих к революции, скажи черной думе прямо в лицо: эксплуататоры, сволочи. Внесите такой законопроект, по которому через три года мы повесим вас, черносотенцев и помещиков, на фонари. Это будет хороший законопроект».

Тогда вы слышали бы несколько правдивых слов о безработице, и ваша трибуна была бы использована для мобилизации рабочих и безработных для совместной борьбы против безработицы, для революционной борьбы за свержение эксплуататорского, сволочного строя. Теперь же вы все одинаково используете парламент для барышничества и борьбы против интересов как безработных, так и рабочих. Но не думайте, что вы можете предотвратить эту борьбу.

6 марта — международный боевой день борьбы с безработицей и капиталистической рационализацией. Требования, с которыми выступают рабочие в этот день, следующие: 7-часовой рабочий день, запрещение сверхурочных работ, полная зарплата рабочим, переведенным на неполный рабочий день, содержание государством и муниципалитетом всех безработных после первого же месяца безработицы, страхование от безработицы за счет предпринимателей и их государства, пособие безработным в размере средней заработной платы, ликвидация государственной комиссии по безработице, оплата по договорам за использование труда безработных на общественных работах.

За эти требования вы никогда не будете бороться и тем более их проводить, но их проведут сами рабочие и безработные массы. Они вдребезги разобьют капиталистическую систему эксплуатации — причину безработицы. Они последуют примеру своих русских товарищей. Они установят диктатуру пролетариата вместо капиталистической диктатуры, которую вы все стараетесь прикрыть «демократической» маской. Они осуществляют социализм.

Когда полиция отвезла вызвавшего панику в сенате рабочего, сенаторы успокоились. Новый удар клуббы возвестил, что заседание продолжается.

Требования компартии по вопросу о безработице сената не касаются, они касаются начальника полиции. Он готовился к ответу в день шестого марта.

Но готовился не только начальник полиции, готовились и реформисты в профсоюзах, социал-демократы и ренегаты.

Утром шестого марта «Социал-демократен» и орган шведских ренегатов «Фолькетс Дагблад» вышли с одним и тем же материалом. Обе газеты напечатали призыв к рабочим реформистского стокгольмского совета профсоюзов не участвовать в демонстрации, организуемой компартией.

Выступление стокгольмских рабочих началось немедленно после окончания работы на заводах. На трех площадях в различных частях города начались митинги. После этих митингов рабочие должны были соединиться в одно место для демонстрации.

Никогда за последние годы Стокгольм не видал на своих улицах столько полицейских. Была мобилизована вся полиция, все полицейские резервы и тайные агенты уголовной полиции. Улицы были оцеплены, на перекрестках стояли полицейские отряды

в 50 и 100 человек. Все полицейские силы были брошены на то, чтобы не допустить соединения рабочих, не допустить демонстрации.

Но, как отметила пресса, рабочие на этот раз не отступали и не разбегались. Они наступали, пытаясь прорвать полицейские заставы. Один штрих характеризует настроение рабочих. У одного задержанного полицией рабочего на голове оказался толстый слой ваты, прикрытый плотной шерстью, поверх которой была надета шапка. Он вышел на улицу, понимая, что будет драка, готовый драться. Этот боевой дух рабочих отметила «Свенска Дагбладет», которая писала, что «борьба с демонстрантами оказалась более тяжелой, чем предполагала полиция».

Из красного рабочего юга, из старого города пробивались рабочие через плотные цепи полицейских на площадь Норра Банторгет. Они пробивались долго. Полиция рубила пашками. И все же кучками они пробились на Норра Банторгет. Митинг здесь уже закончился. Норра Банторгет двинулась в демонстрацию. Здесь на первой же улице произошло новое побоище. Около десяти человек было ранено. Два отвезены в больницу. Полиция рубила по головам.

Рубила в пьяном ожесточении. Собственный агент полиции в штатском получил удар шашкой по голове. Наружная полиция рубила, тайная арестовывала. Полицейский отчет гласил: Портной Грейф был схвачен на Вазавеген. Он поднял руки и кричал: «Вперед, товарищи!».

Рабочий Петерсон был арестован за то, что обложил полицию самым сильным в Швеции ругательством: черти, воры, а рабочий Мейер за то, что пытался освободить Петерсона.

Пробиться не удалось. Демонстранты вернулись на Норра Банторгет, где начался новый митинг. Здесь выступил беспартийный безработный.

— К редакции «Фолькетс Дагблад», — раздались голоса. Рабочие тронулись к этой редакции ренегатов протестовать против ее выступлений против 6 марта.

Редакция Чильбума в этот вечер охранялась отрядом полиции в 50 человек. Но как только стало известно, что демонстранты двинулись к редакции, дополнительно было выслано три автомобиля с полицейскими. Квартал, где помещается редакция, был оцеплен полицией. Здесь произошла новая стычка рабочих с полицейскими. Полицейский отчет сообщал: «Рабочие Хедвист, Норстрем, Бакман, Нильсон и Меллондер были арестованы за демонстрацию против «Фолькетс Дагблад Политикон».

Полицейский участок «Адольф Фредрик» сообщил в прессу: «Главная трудность заключалась в спасении чильбумовцев».

Консервативная «Свенска Дагбладет» писала: «Редакторы и сотрудники «Фолькетс Дагблада» стояли в куртках или без пиджаков и обозревали массы. Защищенные капиталистическими эксплуататорскими охранными цепями «товарищи» из-

«Фолькетс Дагблада» следили за демонстрациями со стоическим спокойствием».

Но чильбумовцы боялись, что рабочие прорвут полицейскую цепь. Они держали в руках пожарные кишки, чтобы окатить рабочих в случае прорыва водой.

Чильбумовцы были реабилитированы перед буржуазией. Они стали достойными членами парламента, они выступили против рабочих вместе с полицией.

Девять арестованных, десять раненых. Среди них пятнадцатилетний рабочий подросток. Сабельный удар в голову свалил его с ног. Лужа крови. Он хотел хлеба и семичасового рабочего дня, а, может быть, он просто хотел работы.

Лужа крови безработным. Это был ответ рабочим площади Густава Адольфа, банка Скандинавска кредит, парламента, Гранд-отеля.

2. УЧЕБА И УЧЕНОСТЬ В АМЕРИКЕ 1)

(По личным впечатлениям)

В. Тан-Богораз

I

Студенческий дом

Передо мною лежит на столе прекрасный альбом с видами международного студенческого дома, в котором мы прожили все время в Нью-Йорке. На видном месте карта земного шара, с лучами, расходящимися в разные стороны из центра, как от сердца. Сердце в Нью-Йорке в студенческом международном доме. Лучи простираются во все страны, откуда происходят студенты. И кругом горделивая надпись: «На всех четырех морях все люди — братья».

В международном доме обитают пятьсот двадцать пять студентов, в том числе сто двадцать пять женщин. Окончившие курсы и уехавшие часто остаются постоянными членами студенческого союза. Общее число членов полторы тысячи. Альбом состоит преимущественно из групп этих членов, собранных по пациям. Однако пересматривая группы, сразу приходишь в некоторое недоумение. Объяснительные записки, издаваемые во множестве управлением студенческого дома, так и начинаются: «Вас, быть может, поразит, что четверть студентов родом из штатов. Мы собрали их заботливо из всех сорока с лишним штатов нашего великого союза затем, чтобы создать американскую базу международного объединения».

Так вот, пересматривая лица, мужские и женские, всех семи американских групп, мы не находим ни одного негритянского лица. Негры из штатов в это святилище международного студенчества на практике не допускаются. Я спрашивал об этом директора дома. Он поморгал глазами и сказал: «Устав не запрещает». Лицо у него было виноватое. Из Африки по спискам двадцать один студент, в том числе арабы из Египта и арабы из Алжира и несколько негров. Негры заграничные для штатов не столь ненавистны, сколько собственные бывшие рабы. В действительности я видел только одного негра, мистера Лора, родом из Сиерра-Лионе, из английской колонии.

Где были все время другие, я право не знаю.

Столица Сиерра-Лионе зовется Фритаун, что значит «свободный город», но на деле конечно его темнокожие жители совсем не свободны. Мистер Лор, как многие негры, был высок и статен и по-своему красив. У него было тело гладиатора и лицо, словно чеканное из темной бронзы. Он разговаривал с нами сначала довольно сдержанно и осторожно, но вскоре открыл свою душу.

«Кто мне никто не подходит, — жаловался он, — я сижу наверху и вниз не схожу, чтобы не оскорбить чувствительных глаз какого-нибудь белого южанина». — «Вы их разве бонтесь». — слегка поддразнивал его мой товарищ. — «Не их боюсь я, — последовал гордый ответ, — себя самого я боюсь. Я не привык к такому обращению. Мы ведь совсем не из тех, которые были рабами. Наши прадеды были вожди и сами продавали рабов проклятым английским капитанам».

Нашел чем гордиться, нечего сказать. Впрочем он, видя наше смущение, тотчас же поправился. «Это было безобразие. Мы, африканские негры, американские негры, мы все — братья. У нас будет единое стадо и единый пастырь».

Несмотря на его притязания, мистер Лор не был потомком вождя. Его отец был корабельный плотник, а дед жил в лесу со своим племенем. Но в Америке каждый старается похвастать родовитыми предками.

— А знаете, я некрещеный, — в другой раз рассказывал Лор, — миссионеры стараются крестить тех, кто в лесу, а до нас — городских — им нет особенного дела.

Оттого христианского имени у Лора не было. Его негритянское прозвище содержало два гортанных и один придыхательный звук, которые в английской передаче не понимаются, выпали. Денег у Лора не было. Нью-йоркские цветные, т.е. негритянские, общества ему помогали, но не особенно ревностно. Им хватает дела с собственными юношами. Он был учителем в школе в Восточной Виргинии, работал на заводе в

1) Отрывок из книги «Люди и нравы в Америке».

Чикаго, а здесь в студенческом доме уже на пятый день надел ослепительно белый передник и встал у камнной лохани мыть и перетирать ресторанный посуду.

Студенческий дом вообще обслуживается бедными студентами. И Лор не составлял исключения. Студенты и студентки подают и убирают, чистят и моют. Такая самодеятельность учащихся Республики нравится всем либералам, заграничным и русским. Впрочем русские либералы как-будто совсем перевелись. Те, кто уцелел за границей, стали черносотенцами, злыми монархистами.

На деле студенческое самообслуживание — жестокая штука. Труд является повинностью бедных, сибаритское безделье — привилегия богатых. Бедные приучаются служить богатым еще со студенческой скамьи.

Вся литература студенческого дома упорно твердит о вечном братстве народов и о будущем вечном мире.

Согласно умилительной легенде, созданной директором студенческого дома Эдмондсом, начало ему положила 19 лет тому назад дружественная встреча на улице бедного китайского студента с одним американцем. Американец был в благодушном настроении (может быть, он был выпивши), и он сказал бедному китайцу: «Доброе утро». Китаец в ответ расплакался и сказал: «Я уже в Нью-Йорке полгода, и никто еще ни разу мне не говорил доброго утра». Тогда они оба растрогались еще больше и положили начало международному единению сердец, а материальную базу под него подвел уже несколько позднее великодушный Джон Рокфеллер младший.

Студенческий дом настроен весьма радикально и даже к советской России относится весьма примирительно. На первом воскресном заседании общественный руководитель начал свою речь как раз с указания на тот «великий опыт», который производит Россия, за которым весь образованный мир следит с неослабным интересом. Еще в 1923 году на одном из заседаний было устроено открытое голосование по поводу признания СССР, и значительное большинство высказалось за.

С другой стороны и религия тоже не исключена. Ведь Джон Рокфеллер младший такой ревностный баптист. В каждой студенческой каморке лежала на полочке библия особого свойства, составленная из шести частей, какой-то небесный шестизарядный револьвер. Здесь был отрывок из еврейской библии, другой из евангелия, третий из корана, четвертый из индийских Ведд, пятый из персидской Зенд-Авесты, шестой из поучений Конфуция. Все эти вероисповедания были представлены в ученом муравейнике. Для того, чтобы не смущать юные души верующих студентов, из каждого отрывка были исключены наиболее несообразные вещи: чудеса, рассказы об убийствах, проклятия инако верующих, по только остались красоты поэтические и так называемые нравственные правила, в роде

трафаретных прописей, которые всем падали и набили оскомину. Например: «не убий», «не укради». В современной Америке, а также и в Европе все крадут и скрыто, и открыто.

Все же отрывки «писаний» отрицали друг друга. Шестиствольная библия имела самовзрывчатый характер.

Библия дома шестиствольная, как было указано выше. Календарь — двенадцатиствольный. В январе изречение буддийское, в феврале — христианское, в марте — китайское из Конфуция, в апреле — индуистское из поэмы Магабарата, в мае — мусульманское из арабского Корана, в июне — джайнское (Северная Индия), книга Кальпасутра, на пракритском языке, в июле — еврейское, из библии, в августе — японское, религия Шинто, книга Коджика, в сентябре опять китайское, религия таосская, книга Тао-Текип. В октябре — опять изречение индийское, исповедание сикхов, книга Сохила. В ноябре — древне-персидское, религия огня, пророка Заратустры, книга Зенд-Авесты. В декабре изречение, как вывод из всяческих религий — золотое правило: «Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтоб они поступили с тобой». В сущности неуклюжий плагиат из того же христианского евангелия. Тут же отрывки из Льва Толстого и президента Абрагама Линкольна и рядом, к удивлению, из другого президента, презренного Калвина Кулиджа. Изречения принца Уэльского и Ганди совсем рядом. И все говорят о мире, Раймонд Пуанкаре и Герберт Гувер, даже сам Наполеон, все угодили на те же страницы и все говорят о мире, о союзе человечества, о Лиге наций, чорт бы их побрал.

Надпись на могиле Гранта, победителя междоусобной войны, гласит: «Да будет с нами мир». А надпись на студенческом доме откликается ей через дорогу: «Да будет торжество братства». Одним словом, речи у всех одинаково сладкие.

Речи на эти сладчайшие темы раздаются в студенческом доме правильно и регулярно на еженедельных воскресных ужинах, устраиваемых на пятьсот человек, на средства того же Рокфеллера, по тощих и голодных. Надо сперва пообедать в ресторане внизу. Говорят директор и другие должностные лица, говорят и студентки, по преимуществу белые, выступает порою сам Джон Рокфеллер младший, с его глумливым, несколько бараньим лицом. Но вот речь именитого гостя, французского министра Гоннора вскрывает подоплеку этого объединения, подобного пресловутой международной Лиге наций:

— Мировое объединение XVIII века принадлежало дворянству, которое складывалось во всем мире как класс международный. Заблуждения этого класса привели к французской революции, и после того, в течение полутора столетий, власть аристократии сходит на-нет. В настоящее время интеллигентный класс должен создать новые связи, которые соединят человечество, не взирая на различие рас и перегородки

наций. Этот класс создаст тот нравственный и духовный авторитет, который составляет существо цивилизованного общества.

Постановка, как видите, четко классовая. Класс интеллигентный, т.е. класс буржуазный, замещает дворянство, и ему принадлежит авторитет управления обществом.

Беднейшим студентам не место в студенческом доме. Комната и стол обходятся в среднем два доллара с четвертью в день, или восемьсот долларов за тридцать семь недель академического года. Сюда же включены плата за слушание лекций, одежда и другие издержки. Общая сумма расходов за год равняется минимум тысяче двумстам долларам. Я займаю эти указания из «Памятки студента». Сто долларов в месяц — это двести рублей. Такие расходы конечно не под силу беднейшим студентам.

Учредитель студенческого дома пытался раздуть это дело до общеамериканских размеров. Но ему удалось до сих пор устроить только второй дом международного студенчества в Калифорнии при Берклейском университете. Дом построен однако на средства того же Рокфеллера, который пожертвовал два миллиона долларов. Другим миллиардерам эта организация кажется слишком сомнительной. Все-таки народы чужие, цветные.

Устроен студенческий дом с большими удобствами. Каморки правда небольшие, в роде тюремных камер, но света и воздуха много, в особенности в верхних этажах. Налево и направо подъемные машины, в машинах подъемщики негры, лестницы тоже есть, но по лестницам люди не ходят. В противность европейским расценкам, чем выше этаж — тем комната дороже. Направо помещается мужская половина, налево — женская. Она в четыре раза меньше мужской. Женщинам ходить на мужскую половину, а мужчинам на женскую — строго воспрещается. Оба пола встречаются в общих помещениях: в ресторане, в гимнастическом зале, в гостиных и приемных. Впрочем и здесь есть особые женские и особые мужские уголки.

Прекрасно устроены умывальные комнаты — с ваннами, с душами, с горячей и холодной водой. Места столько, что хватает на всех. Очередей никак не заводятся. Мыться под душем в Америке — чистота, быстрота и наслаждение. Сорок человек бреются сразу в зеркальной предванной комнате, потом переходят в купальную, смывают и мыло, и грязь.

Ресторан устроен по новому типу, который в Америке заметно вытесняет все прежние. Имя у этого устройства итальянское — Cafetteria. Длинная подкова секторов мраморных прилавков, на каждом прилавке на горке стеклянные полочки, на полочках тарелки и тарелочки с закусками, с блюдами, с хлебом, пирожным, с мясом, с десертом. К прилавку на высоте пояса прилажены узенькие рельсы. Надо взять поднос и ехать по рельсам от сектора к сектору, выбирая из полок, что нравится.

За прилавками студенты-разливальщики. Они разливают горячие блюда из закрытых котлов, постоянно согреваемых газом. В конце концов доедете до чековой кассирши. Она поглядит, прикинет общую цену и выдает соответственный чек.

С подносом переходишь в ресторан, выбираешь себе место — а места довольно для всех — и приступаешь к еде. Потом, бросив грязную посуду, возвращаешься к подкове с другой стороны и проходишь мимо денежной кассирши, чтобы уплатить по чеку. В обеденной зале расхаживают студенты-уборщики, проворно убирают посуду и чисто вытирают стеклянные столы. Все это устроено бесшумно и удобно, персонала сравнительно немного, и очереди никак не задерживаются. Встанет у входа сто человек, и через десять минут все они поехали по рельсам в обеденную залу. Блюд множество, овощи и фрукты, несколько супов, кофе и чай, шоколад и молоко, мороженое, которое американцы поглощают в неизмерных количествах, и всякие «мягкие» напитки, какими утешаются обремененные судьбой американцы за отсутствием крепких. Сода с малиновым соком, имбирное пиво, солод в молоке, замороженное кофе, замороженный чай и всякие другие охлаждения, без которых никак не проживешь в раскаленное лето Нью-Йорка. Нью-Йоркское лето длится полгода.

В доме живут непринужденно. Публика бегаёт по верхним коридорам между спален в совершенно растерзанном виде. Курточка, трусики, а нередко и совсем ничего. Туфли, халат нараспашку и, пожалуй, очки. Приемные залы внизу, как обычно в Америке, устроены в разных стилях. Некоторые в английском, эпохи королевы Аяны — XVIII века, другие в американском стиле колониальной эпохи. Главная гостиная скопирована с старинных палат семьи Шуйлера в городе Олбани, где между прочим жил под домашним арестом английский генерал Бургойн, взятый в плен во время революционной войны. Старинные лестницы в точеных перилах, совсем как у Шуйлера даже подделан следок от удара томагавком. Этим томагавком во время индейской осады дитый индейский воин метнул в малолетнего Шуйлера.

Учатся студенты в университете Колумбия, который расположен по соседству, в пяти минутах ходьбы. Колумбия — это огромный студенческий город, в нем множество всевозможных аудиторий и лабораторий, общежитий и женских, и мужских, теннисных площадок, футбольных полей. Студентов 28.000. Такого студенческого города нигде не отыщешь в Европе. В Париже, за чертой укреплений, строится студенческий город тоже для разных народностей. Но его удобства и размах не смогут сравниться с нью-йоркской Колумбией.

Живется в студенческом доме Рокфеллера весело и шумно. Каждая группа имеет свои национальные комнаты и устраивает там собрания и лекции на собственных языках. Раз или два в месяц устраиваются

праздники, маскарады и пляски, спектакли, игры, тоже с национальными оттенками. Шляжут индусы с армянками и немцы с филиппинками и бойко торгуют разной дребеденью, восточной и западной. Армяне торгуют коврами, турки — ятаганами, египтяне привозят открытки с пирамидами и сфинксами и искусно подкрашивают их от руки. Филиппинцы продают перламутровые ножики, китайцы выставляют веера. Поляки и словаки — вышивки по белому холсту, японцы — резных обезьян и коробки с лакированными журавлями. Покупают разумеется американцы «на память о Востоке». Иные восточные люди умудряются жить распродажей привезенных изделий. Искуснее всех армяне и сирийцы, евреи и русские постыдно отстают, у них, к удивлению, мало торговой художественной выдумки. К вечеру в главной приемной студентки и студентки усаживаются парами на широких кушетках и креслах, спускаются вниз в ночную кофейную, играют в кости и карты. Женщины курят не меньше мужчин. Это тоже новое. Тридцать лет назад американки в общественных местах не смели курить. Даже в немецком ресторане при мне лакей остановил известную писательницу Цецилию Зелер, родом из Германии, жену еще более известного профессора Эдуарда Зелера. Она только-что достала папироску и взялась за спички, но ей пришлось спрятать и то, и другое. Мы не могли ей помочь. Курить в ресторане для женщины было неслыханно. Можно было курить только дома, в закрытом помещении. Теперь женщины и девушки попеременно с мужчинами дымят, как заводские трубы.

В одиннадцать часов в общих помещениях гасят все огни. Двери запираются, прислуга уходит на покой. Впрочем под'емники действуют всю ночь, с особыми входами с улицы. Также и юная публика не хочет уняться, парочки и группы выходят на широкий портал, садятся на барьеры и дальше спускаются вниз, на тенистые откосы, по берегу великоленного Гудзона. Здесь на три километра расставлены укромные скамейки, и везде на скамейках парочки. Тут смешиваются все классы: рабочие, приказчики, студенты, даже белые и негры. Впрочем здесь нет фонарей, и ночью темно, белого от негра не отличишь. В каждом углу, под каждым развесистым деревом обнимаются и целуются с неослабным усердием. Время проходит. Надо вставать, расходиться, итти на покой. Девушкам — в свой монастырь, а юношам — в свой.

Несмотря на преобладание американцев, а также европейцев, цветные народы тоже создают в студенческом доме пестроту. В 1928 году западных европейцев, французов и немцев, итальянцев, голландцев и шведов было в общем 25 проц., столько, сколько американцев. Китайцев было 50, индусов — 45, филиппинцев — 47, японцев — 36, турок и армян, албанцев и арабов, персов и сирийцев — 37, сербов и болгар, литовцев и поляков, латышей, финляндцев и эстонцев — 32, русских — 27.

Среди русских было тоже немало пестроты. Дети белых эмигрантов, американских и европейских, юноши более нейтрального происхождения, например из Бессарабии, из польской Белоруссии, из Харбина и Шанхая.

В жоноамериканской группе я встретил мулата, которого я принял за креола. Креол — местный испанец, без примеси негритянской крови. Но как их разберешь, — все они смуглые. Даже сами американцы путают. Мулат рассказал мне, что он родом из племени диких негров. В южной Америке в двух местах есть негритянские группы, которые составились из белых рабов, убежавших в леса и там сложившихся в независимые племена, в роде американских индейцев, но только разумеется черного цвета. Самая крупная группа этих искусственных новых племен обитает в Гвиане, английской и голландской. По образу жизни они мало отличаются от лесных индейцев, но вот язык у них совсем иной. Какой-то причудливый жаргон, английско-португальско-голландский. Поселки и роды соответствуют плантациям, откуда когда-то бежала данная группа рабов. «Я из группы Насило» — рассказывает гвианец. Эта группа бежала с плантацией семейства Наси. Наси были португальские евреи богатого рода, которые переселились в Гвиану, избегая гонений в Европе. Здесь они заняли землю, купили рабов и зажили на княжескую ногу. С рабами, должно быть, они обращались не особенно мягко. И черные рабы бежали от этих еврейских изгнанников. Такие неожиданные комбинации постоянно встречаются в Америке, и в Северной, и в Южной.

В Америке есть подлинная еврейская аристократия, и старая, и новая, и рабочие евреи ее ненавидят исключительной ненавистью.

Цветные и восточные нации наполняют студенческий дом строптивостью и злостью. Даже в казенной литературе студенческого дома я нашел следующее место: «Международные гости ведут постоянные споры, и часто они приглашают своих американских хозяев послушать, как о них думают другие народы. Швейцарец задает американцам вопрос: почему они так ненавидят негров, когда среди негров так много артистов и людей одаренных. Китайцы говорят об американской эксплуатации китайских детей в Ухане и Шанхае. Они называют Америку «жадным Шейлоком» среди угнетенных народов. Индусы насмеются над миссионерами, которых американцы посылают в огромную Индию вести пропаганду. Корейцы сшибаются с японцами. Даже филиппинцы критикуют американский режим на острове Люсоне».

Мы, двое русских, прямо из советской России, занимали в студенческом доме особенное место. Индусы, китайцы и корейцы постоянно подходили к нам с таинственными лицами и спрашивали о том: действительно ли мы дали полную свободу турецким и финским, монгольским и бурятским

и всяческим иным республикам. «Пусть вы большевики, — говорили они, — но что из того. Вот американцы, англичане совсем не большевики, а что в них проку...»

Эти наивные речи мелкобуржуазных студентов цветного Востока были наглядными свидетелями того неограниченного влияния, которое имеет на разных земных континентах национальная политика советской России, среди этих бесчисленных народов, малых и средних, и огромных, которых европейцы упрямо стараются держать на задворках, а в второстепенном положении, а они неумоимо выбиваются вперед и стараются стать самым первым сортом, не хуже своих победителей.

Молодой и восторженный друг из Ливанских ущелий с места в карьер предложил нам заключить союз и послать друзьям десант на помощь против французов.

Десант вообще высаживается на морском берегу, а друзья обитают в горах. «Ничего, как-нибудь» — упрямо твердил друг на мои возражения. Он плохо говорил по-английски, и понимать его было трудно.

Араб из Ирака под страшным секретом сказал мне, что он хочет поехать учиться в Москву, если я ему обеспечу стипендию.

Я в то время усердно старался устроить в Америке несколько стипендий для русских студентов, не тех сомнительных полуэмигрантов, которые попадают в Америку, а самых настоящих комсомольцев из Москвы и Ленинграда. Пять стипендий мы устроили, и ныне, в 1930 году, пять русских комсомольцев обучаются в Нью-Йорке. Таким образом мои финалсовые планы и возможности совсем не сходились с мечтами цветных обитателей студенческого дома, желавших получить стипендию в Ленинграде и Москве.

Но что отложено, то не потеряно. Может быть, ко второй пятилетке они попадут с американского Запада на русский Восток.

II Учеба

От студенческого дома прямой переход к университету, а пожалуй, к американской школе вообще.

Приведу несколько статистических данных. В Штатах на 125 миллионов жителей — 30 миллионов детей от 5 до 17 лет (1926 г.). Из этого числа 17 миллионов мальчиков и девочек, т. е. более 90 проц., посещали общественные и частные элементарные школы.

В школах, соответствующих нашей второй ступени, было 3.750.000 учащихся. Общее число учащихся во всех школах, низших, средних и высших, было 31 миллион, т. е. около 25 проц. всего населения. Учащих было 977.000. На народное образование в том же году было израсходовано два миллиарда долларов. В 1905 году было израсходовано только 292 миллиона долларов. Стало быть, за двадцать лет расходы по образованию увеличились в семь раз.

Число университетов вместе с колледжами, которые в общем являются переходом

от гимназии к университету и, пожалуй, соответствуют нашему техникуму, — 950. Из этого числа ассоциация американских университетов включает только 219 настоящих высших учебных заведений, в том числе 34 университета, 19 технических институтов и 166 колледжей. Число студентов во всех высших школах страны равно миллиону. В университетах и институтах высшего ранга, указанных выше, число студентов в 1926 году было 410.000.

В СССР в 1926—27 году было 124 высших учебных заведения со 160.000 студентов.

Расходы по высшему образованию во всех школах были равны 409 миллионам. В среднем расход на одного студента доходит в «настоящих вузах» до 500—600 долларов в год.

Факультеты и кафедры в Америке весьма разнообразны. Есть курсы дневные и вечерние, зимние и летние, курсы заочного обучения, курсы, читаемые по радио. Местный союз учителей в городе Бруклине, учреждение большое и богатое, открыл даже особый факультет для карточной игры бридж с тремя отделениями, с лучшими профессорами и очень глубокими подходами. Есть например такие предметы: психология спроса и прикупки, учение о взятках и перекрестных козырях с особым семинарием.

Содержатся университеты, как и другие ученые учреждения Америки, в значительной степени на средства миллионов. Правления университетов проявляют огромную энергию и предприимчивость при добычании средств. Это, можно сказать, скачка с препятствиями. Как и во всех вообще учебных учреждениях, правление университета состоит из президента и совета старшин (trustees). Президентом чаще всего является миллиардер, старшинами рыбы помельче — миллионеры или стотысячники. Президент слишком часто склонен рассматривать свой собственный университет как некий вассальный удел. Так например в большом калифорнийском университете имени Станфорда, основанном на средства фамилии Станфорд, в память их единственного, рано умершего сына, почтенная вдова Станфорд некогда изгнала виднейшего профессора за то, что он разошелся с нею во взглядах на пресуществование Христа.

Даже когда университеты, музеи и т. д. устраиваются на государственные средства, их судьба часто не очень завидна. Особенно страдают музеи подальше на западе, в таких штатах, как Дакота или Невада. Я встретил в Нью-Йорке в замечательном новом «Музее американского индейца», устроенном на миллионы мистера Гейе, молодого этнографа Чапмана, который недавно приехал из Монтаны. Он рассказал следующую горестную повесть. В штате Монтана борются две политические партии: одна называется «грамотные», другая «безграмотные». «Грамотные» — республиканцы, «безграмотные» — демократы. «Грамотные» долго имели в своих руках власть. Они построили университет и краеведческий му-

зей. Но потом население их свергло за невыносимое высокомерие и посадило на их место «безграмотных». «Безграмотные» тотчас свернули музей, перестали топить его, ученых разогнали и при музее оставили только сторожа. А деньги на содержание музея поделили заправилы. Чапман уехал на восток и успел прибиться к новому нью-йоркскому музею. «Нет, как хотите, нам с богачами лучше» — доказывал Чапман. В это время мистер Гейе явился в музей.

— Патрон идет, — шепнул Чапман довольно испуганным голосом и пробрался на пыпочка в свою собственную комнату.

Щедрость богачей тоже доступна колебаниям.

— У нас в прошлом году случилось большое несчастье для нашей науки, — рассказывал Чапман, — умерло четверо старшин.

— Четверо ученых? — спросил я довольно наивно.

— Хо! — презрительно фыркнул Чапман, — хуже того. Четверо парней с начинкой. Они ежегодно давали музею сто тысяч долларов. Нам пришлось из-за их смерти уволить четверть персонала.

Однако вообще благодетели-патроны профессоров не изгоняют, — не за что, они совершенно послушны. Их, напротив того, привлекают, приманивают, предлагают им высшую оплату. Среднее содержание профессора — 7.000 долларов, т.е. 14.000 рублей в год. Для более крупных ученых оплата доходит до 20.000 долларов.

20.000 долларов — это в Америке высшая оплата вообще для интеллигента. Так например в Американской федерации труда или в центральном совете рабочих союзов председатель, вице-председатель и ответственный секретарь тоже прикармливают в среднем по 20.000 долларов.

В 1928 году общая сумма пожертвований на научные нужды в Америке составляла 2.330.500.000 долларов.

Помимо науки, в университетах занимаются спортом, футболом и бейсболом, гонками на яхтах и лодках, гольфом и теннисом и далее легкой и тяжелой атлетикой, в частности боксом.

Постоянно устраиваются состязания университетов, колледжей, школ и т. д. Хороший игрок, содействовавший получению приза, является героем в школьном масштабе, а также в масштабе всенародном.

Все народности, обитающие в штатах, одинаково увлекаются спортом: русские, негры, евреи.

Осенью в нью-йоркских газетах был напечатан огромный портрет студента Энди Кюгена, который к еврейскому новому году выиграл в поло ответственный матч за Гигантов против Робинсов, 5 против 4. Крупный загодовок гласил: Masetof, Andy. Masetof — означает поздравление на древне-еврейском языке.

Не мудрено, что все состязания давно приобрели профессиональный характер, в том числе и университетские. Хороший

игрок, войдя в университетскую команду, получает значительные суммы. С другой стороны перед игроком-студентом открываются перспективы гораздо заманчивее всякой ученой карьеры. Наивысшие искусники получают баснословные деньги. Матч бокса между известным Демпсеем и не менее известным Теннеем привлек 125 тысяч зрителей, которые заплатили 2.000.000 долларов. Демпсей получил 750.000 долларов за 30 минут схватки, юноша Тенней — 450.000 долларов; а владелец стадиона получил прибыль в 437.000 долларов. Превосходный игрок в бейсбол, руководитель партии «Малютка» Рут пудов на 7 зарабатывает в год 1.000.000 долларов. Футболист Рэд Грандж заработал в один день 375.000 долларов. После того он продал свое имя для использования в рекламах: фабриканту фуфаяк за 12.000 долларов, сапожнику — за 5.000 долларов, шапошнику — за 2.500 долларов и папироснику — за 1.000 долларов, хотя сам Грандж не курит.

Мисс Эдерле, переплывшая Ламанш, получила за свой подвиг миллион долларов.

Боксер Тенней сделался народным героем в Америке. В Англии он был представлен принцу Уэльскому и снялся вместе с ним на общей карточке. После того он снялся вместе с Бернардом Шоу. Тенней был в пиджаке, а широкобородый Шоу в спортивных трусиках. Юный царевич американского бокса выразил в газетах свое милостивое одобрение обеим английским персонам.

Церковь в Америке с наукой не очень в ладах, а спортом увлекается совсем напропалую. Так, в христианском союзе юношей тысяча платных директоров физического воспитания наблюдали и руководили упражнениями одного миллиона мужской молодежи. Сюда надо прибавить еще 300.000 христианского союза девиц.

Восемнадцать больших национальных организаций Америки объединили и создали условия для физического развития 7.000.000 человек. Сорок тысяч платных руководителей и шестьдесят тысяч советников и выборных членов комитета, эти сто тысяч мужчин и женщин руководили и обучали молодежь во всех видах спортивных упражнений.

Надо разумеется признать, что спорт и физкультура в Америке при всех искривлениях и даже уродствах имеют огромное значение для всего молодого поколения, особенно в больших городах, где дети растут далеко от природы и солнца, в каменных ущельях-каньонах, меж стенами небоскребов. Также и учеба в Америке представляет огромные возможности. Огромные доходы и средства колледжей и университетов дали возможность устроить лаборатории физические и химические, даже по самым специальным областям, с богатством, невиданным в Европе. Точные науки в Америке растут, правда все больше прикладные, но развиваются также и более общие отрасли. Науки социальные как-то не могут подняться выше статистики. Гумани-

тарные науки в Америке — это до сих пор огромный переплет, в котором запрятана довольно тощая книга. Трудно развивать философию, в особенности общественную, в кармане у финансовых старейшин. Чуть что, тотчас же обвешивают коммунизмом. Это случилось с известным Джоном Дьюи, который в позапрошлом году приезжал в СССР с партией профессоров. Дьюи называли перед тем гордостью американской философии. Но потом, возвратившись в Америку, он написал в «Новой Республике» несколько статей, довольно благоприятных для СССР. После этого фашистские газеты подняли настоящую травлю. Матвей Уолл, вице-председатель федерации труда, человек реакционный и продажный, предложил совету рабочих союзов в знак протеста против Дьюи снизить субсидию нью-йоркскому колледжу, который зависел от совета и в котором Дьюи был одним из профессоров. По этому поводу поднялся общий крик, но Уолл настоял на своем.

III Ученость

Американская ученость поражает своим массовым характером. В январе 1929 года я участвовал в ежегодном съезде A. A. A. S., American Association for Advancement of Science «Американская ассоциация для развития знаний». Съехалось пять тысяч участников по всем специальностям, присутствующим и даже несущим. Было 62 секции. Иные считались по цифрам, а иные по буквам. И при выдаче путевок и всяческих билетов ученые стояли длинными хвостами, как-будто за селедками в российской потребилке. Замечу в скобках, что американские ученые тоже люди простые. Они получают бесплатные путевки и всякие льготные билеты, вплоть до трамвайных карточек, не хуже, чем на съездах в пределах СССР.

Профессор Франс Боаз, мой старый друг и глава американских этнографов, читал на конгрессе доклад на тему: «Основные параллели сибирской и американской культур». Зал был огромный, в нем было три тысячи слушателей, и все до одного участники конгресса.

Нас в СССР конгрессами, пожалуй, не удивишь. Ученые съезды у нас происходят почти еженедельно, и тоже собираются сотни и тысячи участников. Наши конгрессы беспокойные. Мы все ищем прохода в грядущее. Перематываем всякие науки со старого хода на новый. Перематываем немало и собственные нервы. У американцев лихорадочная уличная жизнь, а наука спокойная. Ученые не ищут ни выходов ни входов, а просто читают доклады, а потом их печатают на толстой белой бумаге бесчисленных сборников. Впрочем на съезде A. A. A. S. разыгрался целый скандал по поводу доклада доктора Барнса: «Медицина или религия должна руководить жизнью». Он говорил в этом докладе о боге не очень почтительно, но все-таки до-

вольно осторожно: «Десять Моисеевых заповедей только тогда являются для нас обязательными, если они совпадают с основными законами естественных и социальных наук».

«Современная наука доказала, что трудно утвердить самое существование бога и еще труднее допустить особую заботливость бога о наших маленьких делах на нашей маленькой планете».

Одним словом, вещи общеизвестные, знакомые на «ять» каждой группе самых юных пионеров в пределах СССР.

Однако устроители конгресса обрушились на Барнса всей тяжестью своего негодования. Профессор Осборн, президент Американского музея естественных наук, президент конгресса американистов и президент с'езда A. A. A. S., на собрании пленума набросился на Барнса, можно сказать, как ястреб на скворца. «Мы занимаемся здесь вещами научными и точными. Взвешиваем, измеряем, производим анализ химический и физический. Мистер Барнс не имел права вводить тему, относящуюся к метафизике, философии и религии. Если бы я председательствовал в той секции, я конечно остановил бы его».

«Мы просим духовенство объяснить публике относительно антагонизма между наукой и религией. Такого антагонизма нет и быть не может. Самые великие ученые были весьма религиозные люди».

Этот эпизод не требует никаких комментариев. Прибавлю разве одно: знаменитый профессор Осборн, кроме своей набожности, является провозвестником пресловутой нордической теории о превосходстве северной расы, долгопязой, белокурой и голубоглазой.

Президиум конгресса в воскресенье устроил специальные проповеди для членов в 48 церквях.

Я тоже читал на конгрессе доклад, но более тесные связи были у меня с другим конгрессом, который состоялся несколько раньше, в сентябре 1928 года. Конгресс этот был международный, — XXIII международный конгресс американистов, но все-таки он не был такой импозантный, как ежегодный смотр науки собственно американской.

Союз американистов существует более 50 лет. Он обнимает ученые работы по пяти отделам: 1) география Америки, 2) этнография, 3) антропология, 4) археология (все это, разумеется, по преимуществу на американском материале и в тесной связи с Америкой) и 5) история Америки до Колумба или в начале открытия Америки.

Конгресс собирается раз в два года, поочередно на обеих сторонах Атлантического океана. Таким образом европейским участникам конгресса приходится ездить в Америку, а американским членам постоянно ездить в Европу. Мы, русские ученые, вошли в союз американистов довольно своеобразно. Не с запада, а с востока. Русские связи с Америкой вообще простираются к востоку. Эскимосы и чукчи на крайнем востоке знали Америку с незапамятных вре-

мен, задолго до Колумба. Русские казаки открыли Америку в половине XVII века без всякой связи с Колумбом и Америго Веспуччи. По этому поводу мы, русские ученые, постоянно обмениваемся с нашими соседями, американскими и европейскими, шутками и колкостями, иногда не вполне безобидными.

XXII конгресс американистов имел место в Риме в 1926 году под кровом фашистов. Итальянцы вообще переслали в Америку несколько миллионов колонистов: половину в Соединенные штаты, а другую половину в Аргентину, где потомки итальянцев составляют, пожалуй, 40 проц. всего населения. Итальянские фашисты, разумеется, изо всех сил пыжались, чтоб подчеркнуть свой американский интерес. Однако ученых интересов в области американизма в Италии вообще не существует. В Америку едут шахтер и цырюльник, батрак из Палермо, а учитель и чиновник остаются в Италии и фыркают через Ниццу на французоз. Итальянский конгресс проходил уныло. К тому же итальянцы на чужих языках не говорят. Они свои доклады читали на родном языке, который даже не является основным языком конгресса. Основными языками признаны английский, немецкий, французский и также испанский — из-за Латинской Америки.

В прениях итальянцы, не имея никаких современных американистов, ежедневно козыряли перед нами именами двух итальянских американистов, действительно великих, но немного устарелых: Христофора Колумба и Америго Веспуччи.

Как-то за ужином, не особенно парадным, когда начались речи, я встал и предложил исключить из состава речей эти два превосходные, но уж очень общезвестные имени. Многие смеялись сочувственно, по один итальянец сказал: «А у вас и того нет. Объясните нам, какие у вас, русских, есть американисты?» И тут я объяснил, что мы, русские, варвары, скифы, большевики, люди своеобразные, лицом повернулись к обдорам, а спиной к Европе. Колумб и Веспуччи открыли Америку с запада, а русские казаки с востока. Казаки прошли через Северную Азию до Берингова пролива, потом перебрались в Аляску, из Аляски попали даже в Калифорнию, где основали в начале XIX века колонию Росс.

Протесты итальянцев не могут никак изменить основную базу русского американизма. Главным вопросом всех пяти отделов американизма является проблема о том, откуда человеческая раса забралась в Америку. Ближайшим мостом был очевидно Берингов пролив, который, кстати, не особенно давно, т.-е. разумеется, в геологическом масштабе, этак за 20.000 лет тому назад, был действительно мостом, соединявшим Европу с Америкой. Определенная часть народностей Северо-Восточной Азии так близко связана с народностями Америки, что мы называем их в науке «американоидными». Этот термин ввели мы, русские американисты. Но в сущности его нужно

перевернуть наоборот. Не дедушка похож на собственного внука, а внук — на дедушку. Таким образом надо не азиатов называть американоидами, а напротив того — американцев определить как древних азиатов.

Во всяком случае русская секция американизма существует лет тридцать. Она получила право гражданства в 1902 году на I нью-йоркском, а по общему счету XIII конгрессе американистов, который был отпразднован чинно и парадно и обошелся американцам в сто тысяч долларов.

На конгрессе были представлены сорок государств и народностей Европы и Америки.

За три года до конгресса, в самом конце XIX века, Боаз организовал на средства одного американского миллионера известную северо-тихоокеанскую экспедицию для изучения народностей, обитающих в Азии и Америке. Ученых для русской стороны должна была представить Российская академия наук, а она не нашла никого, кроме трех ссыльных этнографов-народовольцев. Среди них были покойный Л. Я. Штернберг и я, пишущий эти строки.

Россия все-таки дала ученых, а американцы оплатили расходы, — комбинация небывалая.

Экспедиция работала несколько лет. Опубликование материалов до сих пор, через тридцать лет, еще не закончено.

Недавно состоялся II нью-йоркский конгресс, по общему счету XXIII. Американцы искренне старались увеличить его важность, но безрассудная пышность прошлого уже миновала навеки. Американцы не желали тратить деньги так себе, зря, чтоб просто ослепить европейцев. Зато доклады на XXIII конгрессе были гораздо содержательнее, чем на предыдущем. За минувшую четверть столетия американская наука несомненно шагнула вперед.

Оба конгресса, и XIII, и XXIII, состоялись в Американском музее естественных наук в Нью-Йорке. Это самый крупный музей мира. Общий план его был составлен еще в 1891 году, в начале XX века был открыт только один угольный массив, а к 1928 году открыли и другой массив, застроили все промежуточные залы, стеклянные крыши. Остается еще два угла и огромный купол.

Свой первый доклад на XXIII конгрессе я мог начать так: «Двадцать пять лет назад в этом самом здании у меня был свой собственный office...» — конечно не office, а комната, но в Америке имеются титулы даже для комнат. Особенно пышно устроены зоологические монтажи музея: звери, птицы и т. д. Людям в музее как-то меньше везет.

Свои чукотские коллекции я нашел на их старом месте, но вот один чукотский бюст затесался почему-то в Перу и нарядился в венки из цветных перьев. Я торжественно извлек его из шкафа и лишил этого самозванного украшения.

Географы и этнографы вообще были на западе всегда аполитичны, т.-е. разумей:

весьма реакционны. Но теперь политическое расщепление проникло и в эту заскорузлую среду. На конгрессе было несколько фигур вполне определенных. В первую голову надо назвать председателя конгресса, вышеупомянутого профессора Франца Боаза. Ко времени конгресса ему исполнилось 70 лет. Во время войны между ним и американской наукой, в том числе его собственными учениками, открылась заметная трещина, и конгрессе должен был послужить к общему примирению.

Боаз — человек довольно любопытный. Он родом немецкий еврей из довольно известной семьи Боазов и приехал в Америку еще в начале 80-х годов, только-что окончив Берлинский университет. Я знаю его лет тридцать. Все лицо его исполосовано старыми сабельными шрамами от студенческих поединков, так называемых «мензур». Он не принадлежал ни к одной студенческой корпорации и воевал с нестерпимыми буршами, защищая свою независимость. В Америке он, несмотря на все свои таланты и знания, не сумел приспособиться к денежным мешкам, опекающим науку, и держался отчасти в стороне.

Во время войны он объявил себя вначале пацифистом, а потом пораженцем. В этом деле он проявил большую твердость. Он написал статью, излагавшую его пораженческое *credo* и предложил напечатать ее в газете «Вечерняя Почта». Газета было согласилась, предвкушая скандал, но потом испугалась и вернула Боазу уже набранную гранку. Тогда Боаз принес эту гранку в свою аудиторию и прочел ее студентам вслух. Все студенты, как один, молча встали и в знак протеста вышли из аудитории. Они были поголовно ура-патриоты и предвкушали с воодушевлением грядущую славу и большие доходы от войны для Америки.

После того Боазы стали бойкотировать, но он не сдавался и даже в знак протеста взял и записался в социалистическую партию. Для американского ученого записаться в социалистическую партию — все равно, что пойти и утопиться. Но в конце концов твердый старик внушил уважение даже дельцам из Нью-Йорка, связанным с наукой. Боаз является искренним другом российской революции и деятельным членом американского отдела ВОКС.

Рядом с Боазом надобно отметить Эрланда Норденшельда, знаменитого шведского этнографа, сына еще более знаменитого Адольфа Норденшельда, обехавшего Северную Евразию на корабле «Вега» и открывшего, таким образом, северо-западный проход. Обоих Норденшельдов когда-то называли «красными баронами». Семья Норденшельда финляндского происхождения. Но они должны были в свое время убраться из Финляндии, спасаясь от преследования российских жандармов. Адольф Норденшельд был связан старой дружбой с Петром Кропоткиным. На XXI конгрессе, в 1924 г., Эрланд Норденшельд передал Л. Я. Штерн-

бергу весьма интересные письма Кропоткина, сохранившиеся в архиве его отца.

Политическая эмиграция до добра никого не доводит. «Красные бароны», перебравшись из Финляндии в Швецию, весьма обеднели. К тому же молодой Норденшельд проявил бурный темперамент и сошелся с дочерью рабочего-металлиста Ольгой Н., а потом женился на ней. Чванное общество Стокгольма подвергло его остракизму. Он отряс со своих ног прах надутого Стокгольма, забрал свою Ольгу и поехал в Южную Америку.

С тех пор прошло много лет. Эрланд с женой побывали в таких местах Южной Америки, где до сих пор не ступала нога белого человека. И ныне Швеция гордится им не менее, чем его отцом. Книжки его издаются на разных европейских языках. Вернувшись в отечество, Эрланд устроился не в реакционном Стокгольме, а в либеральном Гетеборге, который лежит на западном берегу, рядом с Норвегией, и является главным торговым городом Швеции. Богатые арматоры — строители судов в Гетеборге — построили Эрланду новый с иголочки музей, красивый, как игрушка. Он со своей стороны утратил красоту и стал бледно-розовым, даже желтоватым, а скорее бесцветным. Впрочем он остался тем же неустрашимым путешественником, и описание его приключений представляют тропические параллели к делам Нансена, Амундсена и других скандинавских изыскателей.

Русская секция на конгрессе в Нью-Йорке выступила с серией докладов, не только научных, но также научно-общественных. Центральное место занимали сообщения о великой культурной работе, которая ныне производится силами советской общественности среди малых народностей севера и северо-востока Евразии. Я сделал например особый доклад об институте народов севера. Этот институт устроен, в виде парадокса, в Александро-Невской лавре, в толстых каменных стенах бывшей духовной академии, упраздненной за ненадобностью. В институте обучаются 24 народности, начиная с лопарей и кончая азиатскими эскимосами. Большая часть этих студентов, пришедших на смену поповству, никогда не была крещена и является таким образом, по старой номенклатуре язычниками.

Я показал конгрессу несколько десятков диапозитивов, наглядно осветивших студенческую жизнь. Чукчи, самоеды, тунгусы и гиляки предстали в обычной культурной одежде, сидели за столами, занимались, обедали в студенческой столовой, упражнялись в физкультуре, рисовали и готовили уроки. Северные студенты, кстати, весьма одарены художественно. Я устроил на конгрессе небольшую выставку сделанных ими рисунков, наивных и странных, и смелых.

И вот, во время одного из моих докладов мой добрый приятель, Эрланд Норден-

шельд, тихонько толкнул моего старого друга Франца Боаза и спросил его шопотом: «Что это действительно они ведут там такую хорошую работу или это только большевистская пропаганда?»

Боаз сообщил мне об этом под страшным секретом. Я с Норденшельдом разговаривать не стал, но через несколько дней, во время другого доклада, сказал к слову, что мы пропаганды вообще не ведем, а если и ведем, то это пропаганда не словами, а наглядными фактами.

На выставке рисунков я поместил заодно

две стенгазеты, составленные теми же студентами, огромные, в алом оформлении, похожие скорее на плакаты. На видном месте стояла могила Ленина, и к ней устремились справа и слева шествия разных народов. Подпись гласила: Могила Ленина — колыбель свободы человечества. У этих газетных плакатов останавливались все посетители. Их прошло через конгресс тысячи. Нью-Йоркские газеты и журналы писали довольно много о русской делегации во время конгресса и после конгресса.

Книжное обозрение

1. ИВАН УКСУСОВ „Двадцатый век“. Арк. Глаголева.— 2. А. ДОЛГИХ „Кривая“. Т. Николаевой.— 3. БАСИЛИЙ РЯХОВСКИЙ „С гор потоки“. Бориса Гроссмана.— 4. ВЛАДИМИР ЮРЕЗАНСКИЙ „Алмазная свита“. Н. Седова.— 5. Е. НО ИКОВА-ВАШЕНЦЕВА „Маринкина жизнь“. Т. Николаевой.— 6. АНДРЕЙ ГИППИУС „Записки главноуговаривающего 293 пехотного Ижорского полка“. Бориса Гроссмана.— 7. ПЕТРО ПАНЧ „Безковыря“. Бориса Анибала.— 8. а) МАКС ГЕЛЬЦ „От белого креста к красному знамени“, б) ПЕТЕР МАТИН ЛАМПЕЛЬ „Черный рейхсвер“. Я. Фрида.— 9. ЭЛЛЕН ВИНКИЛЬ-СОИ „Схватки“. К. Локса.— 10. Л. Н. ТОЛСТОЙ и Н. Н. ГЕ „Перениска“. К. Локса.

Иван Уксусов. — «Двадцатый век». Роман. Книга первая. («Современная пролетарская литература»). ЛАПП. «Прибой». 1930 г. Стр. 208. Цена 1 р. 80 к.

Художественная ткань романа Ив. Уксусова свидетельствует об его несомненной пролетарской природе. Автор «Двадцатого века» с уверенностью подлинного индустриального пролетария водит читателя по пехам металлургического завода. В отличие от многих наших «гастролеров» по заводам Уксусову совершенно не угрожает опасность «сверзиться» с высот какого-нибудь «узкого мостика меж в ряд стоящих газогарных труб» в неприглядные низины псевдоиндустриальной халтурлетристики. Пролетарский заводской коллектив и производство для Уксусова не нечто стороннее, а подлинно свое, кровно близкое, родное.

Тема романа — белая оккупация Донбасса, борьба рабочих с белыми, рост революционного сознания широких рабочих масс.

У Ивана Уксусова нет отдельного «героя», в центре его повествования не стоит какая-нибудь единичная личность, заслоняющая собой все остальное в произведении, художественная методология Уксусова свободна от такого индивидуализма, столь характерного для мелкобуржуазной художественной литературы. Героем романа Уксусова является рабочий коллектив. Это еще раз подчеркивает пролетарское естество творчества Уксусова. Нелишне вместе с тем напомнить, что наша художественная литература в лице передовых мастеров слова давно уже вышла из той стадии развития, когда пролетарский коллектив изображался единой недифференцированной «железо-бетонной» массой. Сейчас только совершенно стороннему «наблюдателю» рабочий коллектив может казаться чем-то сплошным и безликим. Такое упрощенчество Уксусову социально чуждо,

его роман дает возможность читателю это ощутить. Чувствуется, что автор «Двадцатого века» стремится показать рабочий коллектив как некое единство многообразия. Однако это основное устремление Уксусова далеко еще не получило в романе надлежащего художественного выражения. И наши недостаточно определенные выражения: «ощутить», «чувствуется» — далеко не случайны. В «Двадцатом веке» (часть I) Уксусов еще не смог дать художественно ясной картины рабочих образов, дать художественно выразительно внутреннее многообразие пролетарского коллектива. Его художественные краски еще слишком однообразны, зарисовки фигур рабочих в большинстве случаев художественно расплывчаты, эскизы и слабо задерживаются в памяти читателя. Разумеется, этот упрек Уксусов не должен смешивать с призывом писателя давать единых, в себе замкнутых, неповторимых индивидуальностей («неповторимых цветков»). Задача пролетарского художника — изображение многообразия и различий в их взаимоотношении, в их единстве. Отсутствие конкретизации образов разрабатываемого писателем жизненного материала лишает художественное произведение элементов диалектики.

Освобождение от бытовистского примитива, от простого описательства и более энергичный приступ к овладению диалектическим методом совершенно необходимы Уксусову, как и ряду других начинающих талантливых пролетписателей.

Арк. Глаголев

А. Долгих. — «Кривая». Повесть. Изд. «Федерация». 1931 г. Стр. 182. Ц. 1 р. 20 к.

«Кривая» Долгих — это резервуар чрезвычайно больших, интересных, но по существу незаконченных и неразрешенных тем. В своей повести автор пытается со-

здать образ, который до сих пор не встречался в нашей художественной литературе, образ своеобразного «пролетария» — художника-самоучки. Но социально классифицировать этого «пролетария», Михайло Улишева, довольно трудно. Его нельзя причислить к какой-нибудь одной определенной социальной группе. Особенности богемца, кустаря, пролетария смешиваются в нем в комок противоречий. Эта психоидеологическая «кривая» Улишева умело вычерчена автором. Михайло настойчиво ищет точку опоры, пытается нащупать пути к утверждению своего я. Его помыслы и желания смутны и противоречивы. Три дороги открываются перед ним — фабрика, артель и частное предприятие. Но ни одна из этих комбинаций не удовлетворяет Улишева. Для фабрики ему не хватает организованности и коллективистических зачатков пролетария, для артели нет деликатности и жадности кустаря, для частного предприятия — хищной хватки хозяйчика. Но «кривая» Улишева по замыслу автора должна быть выпрямлена. Чтобы разрешить эту задачу, автор грубо врывается на страницы повести, бесперомонно и молниеносно превращает своего героя в ударника. Такое насильственное действие объясняется конечно благими намерениями автора, но художественное произведение имеет свои законы, которые нельзя обойти. «Кривая» механически и насильственно выпрямлена. Громадный идеологический сдвиг — превращение одиночки-художника в организованного пролетария-ударника — оказался вне художественного контекста повести. Не даны необходимые предпосылки, убеждающие, что такой выход органически неизбежен, логически вытекает из всего хода повествования. О том, что Улишев понял разницу между артелью и заводом, что Улишев — «один из гребней миллионных волн пролетариата», — все это остается пустыми словесными формулировками, лишенными конкретного смысла.

Затронута, но не разрешена автором до конца другая чрезвычайно интересная тема — о различных формах живописного искусства, тема, которая должна органически сливаться с основной темой повести. Несомненно задача, стоящая перед писателем, была очень трудна. Искание героем своего я в социальной среде надо было связать с его исканиями в области живописи. Писатель должен был определить социальный генезис «кривой» искусства, показать в художественных формах, что живопись отражает социальное бытие человека. Первый излом «кривой» Улишева автор обусловил различными набросками, оторванными «от всякой цели и живого бытия». Здесь характеристика напрашивается сама собой. Это — декаданс, искусство для искусства, определившие улишевскую оторванность от жизни, его симпатию к эстетике эпохи распада. Вредность и ненужность подобного рода искусства писатель показал на примере суще-

ствования художника Велижанина, отщепенца, индивидуалиста, не создавшего ни одной художественной ценности, умершего в обществе своих неправдоподобных и «кошмарных» женщин. Последующая эволюция улишевских живописных исканий показана менее четко и менее рельефно. И наконец третий этап — новые формы пролетарского искусства, определившие приход Улишева в ударную бригаду на заводе — дан совершенно беспомощно. Как и ударный период жизненной «кривой» Улишева, так и пролетарское искусство «кривой» улишевской живописи оказываются наиболее слабыми и бледными местами повести. Авторское определение новых форм живописи, сменившие архаическую буржуазную эстетику, звучит очень смутно. «Технически они (рисунки.—Т. Н.) были исполнены с большой смелостью, с соблюдением соответствия рисунка с формой и отличались необычайной приятностью красок». Такое неумение найти нужные и художественные краски для отображения важнейших и актуальнейших моментов нашего сегодня представляет для автора большую опасность. Об этом надо особенно предостеречь писателя, у которого налицо задатки большого и хорошего художника — перспективность, острый глаз, оригинальность, умение подчинять окружающие предметы своему замыслу и т. д.

Т. Николаева

Василий Ряховский.—«С гор потоки». Роман. Изд «Федерация». М. 1930. Стр. 252. Ц. 1 р. 50 к. Перепл. 25 к.

Василий Ряховский стремился показать совхозно-колхозное строительство и вскрыть отношение классово различных людей к этому строительству. Роман Ряховского следует отметить как положительный факт в смысле актуальности темы и материала. Избрав путь органического усвоения пролетарской идеологии, Ряховский достиг частичных успехов. Они выражаются в растущем умении автора динамически показывать классовую борьбу в деревне, в неплохом освоении материала, в органическом изображении некоторых персонажей, среди которых выделяется пастух Матюха. В начале романа это — неуверенный в себе, наивный пастушонок, искатель правды, в конце — боец, включившийся в круговорот событий.

Матюха — наиболее органический образ, он очевидно долго «вынашивался» автором. Однако удельный вес узко личных переживаний и интересов Матюхи слишком велик. Это сделало Матюху политически недостаточно выразительной фигурой.

Слишком значительны изъяны романа, чтобы его можно было признать полноценным произведением. Если иные страницы волнуют (например пожар и борьба за машины), то роман в целом скучен. Не заинтересовывают политические монологи и диалоги, ибо в них больше рационализма,

чем «живой жизни». Слабо разработана любовная интрига (Матюха — Саян, Коротков — Наташа). Художественно невыразительны выдержки из дневника Короткова, образ которого (агроном-интеллигент, энтузиаст социалистического строительства) интересен задуман, но схематично разработан.

Наконец бросается в глаза перегрузка произведения словесным шлаком. «С гор потоки» — стилистически плохо обработанная вещь, и многие фразы, обороты речи неправильны, совершенно нелитературны. «Коротков почувствовал, как из-под него потекло седло» (стр. 92), «Вера... поникло ткнулась у рояля» (стр. 97), «выплывающая манера говорить» (стр. 150), «мужики обернулись на нее» (стр. 60), «утро дало над парком позолоту» (стр. 28) и т. д. Иногда благодаря неправильному построению фразы пропадают образы. Неудачны попытки автора обновить русский язык: «рассыпучий голос», «манучие голоса», «заболезно», «грубно», «растолканная кровь», «раздумчивые ресницы», «тоскучие песни» и т. д. Напрасно также В. Ряховский примитивизирует крестьянскую речь вообще и заставляет своих персонажей например говорить «халхоз» или «холхоз».

Вывод: Василий Ряховский поторопился с изданием этого романа, не доработав вещь до конца. А жаль: вместо нужного, интересного произведения читатель получил почти сырой материал, схему романа, только в частях своих нашедшую художественное выражение.

Борис Гроссман.

Владимир Юрезанский.—«Алмазная свита». Роман. Изд. «Пролетарий» (Харьков). 1931. Стр. 303. Ц. 1 р. 60 к.

Это только первая часть романа (с прологом) на большую и до сих пор еще новую в литературе тему о социалистическом производстве, труде и людях, строящих новые общественные отношения. По всем признакам видно, что В. Юрезанский взялся за работу с полным сознанием ее важности и с исключительной добросовестностью. Социалистический Донбасс впервые дается в этом романе в больших масштабах. Автор приступил к делу не спеша, предварительно и хорошо познакомившись с материалом и той породой — каменным углем и шахтерами, — которую решил он обогатить художественным словом. Первое впечатление от «Алмазной свиты» именно такое.

Но с произведением В. Юрезанского случилось происшествие, очень показательное для многих попыток этого рода: написано оно несоответствующим материалом и замыслу методом. Вот один из примеров этого несоответствия. При разведке новой шахты несообразно много внимания уделяется в романе скифской каменной бабе, найденной тут же и как бы долженствующей (при всей относительной новизне скифского мотива в литературе, геогра-

фически однако тут не случайного) раскрыть глубочайший смысл философии скачка, т.-е. происшедшего переворота в общественном производстве. Контуры романа от этого приема, настойчиво проведенного во всех главах, тускнеют, стираются, роман перегружается «идеологическим» балластом, создающим особый контрастный стиль произведению. Можно было бы помириться и с заблудившимся степным волком на улицах Харькова, с остановившимися часами на всех площадях города, с комсомольскими процессиями, так напоминающими автору средневековые карнавалы, судьбою бывшего донбасского промышленного магната Юза, с «азиатским» разгулом и героизмом забойщиков и коногону, с пропавшими ценнейшими чертежами невиданного изобретения, гибелью Амундсена, с китайцами, тайно поклоняющимися скифской бабе, кстати очень похожей на шахтерку Глафиру, и т. п., — со всеми этими «отступлениями» можно было бы помириться только как с удачными приемами оживления действия, но и то в очень скромной пропорции к остальному, современному и простому в своей сложности материалу. К сожалению «скифия» является такой же основной тканью романа, как и изображаемые в нем процессы труда и быта (подземная работа, обвалы, общежития, гулянки, любовные истории, рабочие кабинеты инженеров, общественная жизнь горняков). В столкновении этих контрастных начал, из которого победителем должно выйти невиданное по своей смелости и смыслу строительство, и заключается в общем правильная идея романа, выполняемая автором по не совсем правильным чертежам. Дебри исторического и доисторического прошлого, украшающие страницы книги, часто заглушают животрепещущее содержание его. Получается картина с обратной перспективой. Мы уже не говорим о таких стыдливо-мистических местах, как о голосах мстящего прошлого, предчувствиях и неожиданных символических встречах, в которых тоже нет недостатка. Хорошо хоть, что рационалистически исследовательская направленность таланта автора выводит действие романа все же на житейские открытые и реальные пути (взяты изолированно, главы произведения выглядят именно так).

Судя по тому, как медленно завязываются многочисленные сюжетные узлы первой части, как солиден в своей медлительности разбег романа, можно думать, что роман будет в нескольких частях. Если же перед нами уже половина романа (скорей всего так), то скажем решительно: композиционным искусством В. Юрезанский не овладел в должной степени, и ему придется рано или поздно отступить, т.-е. просто рубить с плеча все эти узлы и узелки. Триста страниц первой части и хоть бы один намек на существование центральной точки романа, не говоря уже о развязке. Куда ведут все эти фабульные

радиусы и хорды, протоки и рукава? Роман не имеет русла. Такой разбег пригоден только для эпопеи. Пролог (между прочим наиболее художественное место в книге) в этом отношении еще более отдаляет содержание романа от его искомого центра. Вот случай, когда разнообразие порождает скуку и топтание на месте, когда широкость в организации материала ведет к неповоротливости и неловкости. Если бы роман был безгеройным, но нет: инженер Шевелев на переднем плане. Пока что о нем можно сказать, что он честный работник, храбрый человек, любит музыку и влечется к женщине, тоскует от одиночества. Он дан к тому же, как и другие инженеры, в типическом фокусе интеллигентской «драмы». Все мужчины в романе к стати как-то безнадежно влюбляются; изнывают в тоске по настоящей любви, а женщины по объективной роли, выполняемой ими в книге, только мешают работе инженеров и рабочих. Эти эпизоды романа наиболее и не удался В. Юрезанскому, — выглядят они сентиментально и стилистически шаблонно. Силен он зато в изображении рабочего труда и быта, где обходится без экскурсов в область предчувствий и скифских балбол, не покупая это ценой упрощенчества.

Неумеренное пристрастие автора к социологической арханке приводит таким образом его произведение к отнюдь не диалектическому противоречию между замыслом и методом. Во всяком случае учесть это обстоятельство автору в дальнейшем будет не бесполезно.

Н. Седов.

Е. Новикова-Вашенцева. — «Маринкина жизнь». Повесть. Изд. ЗИФ. 1930. Стр. 286. Ц. 1 р. 95 к.

Автор повести — автор не совсем обычный. В настоящее время Новиковой-Вашенцевой 68 лет. 50 революционных лет дали ей лишь квалификацию «малограмотной». О писательстве не могло быть тогда и речи. Революция оживила скрытые ростки творческих сил. Авторство началось с нескольких рабкоровских заметок. В 63 года Новикова-Вашенцева начинает свой первый большой творческий опыт — повесть «Маринкина жизнь». В обрамлении несложного сюжета постепенно вырастает перед читателем образ девушки Маринки, дочери фабричного рабочего. Чрезвычайно простым, безыскусственным, но образным языком, приближающимся местами к форме сказа, повествует писательница о далеких и тяжелых днях русского пролетариата.

Но Маринка вместе со всем ее живым окружением — лишь средняя личность, проходящая тот путь, который уготован ей «судьбой». Несмотря на частичные промахи, она санкционирует и жестокую эксплуатацию рабочих, и бесправное положение женщины, и весь груз насквозь прогнивших традиций, на которых держался «знаменитый» русский народный быт. Это

снижает положительное значение произведения. В повести выпукло и ярко обнажается все уродство общественно-бытового окружения, нищета пролетария прошлого столетия. Эксплоатация хозяйчиков и «заглот», издевка над рабочим изобретательством, жестокая выжимка рабочей детской силы, нужда, отупляющее пьянство, невежество и т. д. — все это выступает перед читателем в самом неприкрашенном виде. Но оценка этих событий со стороны самого автора или, вернее сказать, отношение авторского «я» к этим социальным противоречиям — иное. Фатализм, пассивное принятие социальных и бытовых конфликтов, аполитизм — вот основной тонус повести. Активизация рабочих масс, находящаяся в процессе создания «класса для себя», волна революционного движения — все это осталось незамеченным автором.

Писательница взяла тот кусок жизни, который находился в поле ее зрения, со всеми ее средними героями, достоинствами и недостатками и целиком зафиксировала в своей повести, не оживив его силой социальных обобщений и углублений. Фотография, как бы хороша она ни была, бессильна отобразить живую жизнь во всей ее социальной сложности.

Но отбросив ненужную «беспристрастность» фотографии, мы все-таки воспримем интересный социально-художественный документ.

Т. Николаева.

Андрей Гиппиус. — «Записки главноуговаривающего 293 пехотного Ижорского полка». Предисловие А. Кадишева. ГИЗ М.—Л. 1930 г. Стр. 126. Ц. 90 к.

Это книга о прапорщике Леваниде, «что и в последней войне мировой участвовал, и в революциях болтался, и с Красной армией по России-матушке порядочно пошатался». «Записки», как уверяет автор в «необходимом послесловии», составлены «без прикрас с его (Леванида) слов».

О том, как «болтался» Леванид с Красной армией, в книге не рассказано. Но хождения его с конца 1916 г. до Октябрьской революции описаны подробно и дают ясное представление об облике Леванида. Посланный на германский фронт, молодой прапорщик быстро выдвинулся. Его роль свелась к «должности» главноуговаривающего. Он проник в полковой комитет и все время убеждал солдат итти в бой, хотя для них становилась очевидной бессмысленность, ненужность продолжения империалистической войны. Обладая даром речи и являясь демагогом (в точном значении этого слова), Леванид овладевал солдатской массой даже в тех случаях, когда главное командование оказывалось бессильным что-либо предпринять. Только осенью 1917 года самоуверенный «главноуговаривающий» столкнулся с «возмутительным» фактом: его рота взбунтовалась, отказалась итти на земляные работы. Очутившись в Москве и случайно заметив об'яв-

ление: «Московская биржевая артель ответственных служащих, по договору с Моссоветом, приглашает бывших офицеров на службу в Архангельск в качестве ночных сторожей для охраны складов военного имущества» — Леванид подписал контракт. На этом, на первых днях 1918 года, и обрывается книга.

Автор изображает Леванида глубоко идейным человеком Назойливо часто героя «Записок» «пришпандоривают» идеи. Но если отвести конкретные упоминания о последних, а проникнуть в незатейливые мысли Леванида и связать его поступки, — перед нами предстанет глубоко безыдейный человек, шатающийся буржуазный интеллигент. Леванид кричит о доблести «чести офицерской», призывает «за отечество биться», упивается своей властью; внезапно «идеи о нелепой системе обучения солдат охватывают его сознание» и вслед затем «он начинает крестить солдат палкой по спине». Внезапно же начинается его «большевизация... по линии глубокого уважения к взбунтовавшимся солдатам и дезертирам», хотя вслед за этой «большевизацией» он снова отправляется на фронт, ибо «родина гибнет». Леванид беспрерывно «пробует самоопределяться» то направо, то налево и в результате ни к чему не приходит.

Несмотря на нарочито ироническое отношение автора к Леваниду, на протяжении всей книги чувствуется стремление реабилитировать Леванида, придать ему положительные черты, смягчить отрицательные. Эти попытки автора ненужны, бесполезны. И ценность «Записок» заключается не в авторских толкованиях, а в том, что Леванид типичен для буржуазной интеллигенции периода войны и революции, что очевидны никчемность, беспочвенность, безыдейность Леванидов, на знаменах которых можно написать два слова: «демагогия» и «карьера».

«Записки» интересны лишь как материал.

Борис Гюссман

Петро Панч. — «Без козыря». (Повести) Авторизованный перевод с украинского В. Юрезанского, вступ. статья проф. А. Белецкого. ГИЗ. М. — Л. 1930. Стр. 213. Цена 2 р

Петро Панч, молодой украинский писатель послеоктябрьского периода, расценивается в СССР довольно высоко. На русский язык он переводится не первый раз (читателю «Нового мира» между прочим известен его рассказ «Муха-Макар», печатавшийся в журнале в 1930 г.).

Первые две повести рецензируемой книги — «Без козыря» и «Голубые эшелоны» — по теме своей сходны: обе рисуют разложение армии под натиском революции, первая — армии Керенского, вторая — петлюровской.

Сходство это усугубляется еще и тем, что в «Голубых эшелонах» среди действующих лиц находим некоторых, уже знакомых по первой вещи.

Кроме того, эти две повести объединяет и общность манеры письма. Панч переплетает реальное с символическим: на месте живых людей незаметно вырастают видения, действительность переходит в другой план, снежная метель замечает пути, увлекая в неведомое («Голубые эшелоны»). сон странно осуществляется на яву («Без козыря»).

Герои обеих повестей — интеллигенты-офицеры. На ряду с разложением армий, крахом керенщины и украинского мелкобуржуазного национализма, которые они защищали с оружием в руках, происходит распад их мирозерцания. Солдатская масса действует на втором плане, но, несмотря на это и на эпизодичность изображения, ощущается она вполне реально.

Обе повести — ступени одной лестницы. Книга сделана несомненно опытной рукой способного писателя, которого за неимением другого термина можно определить как полутчика. Однако согласиться с автором вступительной статьи, проф. А. Белецким, что Петро Панч «становится все более пролетарским» писателем, нельзя. Рекомендуемая им с этой стороны последняя повесть книги — «Белый волк», на наш взгляд, если и выражает определенную классовую идеологию, то во всяком случае не пролетарскую.

По существу смысл «Белого волка» сводится к тому, что кулаки обречены на самоуничтожение (?!). Они как легендарные белые волки должны пожрать сами себя.

Секретарь сельсовета, который если не автору, то читателю представляется махровым оппортунистом, говорит об этом так (стр. 172—173):

«— Зачем вас (кулаков) лопать... когда вы сами себя слопааете... В Сибири есть будто бы белые волки... В голодные зимы, говорят, они нападают на села целыми стадами. Но, если дать им хорошенько отпор, как вам дала советская власть по рукам, тогда они накидываются друг на друга и поедают сами себя. Вот и ваша нация как есть такая же самоедская».

Но это самопожирание, идею которого кулаки вероятно могут только приветствовать, идет вразрез с проводимой ликвидацией кулака как класса, смазывая эту ликвидацию.

Даже по Панчу такое самоуничтожение обходится чрезвычайно дорого: арестом партийца по ложному доносу и убийством его дочери.

Идейно ложной позиции автора соответствует и слабое художественное оформление повести.

Краски ее то слишком темны, то слишком светлы. Язык персонажей не всегда правдив, например волостной писарь, пьяница Гындик, пишет в газету корреспонденцию-донос литературным языком и неожиданно обнаруживает весьма удовлетворительное знание поэтики в части развертывания сюжета.

Борис Ачибал

а) **Макс Гельц.**—«От белого креста к красному знамени». Авториз. перев. с нем. А. Г. Ромм. «Земля и фабрика». М.—Л. 1930. Стр. 278. Ц. 2 р. 35 к.

б) **Петер Мартин Лампель.**—«Черный рейхсвер». Роман. Перев. с нем. А. О. Моргулиса. Предисл. Ф. Геккерта. «Моск. Рабочий». М. 1930. Стр. 175. Ц. 75 к.

Воспоминания Макса Гельца распадаются на две части: в первой части Гельц — партизан пролетарской революции, во второй Гельц — каторжник. Председатель совета рабочих, организатор и вождь красногвардейских отрядов, сражающихся с рейхсвером и жандармами, неуловимый агитатор, регулярно ускользающий из рук полиции, Гельц — легендарный и деятельный — и теперь, в 1930—31 гг., неожиданно появляется на рабочих собраниях и является заманчивой фигурой для фашистов. Первая часть воспоминаний читается, как увлекательный, революционно-приключенческий роман; боевой задор Гельца, его несравненное самообладание восхищают. Рассказ о борьбе рабочих дружин Средней Германии с войсками и белогвардейцами — страница истории революции.

Диссонансом врывается стремление оправдаться. Революционный боец, осужденный буржуазией как «бандит» и «убийца», всячески старается доказать, что он не виновен, что осужден несправедливо, то-есть апеллирует к тому же буржуазному правосудию, которого он как революционер не признает. Здесь, как указывает в предисловии к книге Герман Реммеле, М. Гельц еще не совсем отошел от представлений о внеклассовой гуманности и «общечеловеческой» справедливости.

Неподохом «подсобным материалом» к книге Гельца может служить разоблачительный роман Лампеля «Черный рейхсвер». Лампель, более известный как автор пьесы «Бунт в воспитательном доме», в романе в сущности выступает с воспоминаниями, замаскированными, но достаточно точными, чтобы можно было перевести эту вещь из разряда посредственной беллетристики в разряд документов. Лампель тоже участвовал в гражданской войне, но не на стороне Гельца, а на стороне Носке. Разоблачая, гуманист Лампель обвиняет организаторов «черного рейхсвера» главным образом в том, что они призраком патриотизма, обманом увлекли и довели до морального разложения зеленую молодежь, честных, наивных юношей. Но параллельно Лампель знакомит и с составом «черного рейхсвера», задушившего Баварскую советскую республику, безжалостно истреблявшего революционных рабочих. Кроме обманутых юношей, против красногвардейских отрядов шли офицеры, жандармы, демобилизованные солдаты, умеющие только воевать, чувствующие себя хорошо только на казенном пайке, лапдскнехты, за хлебку и надежду пограбить продающие свою жизнь и свою смерть.

В книге Гельца (стр. 58) вм. «Бавария» напечатано «Болгария».

Я. Фрид.

Эллен Винкильсон.—«Схватки». Роман. Перевод с английского С. И. Цедербаум под ред. Теодора Левита. ГИЗ. М.—Л. 1930 г. Ц. 1 р. 75 к.

По всей вероятности для того, чтобы правильно судить о романе Винкильсон, нужно стать на «английскую» точку зрения и перенестись в другую социальную эпоху. Хотя автор и принадлежит к левому крылу английского рабочего движения, но для него характерна прежде всего трогательная невинность. Он решает бытовые проблемы с гимназической наивностью и в то же время английским консерватизмом, «революция» в области морали для него гораздо сложнее и существуете, чем забастовка 1926 года, которая является фоном для изображения в общем очень добропорядочной девушки Джани, пылко увлекающейся некоторыми крайними выводами. Она решает трудный вопрос, следует ли ей выйти замуж за человека, уважающего ее самостоятельность, или превратиться в содержанку видного деятеля рабочего движения, ибо тот не имеет возможности официально развестись со своей женой. Джани конечно восхитительна в этих попытках решить трудную проблему, она полна серьезности и с большим вниманием взвешивать все за и против: «О чем она думает? Она ведь любит Тони. Не хочет ли она выйти за Тони? Тони, Лондон, Блумсбери, — мысль ее пошла в другом направлении. Она видела себя женой Тони — уютная квартира, его друзья, все приятные люди, с которыми она познакомилась, поездки для отдыха за границу, писательство. Будет приятно писать: легкий способ зарабатывать деньги и вместе с тем иметь возможность сказать, что хочешь. Впрочем, нет конечно это нельзя, нельзя по рабочему вопросу... Иногда, может быть, можно будет сказать, что хочешь, но очень тактично...» И хотя пылкая героиня полна революционного воодушевления, но автор не без удовольствия замечает, что ей не чужды маленькие слабости правящего класса: «Мэри-Мод преподнесла ей за завтраком подарок — спортивный костюм, сшитый модным портным по ее мерке. Это были юбка со складками, сделанная из шерстяной материи того мягкого красного цвета, который особенно шел ей, остроумно комбинированная кофта-куртка красного и бежевого цвета и наконец красный маленький берет. — Ах, Мэри-Мод, напрасно... Когда горняки голодают и все остальные... — Это помещение капитала в их пользу, дорогая. Мисс Питерс хочет, чтобы вы занялись сбором денег, а хорошо одетая женщина представляет наилучший, какой только был изобретен, аппарат для извлечения их. Сказать правду, Джани в этом платье испытывала восхитительное чувство уверенности в себе, когда в автомобиле Мэри-Мод ехала в

«комитет помощи..» Сказать правду — тургеневские героини представляют собой по сравнению с этой деятельницей «рабочего» движения образец революционности и социального радикализма. Итак, в этом романе не нужно искать того, чего в нем нет. Он представляет собой документальную ценность, он характерен и типичен для буржуазного слоя «рабочего» движения в Англии. В известном смысле, хотел этого автор или нет, его можно воспринять как сатиру. В предисловии следовало сильнее подчеркнуть эту его особенность.

К. Локс.

Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге.—«Переписка». Вступительная статья и примечания С. П. Яремича. Изд. «Academia». 1930. 218 стр. Ц. 2 р. 75 коп.

Переписка Н. Ге и Л. Толстого, вошедшая в настоящую книгу, охватывает десятилетие 1884—94 г. Задача книги, судя по предисловию Яремича, заключается скорее в характеристике Ге, чем Толстого, и это конечно вполне естественно, потому что Толстой ярче и интереснее выступает во всем своем окружении, чем в этой только переписке. Достигнута ли цель? Нам кажется — нет. Письма и отрывки, приведенные в книге, недостаточно прокомментированы, биография художника передана в общих чертах, а его значение для русского искусства, для читателя остается вполне неясным. Суть следовательно заключается в самой переписке, посвященной исканию смысла жизни и моралистической проповеди. «Я делал печь бедной семье у себя в хуторе, и это время было для меня самое радостное в жизни» — пишет Ге Толстому. «Не нарисуете ли картинку о пьянстве, — просит Толстой. — Нужно две. Одну большую, да еще виньетку для всех изданий по этому предмету под заглавием: «Пора опомниться». Оба спасались одинаково, но с разными результатами. Ге более простодушен, доволен своими печами, которые он то-и-дело складывает для бедных семейств, Толстой сомневается, нет-нет, да и вспомнит хорошее полнокровное бытие: «У нас все хорошо, очень хорошо даже, — пишет он Ге. — Жена донашивает будущего ребенка — остается месяц. Илья

женится на Философовой (вы верно знаете — славная, простая, здоровая, чистая девушка) и находится в том неменяемом состоянии, в котором находятся влюбленные». «Был у меня Алехин осенью, живет он и они все удивительно. Например вопрос половой они все решают полным воздержанием, жизнь святая, но — господи, прости мои согрешения — осталось мне тяжелое впечатление. Не оттого, что я завидую чистоте их жизни из своей грязи, этого нет, я признаю их высоту и как на свою радуюсь на нее, но что-то не то». Поучения, покаянные признания, сожаления, грусть о заблудшемся человечестве — таков основной тон переписки, характерной не только для обоих художников, но и для общего состояния русской интеллигенции 80—90-х годов. Боязнь жизни, скрытая, но в достаточной степени сильная, то-и-дело прорывается у Толстого: «У меня, — признается он, — есть странное чувство жуткости к самым мне важным явлениям жизни». Отсюда преувеличенные заботы о душе, которую спасали складыванием печей, воздержанием от табаку, водки и половых сношений. И искусство, само собой разумеется, по мере возможности должно служить этой же цели. «Меня затащили на выставку, — пишет другу Толстой. — Там ведь ничего похожего на картины как произведения человеческой души, а не рук — нету». Эти произведения души, а не рук Толстой отчасти видел в картинах Ге, плохие фототипии с которых приложены к книге. Конечно можно быть разного мнения о Ге как о художнике, но нужно сказать правду: его картины прекрасно иллюстрируют эпоху, их характерная черта — полное бессилие и жертвенность, а в лице Христа кто же не узнает российского интеллигента, замученного «проклятыми вопросами»?

В общем сборник вышел неудачным. О Ге мы узнали все же слишком мало, Толстой в других письмах гораздо интереснее и сложнее. Если к этому прибавить неяркость издания и скудный комментарий, то придется сказать, что издавать книгу в таком виде и в такой обработке не следовало.

К. Локс.

КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

ШМЕРЛИНГ, ВЛАДИМИР. Юго-север. Очерки. С предислов. А. Серафимовича. Стр. 179. Ц. 1 р. 35 к.

КИРСАНОВ, СЕМЕН. Пятилетка. Поэма. Стр. 173. Ц. 1 р. 80 к. Переп. 70 к.

ПЛИВЬЕ, ТЕОДОР. Кули Кайзера. Роман из жизни германского военного флота. Пер. с немец. И. Байкиной и Е. Черняк. Предислов. Д. Уманского. Стр. 327. Ц. 2 р.

САВИН, ЛЕВ. Юшка в тылу. Стр. 248. Ц. 2 р. 15 к. Пер. 30 к.

РАБОЧИЙ ПРИЗЫВ. Литературно-художественный сборник рабочих-ударников. Редакция А. Низовцева. Стр. 157. Ц. 50 к.

ИЗД. «ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА»

КОЗИН, ВЛАДИМИР. Солнце Лебаба. Очерки. Стр. 119. Ц. 90 к.

САВИН, ЛЕВ. Юшка. (Дешевая б-ка Лензифа). Стр. 243. Ц. 50 к. Пер. 20 к.

ИЗД. «ФЕДЕРАЦИЯ»

ЮРИН, СЕРГЕЙ. По нехоженной тропе. Очерки. (Серия «Социалистическое строительство»). Стр. 123. Ц. 65 к.

ТРУШКОВ, ВАСИЛИЙ. Поэма в 1000 га. Повести и рассказы. Стр. 126. Ц. 90 к.

ОАХАРОВ, ПЕТР. В тайге у прокляженных. Очерки. Стр. 104. Ц. 85 к.

ВИГИЛЯНСКИЙ, Н. Рассказы из

записной книжки. Стр. 133. Ц. 90 к.

НИКИТИН, МИХАИЛ. Второй гигант. Очерки о Сибири. Стр. 129. Ц. 75 к.

РИХТЕР, ЗИНАИДА. У белого пятна. Спасательная экспедиция ледореза «Литке» на остров Врангеля. Стр. 239. Ц. 1 р. 40 к. Пер. 20 к.

АЛИНЧЕНКО, МАРИЯ. Бурова в Лобках. Очерки. Стр. 238. Ц. 1 р. 50 к.

КОФАНОВ, ПАВЕЛ. Страницы в огне. Повесть. Стр. 140. Ц. 90 к.

АБАБКОВ, ИВ. Зорька. Стр. 134. Ц. 80 к.

КОЛОКОЛОВ, НИКОЛАЙ. Повелитель. Повести и рассказы. Стр. 168. Ц. 1 р.

ПРИБЛУДНЫЙ, ИВАН. О добрых утром. (Лирика-сатира). 1923 — 1929. Стр. 82. Ц. 1 р.

НОВИКОВ, ИВАН. Город; море; деревня. Три повести из эпохи 1905 г. Стр. 352. Ц. 2 р. 20 к. Пер. 20 к.

НАШИ ПОЗИЦИИ. Критический сборник. Под ред. И. Батрака, А. Богданова, О. Канатчикова, В. Карпинского, А. Ревякина. (Всеросс. общ. крест. писателей). Стр. 171. Ц. 2 р. 30 к. Пер. 20 к.

НАША ЖИЗНЬ. Сборник 2-й. (Кружок очеркистов «Кузницы»). Стр. 220. Ц. 1 р. 75 к.

ФЕДОРОВИЧ, ВИТ. Любовь скифа. Рассказы. Стр. 286. Ц. 1 р. 75 к. Пер. 30 к.

ГИЛЯРОВСКИЙ, В. Записки москвича. Стр. 238. Ц. 1 р. 50 к. Пер. 25 к.

ДРОЗДОВ, АЛЕКСАНДР. Три колена. Стр. 216. Ц. 1 р. 25 к.

ТИХОНОВ, Н. Кочевники. Стр. 208. Ц. 1 р. 10 к. Пер. 20 к.

ОСЬКИН, Д. Записки прапорщика. Стр. 350. Ц. 2 р. Пер. 25 к.

МАЛЫШКИН, АЛЕКСАНДР. Падение Дaira. Повести. Изд. 5-е. Стр. 167. Ц. 1 р. 10 к.

МАШБИЦ-ВЕРОВ, А. Писатели в современность. Статьи. Стр. 231. Ц. 2 р. 40 к. Пер. 25 к.

ИЗД. «АКАДЕМИЯ»

ДЕЛЬВИГ, А. И. Полвека русской жизни. Воспоминания. 1820 — 1870 гг. Редакт. и вступит. статья С. Я. Штрайха. Предисловие Д. О. Заславского. Том I. Стр. 592. Ц. 2 р. 60 к. Пер. 90 к. Том II. Стр. 600. Ц. 2 р. 60 к. Пер. 60 к.

ВОТКИН, В. П. и ТУРГЕНЕВ, И. С. Незаданная переписка. 1851 — 1869 гг. По материалам Пушкинского дома и Толстовского музея. Приготовил к печати Н. Я. Бродский. Стр. 349. Ц. 1 р. 86 к. Пер. 75 к.

ТОЛСТОЙ, Л. Н. и ГЕ, Н. Н. Переписка. Вступит. статья и примеч. С. П. Яремича. Стр. 219. Ц. 2 р. 40 к. Пер. 35 к.

КОВОЛЕНКО, В. Г. История моего современника. Книга 1-я. Стр. 680. Ц. 3 р. 70 к. Пер. 80 к.

АРИСТОФАН. Книга комедий. Лянсратра. Лягушки. Законодательницы. Вступ. статья. Адр. Пиотровского «Книга комедий Аристофана». Комментарии. Стр. 454. Ц. 2 р. 80 к. Пер. 80 к.

ЛАФАРГ, ПОЛЬ. Язык и революция. Французский язык до и после революции. Пер. с франц. Под ред., со вступ. статьей В. Гоффеншера. Стр. 100. Ц. 1 р. 20 к.